

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В О П Р О С Ы Я З Ы К О З Н А Н И Я

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1955

СО Д Е Р Ж А Н И Е

М. Н. Алексеев и Г. В. Колшанский (Москва). О соотношении логических и грамматических категорий	3
Р. И. Аванесов (Москва). Проблемы образования языка русской (великорусской) народности	20
Н. Т. Сауранбаев (Алма-Ата). Диалекты в современном казахском языке	43

ДИСКУССИИ И СБСУЖДЕНИЯ

Ю. В. Зыпарь (Ленинград). О родстве баскского языка с кавказскими	52
---	----

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Л. С. Ковтун (Ленинград). О значении слова	65
А. Н. Болдырев (Ленинград). Из истории развития персидского литературного языка	78
Э. Г. Туманян (Москва). Превращение артикля в флексию дательного падежа в новоармянском языке	93
В. В. Виноградов (Москва). Из истории слов	100
А. В. Суперанская (Москва). Сводные алфавиты	107

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

И. И. Цукерман (Вильнюс). Преподавание фонетики русского языка литовцам	110
М. Я. Немировский (Ростов-на-Дону). О пособиях к курсу «История языкознания»	116
Ю. Р. Геннер (Харьков), Н. Я. Лойфман и З. Ф. Барцева (Йошкар-Ола), С. М. Бурдиг (Ташкент). О курсе «Современный русский литературный язык»	120

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Л. Лигети (Будапест). Г. Д. Санжеев. Сравнительная грамматика монгольских языков	133
В. Д. Левин (Москва) А. И. Ефимов. История русского литературного языка	140
Р. Г. Пиотровский (Ленинград). Русско-молдавский словарь	148
Н. З. Гаджиева (Москва). Сравнительная грамматика русского и азербайджанского языков	153
Е. М. Галкина-Федорова (Москва). «Известия Крымского пед. ин-та им. М. В. Фрунзе», т. XIX	156
И. И. Ревзин (Москва). По поводу рецензии К. А. Левковской на книгу М. Д. Степановой.	160

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

М. Д. Степанова (Москва). По поводу рецензии К. А. Левковской	166
В. И. Абаев (Москва). Еще раз о запоздалых открытиях	168

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Э. А. Макаев (Москва). Дискуссия о проблемах субстрата	170
Е. А. Земская (Москва). В Институте языкознания АН СССР	176
И. С. Галкин (Тарту). Сообщение по вопросам координации исследования диалектов прибалтийско-финских языков	181
О тематическом плане журнала «Вопросы языкознания» на 1956 год	183

Редколлегия:

С. Г. Баржударов, Н. А. Баскаков, Е. А. Вокарев (отв. секретарь редакции),
В. В. Виноградов (главный редактор), А. И. Ефимов, Н. А. Кондрашов,
Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев (зам. главного редактора),
Б. А. Серебрянников, В. М. Филиппов, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 4-75-42

Т-05949 Подписано к печати 19. IX 1955 г. Тираж 13450 экз. Заказ 1588
Формат бумаги 70×108^{1/16}. Бум. л. 5^{3/4}. Печ. л. 15,75 Уч.-изд. л. 18,9

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

М. Н. АЛЕКСЕЕВ и Г. В. КОЛШАНСКИЙ

О СООТНОШЕНИИ ЛОГИЧЕСКИХ И ГРАММАТИЧЕСКИХ
КАТЕГОРИЙ

При решении многих теоретических и практических задач как логики, так и языкознания, особенно в области исследования пограничных вопросов, неизбежно встает проблема выявления основных категорий той и другой науки, т. е., в конечном счете, проблема соотношения категорий мышления и языка. Основные языковые явления — слово, предложение в их разнообразных видах — так или иначе требуют при их изучении анализа соответствующих категорий мышления: понятия, суждения, умозаключения. Точно так же изучение и анализ категорий мышления требует, чтобы логика постоянно исходила из тех категорий языка, носителями которых они являются. Поэтому проблема соотношения логических и грамматических категорий как часть общей проблемы отношения мышления к языку является весьма важной и, если учесть ее неразрешимость, актуальной для советской науки¹.

Оживленная дискуссия в этой области среди логиков и лингвистов не привела еще к каким-либо общим положительным выводам, которые могли бы считаться удовлетворительными для практики дальнейшего логического и грамматического исследования. Одной из причин этого, безусловно, является объективная трудность самой проблемы.

В настоящее время высказано уже немало аргументов в защиту той или иной точки зрения на поставленную проблему. Представляется необходимым разобрать эти аргументы несколько подробнее. Небольшой исторический экскурс будет здесь необходим постольку, поскольку он в значительной степени поможет выяснить источники повторяющихся аргументов представителей различных направлений.

1

В истории языкознания последних столетий принципиально противоположные позиции по вопросу о соотношении логики и грамматики последовательно были выдвинуты сначала представителями логического направления, а затем психологического.

Основоположник логической школы в языкознании К. Беккер, автор книги «Организм языка», выдвинул прямолинейный тезис о совпадении и даже о тождестве логических и грамматических категорий.

Исходя из идеалистического учения о мышлении как развитии абсолютного духа, Беккер называет язык органическим выявлением последнего; и хотя рассуждения Беккера иногда далеки от грубого отождествле-

¹ См. В. В. Виноградов, Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения, ВЯ, 1954, № 1.

ния языковых и логических категорий (рассмотрение вопроса об особенном и общем в языке, о внутренних противоречиях развития языка), все же в конечном итоге он признает полное тождество языка и мышления. «Язык, — пишет Беккер, — есть не что иное, как проявившая себя мысль, и внутренне они есть одно и то же»¹.

Неизбежным выводом из этого было положение Беккера о едином формальном пути развития всех языков; факт же различия языков и законов их развития привел Беккера к необходимости выдвинуть особую теорию о суррогатах и образцах языка (за последние принимались индоевропейские языки, в частности латыш.).

Тезис о слитности, тождестве логической формы мысли и грамматической формы языка² означал, по существу, снятие самой проблемы соотношения логики и грамматики, а не ее решение.

Лингвистические исследования, в которых разрабатывались вопросы конкретного изучения разнообразных языковых форм различных языков, не могли, естественно, получить в философии языка Беккера теоретическую опору, ибо они постоянно подтверждали очевидный факт специфики языковых явлений и невозможности подведения их под один образец.

Возникновение другого, противоположного логицизму направления в языковедении — психологического — объяснялось, с одной стороны, расцветом идеалистической психологии, с другой — резко отрицательной реакцией лингвистов на метафизический логицизм, оказавшийся неспособным разрешить теоретические вопросы бурно развивавшегося в это время языковедения (сравнительно-исторического и описательного).

У психологов наука о мышлении становится наукой о «душе»; объектом изучения этой науки выступает психика индивидуума (Герbart, Спенсер). Такой поворот в философии от «абсолютной» логики к индивидуалистической психологии должен был изменить и методологические принципы науки о языке.

Построить всю теорию языка на принципах этой психологии пытался Г. Штейнталь. Положения этой теории позже были четко сформулированы активным защитником психологизма русским лингвистом М. Туловым: во-первых, «каждый язык имеет свою особую логику», и явления языка объясняются индивидуальной логикой самого языка, а не логикой общечеловеческого мышления³; во-вторых, «строение языков зависит не от логических отношений понятий, не от реальных отношений предметов, а от образа индивидуальных представлений тех и других»⁴.

В целом психологическая точка зрения на проблему взаимоотношения логики и грамматики может быть охарактеризована как чисто нигилистическая, полностью отвергающая какое-либо соприкосновение сферы мышления и языка. «Языковые и логические категории, — указывает Штейнталь, — являются несовместимыми понятиями, которые соотносятся друг с другом как понятия круга и красного»⁵.

Психологисты и их последователи собрали множество аргументов, чтобы доказать полную противоположность логических и грамматических категорий. Следует, однако, заметить, что острее их критики было направлено против идеалистической логики, к тому же борьбу с ней психологисты вели с непрочных позиций индивидуалистической психологии.

¹ К. Ф. Беккер, *Organism der Sprache*, Frankfurt a. M., 1841, стр. 2.

² См. там же, стр. 579.

³ См. М. Тулов, *Обозрение лингвистических категорий*, Киев, 1861, стр. 24.

⁴ Там же, стр. 23.

⁵ H. Steintal, *Grammatik, Logik und Psychologie, ihre Prinzipien und ihr Verhältniss zu einander*, Berlin, 1855, стр. 221—222.

В последующем развитии языкознания лингвисты, не принадлежащие к психологическому направлению, также высказывались против попыток установления связи между логическими и грамматическими категориями, в результате чего накопился значительный материал, так сказать «антилогического» направления. Поэтому представляется целесообразным кратко рассмотреть этот материал, все основные аргументы, зафиксированные в лингвистической литературе¹.

2

Во многих руководствах по логике, психологии и языкознанию в качестве черты, разъединяющей логику и грамматику, указывалось и указывается то обстоятельство, что язык выражает не только логическую сторону мышления, но и другие стороны сознания человека — эмоцию, волю². Этот тезис не только затрагивает проблему отношения логики к грамматике, но захватывает и самую широкую область — соотношение мышления и языка.

Вопрос об участии эмоций и воли в жизни языка, об их влиянии на языковые формы может быть решен с предварительным его расчленением на два подвопроса: 1) установление отношения психических явлений — эмоций и воли — к мышлению человека и 2) определение взаимосвязи языка со сторонами человеческого сознания.

Советская психологическая наука не противопоставляет мышление эмоциям и воле, рассматривая их как явления, органически связанные между собой. Так как язык является непосредственной действительностью именно мысли, то выражаемое в языке содержание всегда будет мыслительным содержанием. По своей общей логической структуре всякое языковое высказывание будет укладываться в ту или иную логическую форму.

Вполне естественно, что язык, выражающий все конкретное содержание мышления, выявляет своим звуковым и лексико-грамматическим материалом все богатство сознания человека, охватывающее и область осознанных эмоций и волевых актов.

Акад. В. В. Виноградов пишет: «... выражение эмоций в языке не может не быть осознанным. Степень мыслительного, понятийного содержания в таком словесно-эмоциональном выражении отчасти определяется характером и степенью его грамматической расчлененности»³.

Данный вопрос должен стать предметом особого языкового анализа, который безусловно не будет иметь своей целью опровержение с этой стороны тезиса о единстве логических и грамматических категорий.

К основному возражению, касающемуся того, что язык помимо мышления выражает волю и эмоции, примыкает еще немало других более частных возражений противников теории единства логических и грамматических категорий.

Так, по мнению датского лингвиста О. Есперсена, носившего проблеме соотношения логических и грамматических категорий отдельную книгу⁴, язык содержит в себе логические категории, из которых только часть совпадает с категориями грамматики. Например, в предложении *Man is mortal* («Человек смертен») грамматически передано настоящее время, а логически здесь содержатся все три времени: *All human beings have been, are, and always will be mortal* («Все люди были, есть и будут смерт-

¹ См., например, L. K r a m p, *Das Verhältniß von Urteil und Satz*, Bonn, 1916.

² См., например, С. Л. Р у б и н ш т е й н, *Основы общей психологии*, М., 1946, стр. 416.

³ В. В. В и н о г р а д о в, указ. соч., стр. 12.

⁴ О. J e s p e r s e n, *Logic and grammar*, Oxford, 1924.

нь»). Это указание обнаруживает явно неправильное понимание связки в предикате, выражающей в форме настоящего времени неопределенно длительное время.

Недоумения Есперсена по поводу несовпадения множественного числа в разных языках (*Die Leute, люди, the people*) объясняются его игнорированием диалектического взаимодействия формы и содержания и самобытности национальных языков. Этим игнорированием объясняется и странная уверенность Есперсена в том, что невозможно логический строй мысли усмотреть во многих грамматически правильно построенных рассуждениях. Например, из высказывания *It rains: I will therefore take my umbrella* нельзя, по его мнению, вывести стройное умозаключение.

Еще раньше немецкий лингвист Ф. Керн также пытался бездоказательно утверждать, что «обычный разговор» (*Tagesgespräch*) ни к какой логике не сведешь¹. Непонимание действительного взаимоотношения формы и содержания, свойственное метафизическому взгляду, сквозит во многих ложных аргументах различных авторов — противников единства логических и грамматических категорий. Так, говорили, что логически правильная мысль может быть правильно грамматически оформлена (например, «круглый квадрат»), смешивая при этом понятия грамматической правильности и объективной истинности. Далее указывали, что логические категории объема и содержания не находят отражения в языке, ибо слова *роза, цветок, растение* не фиксируют якобы различие объема; при этом не учитывалось то, что три указанных слова и выражают как раз три разных по своему содержанию и объему значения.

Далее замечают, что логически противоположные понятия в грамматическом плане одинаковы (*добрый—злой*), умалчивая при этом о различии этих слов как лексических единиц. Аналогичные возражения — например, что логически отрицательные понятия в языке не имеют отрицательных признаков (*слепой*) и т. д. — легко опровергаются подобным же образом.

Ф. Керн приводит ряд якобы очевидных противоречий между логикой и грамматикой². Так, в примере *Sokrates ist tugendhaft* («Сократ добродетелен») выражено логически универсальное суждение (хотя и единичное), в то время как в этом предложении выявлена будто бы лишь мысль об одном, частном признаке характера Сократа. Автор совершает здесь логическую ошибку в рассуждении, подменяя анализ формы высказывания о признаке Сократа вопросом об отношении этого признака к другим чертам его характера. В примере же *Es kommt niemand*, по мнению Ф. Керна, кроется логическая бессмыслица при правильной грамматической форме: к отрицательному субъекту — *niemand* («никто») дается положительный предикат — *kommt* («приходит»). Различие между языком и мышлением Ф. Керн выдает за их несовместимость. Он считает логически бессмысленным высказывание *Der Knabe ist nicht fleißig* (буквально: «Мальчик не есть прилежный») на том основании, что логики говорят здесь об отрицательной связке; по его мнению, это равноценно отсутствию всякой связки.

Несмотря на то, что аргументация психологистов и их последователей была, казалось бы, всесторонне разработанной, их общий вывод о несовместимости логических и грамматических категорий не встретил всеобщего одобрения. И после «уничтожающей» критики логического направления в языковедении делались неоднократные попытки совместить области логики и грамматики. Правда, эти попытки строились на явно идеалистической основе и потому не могли привести к положительным резуль-

¹ Ф. Керн, *Die deutsche Satzlehre*, Berlin, 1883, стр. 3.

² Там же.

татам. Сопремся для примера на концепцию философа и лингвиста М. Дейчбейна¹. Дейчбейн пытается примирить психологию и логику с грамматикой (причем психология и логика мышления трактуются им на идеалистический манер: психологию мышления Дейчбейн относит к области сознания, а логику — к самосознанию). Развитие мышления и языка, по его мнению, идет по трем ступеням: психологической, логической и грамматической. Этим ступеням соответствуют три слоя предложения — грамматический, психологический и логический.

Высказывая понятие о предмете и его признаке, мы получаем психологические субъект и предикат, если же понятие предмета перерастает в понятие субстанции, а понятие признака — в акциденцию, то это дает логические субъект и предикат. Грамматические субъект и предикат оказываются у Дейчбейна пустой формой. Выражение предмета и признака (номинальные предложения), по мнению Дейчбейна, — удел примитивного мышления, а вербальные предложения (субстанция и акциденция) — признак культурного мышления. Грамматические субъект (S) и предикат (P) существуют сами по себе, психологические — определяют состав представления, а логические находят себе опору уже в самосознании.

Конкретный грамматический анализ становится при таком взгляде совершенно искусственным. Предложение *Der Jäger tötet den Löwen* («Охотник убивает льва») разбирается у М. Дейчбейна так²:

<p>а) <i>Der Jäger</i> log. Subjekt логич. субъект</p>	<p style="text-align: center;"><i>den Löwen</i> psych. Objekt психолог. объект</p>	<p><i>tötet den Löwen</i> log. Prädikat логич. предикат</p>
<p>б) <i>Der Jäger</i> Ursache причина</p>		<p><i>tötet den Löwen</i> Wirkung следствие</p>
<p>в) <i>Der Jäger</i> psych. Subjekt психолог. субъект</p>	<p style="text-align: center;"><i>den Löwen</i> psych. Objekt психолог. объект</p>	<p><i>töten (2)</i> psych. Prädikat психолог. предикат</p>

Если объяснение во втором пункте (б) не имеет никакого отношения к языкознанию, а в третьем (в) искусственно подделано под форму именного предложения, чтобы сделать его «психологическим», то первое предложение (а) при анализе повисает в воздухе, ибо совершенно не ясно, почему *der Jäger* здесь — логический субъект, а в других предложениях нет. Грамматический анализ предложения вообще исчезает. Ясно, что концепция Дейчбейна бесплодна. После него она ни у кого не получила поддержки.

Кратко излагая основные взгляды на проблему соотношения логики и грамматики, нельзя не упомянуть о распространенной в настоящее время в буржуазной науке теории так называемого логического синтаксиса. Проблема соотношения логики и грамматики в логическом синтаксисе решается простым путем — слиянием ее. Из основных элементов языка — звук, слово, предложение — признаются несущественными первые два элемента, которые отбрасываются как попутная «грамматика материала». Из всего языка остается только «грамматика значения», описывающая правила строения предложения, т. е. синтаксические правила. «Под логическим синтаксисом языка мы понимаем формальную теорию речевых форм этого языка», — пишет Р. Карнап³.

¹ См. M. D e u t s c h b e i n, Satz und Urteil, Götten, 1919.

² См. там же, стр. 40—41.

³ R. C a r n a p, Logische Syntax der Sprache, Wien, 1934, стр. 1.

Единица языка — предложение — становится предметом изучения логики, ибо логические отношения идентифицируются с синтаксической структурой. Категории логики и синтаксиса не соотносятся друг с другом каким-либо образом — они просто совпадают.

Синтаксические категории языка не имеют для логических позитивистов иного смысла, кроме значения порядка. Смысл в языке имеет только следование групп, классов. Категории синтаксиса дают формулы исчисления, калькуляции возможного порядка следования знаков. Согласно такому синтаксису, значение слов не является необходимым — все заменяется формулой следования слов. Бессмысленное предложение *Piroten karulieren elatisch* будет удовлетворять всем «требованиям» логики, если оно определено и соблюдает правило ABC («А» — *Pirot*, «В» — *karulieren*, «С» — *elatisch*).

Предложение «Солнце есть светило» относится к ложному предположению («Scheinsatz»), настоящая его форма на «научном», физическом языке будет *Слово «солнце» равно «светило»*.

Логические позитивисты пришли, таким образом, к отождествлению логики и грамматики через формализацию языка, повторив в обратном порядке путь логицистов XIX в.

В современном буржуазном языкознании, в его на первый взгляд разнообразных направлениях, связанных с логическим синтаксисом, позитивизмом, семантикой и т. д., логический анализ языка превратился скорее в математический, структурно-описательный, изучение же логических категорий, в традиционном смысле этого слова, происходит независимо от языка¹.

Постановка проблемы логицистами и их противниками психологистами была в основе своей неправильна (это же относится и к логическим позитивистам), поскольку речь шла у них либо о доказательстве полного тождества логических и грамматических категорий, либо о доказательстве абсолютной их несовместимости. В обоих случаях обнаруживался метафизический подход к вопросу.

Правильно поставить проблему взаимоотношения логических и грамматических категорий можно только опираясь на марксистское учение о единстве языка и мышления, исходя из того, что язык и есть практическое, существующее для других людей и лишь тем самым для меня самого реальное сознание, что язык есть непосредственная действительность мысли.

Соотношение логики и грамматики рассматривается в марксистском языкознании в неразрывном единстве, что не исключает вместе с тем их существенных различий.

Правильное и последовательное применение в конкретном исследовании принципа единства логики и грамматики всегда подтверждает это положение. Так как практика грамматического исследования обычно прибегает к так называемому семантическому объяснению, то правильный взгляд на семантику грамматических форм может быть обусловлен только верной трактовкой логического значения грамматических конструкций. В этом случае опора грамматики на логику не может быть дискредитирована необоснованным упреком в том, что таким образом вновь создается пресловутая «рациональная» грамматика. Исходный пункт старой «универсальной» грамматики — признание тождества структуры мышления и грамматики всех языков — ничего общего не имеет с основополагающим принципом единства логики и грамматики.

¹ См., например, A. Flew, *Logic and language*, Oxford, 1953.

Проблема взаимоотношения логических и грамматических категорий, составляющая часть более общей проблемы соотношения языка и мышления, сложна и многообразна. Она включает в себя рассмотрение таких вопросов, как соотношение понятия и слова (в качестве элемента грамматики), суждения и предложения, умозаключения и способов его выражения в языке, словосочетаний и типов проявляющихся в них логических связей, логической абстракции и абстракции грамматической, частей речи и категорий мышления в связи с различными степенями абстрагирующей деятельности нашего мышления, и ряд других вопросов.

В настоящей статье мы остановимся лишь на двух вопросах: 1) суждение и предложение, 2) умозаключение и способы его выражения в языке, — составляющих, несомненно, ядро всей проблемы взаимоотношения логических и грамматических категорий.

3

Вопросу о взаимоотношении суждения и предложения посвящена довольно большая литература (статьи, рефераты, диссертации). Но единого мнения об отношении этих основных категорий логики и грамматики еще не достигнуто¹. Продолжаются споры относительно того, всякое ли предложение выражает собою суждение, какова природа вопросительных, побудительных и односоставных повествовательных предложений с точки зрения выявления в них форм мышления, может ли одно и то же предложение выражать несколько различных суждений, каков состав суждения и предложения, имеются ли в суждении логические эквиваленты для второстепенных членов предложения и т. д.

Ни у кого не вызывает сомнения то, что в повествовательных предложениях всегда есть суждения — утверждение или отрицание чего-либо о чем-либо. Сомнения касаются лишь вопроса о том, где в них субъект и где предикат. Иначе обстоит дело с вопросительными и побудительными предложениями². Наличие вопросительных и побудительных предложений всегда использовалось как готовое возражение против какого-либо сближения суждения и предложения, так как эти типы предложений по своему характеру никак не могли быть подведены под форму суждения. Это несоответствие вопросительных и побудительных предложений форме суждения принималось как самый достоверный аргумент против положения о связи суждения и предложения, логики и грамматики.

С другой стороны, некоторые лингвисты и логики уже давно пытались подчеркнуть узость аристотелевского определения суждения — ограничение суждения только формой повествования (утверждения или отрицания) — и требовали расширить определение категории суждения путем включения в него также вопроса и повеления³. Однако этот путь был ошибочным и ни к каким положительным выводам не привел: нельзя ни отождествлять вопрос и побуждение с суждением, ни включать их в него. К тому же расширительное употребление термина «суждение» не снимало самой проблемы отличия так называемого повествовательного суждения от так называемых вопросительного и повелительного суждений.

Решение этой проблемы, очевидно, должно идти не по линии нивелировки вопроса, побуждения, суждения, а по линии нахождения того общего, что у них действительно имеется. Если будет найдено это общее и если

¹ См. Е. М. Галкина-Федорук, Предложение в свете материалистического языковедения, «Р. яз. в шк.», 1949, № 1.

² См. П. В. Таванец, Суждение и его виды, М., 1953, стр. 24—25.

³ См. В. Erdmann, Logik, 2-е Aufl., Halle, 1907, стр. 389—394.

удастся показать значительную роль, какую играют в процессе познания и общения вопрос, суждение, побуждение — тогда трудность, связанная с вопросительными и побудительными предложениями, будет устранена.

В настоящее время в советской логике больше подчеркивается различие между суждением, вопросом и побуждением, но не делается серьезных попыток выявить их существенные общие признаки, которые отнюдь не ограничиваются обычно указываемыми признаками: 1) предметный характер, 2) свойство быть правильным или неправильным, 3) выражение в форме предложения. При этом последний признак, общий для суждения, вопроса и побуждения, наиболее важен с лингвистической точки зрения. Если не учесть его, то для грамматики создается парадоксальное положение: грамматика рассматривает вопросительные, побудительные и повествовательные предложения без всяких оговорок, как принадлежащие по своему основному существенному признаку к категории предложения; логика же, ссылаясь на этот несомненный факт, усматривает лишь внешнее сходство выражаемых в них форм мысли, но не их родовую общность. Получается, что существенные формально-грамматические черты не выражают в своей материи существенных черт форм мышления.

Это противоречивое положение может найти разрешение в том случае, если в логике еще глубже будут исследованы общие существенные признаки суждения, вопроса и побуждения. Возможно, что существенным общим структурным признаком указанных форм является то, что они имеют одинаковое членение на соотносительные понятия субъекта и предиката (в широком значении этих терминов), скрепленные предикативным, а не атрибутивным отношением (в вопросе и побуждении, как и в суждении, всегда высказывается что-то о чем-то, например: *Ты не слушаешь. Ты не слушаешь? Ты не слушай!*)

В этой связи интересны соображения П. В. Чеснокова¹ относительно общих признаков, присущих суждению, вопросу, побуждению: цельность отражения, модальность, относительная законченность мысли, способность выступать «ячейкой» общения. Объединяя суждение, вопрос, побуждение в одну родовую категорию, неудачно названную «логической фразой», П. В. Чесноков, однако, не раскрывает точно специфику каждого из них.

Отношения субъекта и предиката, отражающие, по замечанию В. И. Ленина, диалектику единичного и общего², являются тем главным звеном, которое объединяет все указанные формы в родовую категорию. Суждение как форма выражения утверждения или отрицания, вопрос — запрашивание относительно чего-нибудь, повеление как форма побуждения к действию входят как виды в эту общую родовую для них категорию. Пока нет принятого термина для такого родового понятия, но им мог бы быть термин «высказывание», охватывающий формы повествовательные, вопросительные и побудительные.

Объединение этих видов в более общую категорию, безусловно, несколько не уничтожает и не уравнивает их отличительных особенностей, четко определяемых теперь в логике.

Соответствующие виды предложений в грамматике, всегда четко различившись, должны будут рассматриваться как языковое выражение особых разновидностей этой категории логического высказывания. Таково может быть решение первого вопроса.

¹ П. В. Чесноков, Суждение, логическая фраза и предложение в свете марксистско-ленинского учения о единстве языка и мышления. Канд. дисс., Ростов н/Д., 1954.

² См. В. И. Ленин, Философские тетради, Госполитиздат, 1947, стр. 329.

Существование односоставных предложений до сих пор еще используется в качестве аргумента против соотношения суждения и предложения. В связи с проблемой односоставных предложений, структура которых отстает от обычной двучленной подлежащно-сказуемой формы, были попытки, с одной стороны, доказать возможность наличия одночленных суждений¹, с другой — обосновать возможность выражения двучленного суждения в односоставном (одночленном) предложении. Первая попытка до сего времени была безуспешной и должна быть оставлена по той причине, что допущение одночленных суждений противоречит самому понятию суждения, как мысли, заключающей в себе как то, о чем идет речь, так и то, что об этом говорится². Признание одночленных суждений (исо равно каких: бессубъектных или беспредикатных) означает метафизический разрыв двух взаимосвязанных, соотносительных терминов суждения: субъекта и предиката. Не надо забывать, что там, где нет субъекта, не может быть и предиката, а где нет предиката, там нет и субъекта. Субъект и предикат всегда берутся один по отношению к другому. Поэтому неправильно говорить о суждении, состоящем из одного только субъекта или из одного предиката.

В последнее время некоторые логики снова пытаются возродить эту точку зрения, что видно на примере кандидатской диссертации В. А. Кирилловой «Суждение и предложение». В. А. Кириллова настойчиво стремится доказать, что безличные нераспространенные и назывные предложения служат грамматической формой выражения суждений, состоящих всего из одного члена, — одночленных суждений³. По ее мнению, в этих одночленных суждениях нет понятия, отражающего предмет суждения, а есть лишь указание на него. Получается, что суждение может указывать на предмет, не отражая его. Попытка обосновать возможность выражения двучленного суждения в односоставном предложении часто приводила к ложному объяснению односоставных предложений методом уже лингвистического анализа (ссылки на ситуацию, жесты и т. д., которые якобы также могут служить выражением терминов суждения)⁴.

Очевидно, что вопрос об односоставных предложениях должен решаться с учетом прежде всего следующих соображений: или это предложения, которые в своей грамматической форме выражают мысль — суждение, или это лексическая категория, фиксирующая лишь отдельные понятия, или, наконец, это предложения, имеющие в основе своего построения «одно единственное понятие или представление, грамматически соотношенное с действительностью»⁵.

На наш взгляд, проблема односоставных предложений заключается в том, чтобы установить действительные языковые средства выражения в них суждения, приняв во внимание их исключительное своеобразие — отсутствие лексически развернутых членов предложения, объясняемое конкретной историей их образования и развития.

В лингвистической науке не опровергается положение о том, что односоставные предложения являются действительно предложениями, выражающими определенную, относительно законченную мысль — суждение.

¹ См. A. Marty, Über subjektlose Sätze und das Verhältnis der Grammatik zu Logik und Psychologie, (Gesammelte Schriften, Bd. II, Abt. 1, Halle, a's., 1918).

² См. W. Grebe, Die logische Funktion der Sprache, «Blätter für deutsche Philosophie», Bd. 9, Heft 4, Berlin, 1936.

³ См. В. А. Кириллова, Суждение и предложение. Автореф. канд. дисс., М., 1954, стр. 10—11.

⁴ См. Н. Paul, Deutsche Grammatik, Bd. III, Halle, 1919, стр. 26—27.

⁵ В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 9, см также: W. J. Entwistle, Aspects of language, London, [1953], стр. 168.

Суждение извлекается из этих предложений в форме мысли о том, что наступает какое-то явление (света — «светает», вечера — «вечерет» и т. д. в глагольных безличных предложениях) или — что существует какой-то факт («зима», «пожар» и т. д. — в именных предложениях). Эти суждения близки к экзистенциальным.

Ясно, что логический состав суждения извлекается из этих предложений только потому, что он так или иначе действительно реализован в их языковой форме. А. А. Шахматов, признавая грамматическую односоставность этих предложений, утверждал, что в одном члене этих предложений выявляется предикат коммуникации¹, но не смог дать четкого грамматического объяснения этому явлению.

Л. А. Булаховский придерживается того взгляда, что безличные (односоставные) предложения являются особым видом «выявления двусоставного в своей основе акта мышления»².

Некоторые лингвисты, анализируя односоставные предложения и сравнивая различные формы этих предложений в индоевропейских языках (например, в немецком, где они формально двусоставные — *es regnet* и т. д., аналогично во французском — *il pleut* и т. д.), полагают, что эти предложения с грамматической точки зрения являются полными предложениями, хотя и своеобразными³. Данное сравнение наводит на мысль, что специфика односоставных предложений — не в структуре имеющих в них суждений, а в грамматической форме выражения последних (примечательно, что не во всех языках возможны такие, например, односоставные предложения, как безличные; так, они невозможны в монгольском языке).

В связи с возможностью указанного толкования содержания односоставных предложений отмечалось, что глагольная флексия в безличных предложениях может передавать понятие местоименного указания (например, *Светает* может означать, что это, данное явление есть «светание»); в номинативных предложениях фразовая интонация слова означает его предикативную функцию, а флексия слова (именительный падеж, например, *Вечер*) также приобретает функцию выражения. Аналогично анализировались и другие виды подобного типа предложений (неопределенно-личные, обобщенно-личные и др.).

Конкретно-историческое исследование односоставных предложений должно объяснить значение их формы, ее становление и особенности выражаемого этими предложениями логического содержания. При этом необходимо полностью отказаться от прямого сопоставления в данном случае членов суждения и членов предложения, поскольку уже очевидно, что конкретная языковая форма односоставных предложений не идентична подлежащно-сказуемостной форме обычных предложений.

К тому же, как верно подмечает В. А. Кириллова⁴, следует учитывать многообразие односоставных предложений. Есть односоставные предложения (так называемые нераспространенные), в которых субъект суждения лексически отдельно не выражается, а есть такие односоставные предложения (так называемые распространенные), в которых при определенном логическом ударении не только предикат, но и субъект суждения получает самостоятельное лексическое выражение.

¹ См. А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, 2-е изд., Л., 1941, стр. 30.

² «Курс современного украинского литературного языка», т. II, под ред. Л. А. Булаховского, Киев, 1951, стр. 52 [на укр. языке].

³ См. Е. Ф. Будде, Основы синтаксиса русского языка, Казань, 1912, стр. 22—23.

⁴ См. В. А. Кириллова, указ. автореф., стр. 8—9.

4

Важным обстоятельством при решении проблемы соотношения суждения и предложения надо считать известное для многих языков явление изменения смысла предложения при помощи логического (фразового) ударения. Так, в русском языке широко используется логическое ударение для выражения логического смысла предложения при сохранении его лексического состава (например, *Я даю ему книгу* соответственно с ударением на *я*, *книгу* и т. д.). Этот факт истолковывается двояко в логическом и лингвистическом плане. Для сторонников психологического направления он являлся доказательством несовместимости логической схемы, привязанной только к подлежащему и сказуемому предложения, с живым языком.

Так, И. Крамп приводит предложение *Das Lob erwartet den fleißigen Schüler nach vollbrachter Arbeit* («Похвала ожидает ученика после выполненной работы»; при ударении на *das Lob*), которое, согласно его анализу, содержит суждение *Der fleißige Schüler wird nach vollbrachter Arbeit gelobt* («Прилежный ученик получает похвалу после выполненной работы»)¹. Крамп подгоняет суждение под обычную форму (подлежащее — сказуемое), игнорируя такие важные факторы синтаксической формы данного предложения, как порядок слов (дополнение на первом месте) и логическое ударение. Но эти средства как раз и служат здесь той языковой реальностью, которая дает нам право извлечь правильную мысль из этого предложения, не искажая его.

При постановке фразового ударения на *das Lob*, становящемся логическим предикатом, смысл этого предложения может быть передан примерно так: «То, что ожидает прилежного ученика после выполненной работы, есть похвала». В этом отношении крупной заслугой А. М. Пешковского следует считать его положение об интонации как важнейшем синтаксическом средстве².

В настоящее время уже отвергается узкая формальная схема предложения, ограниченного только отношением подлежащего и сказуемого. Действительная языковая форма предложения включает в себя и порядок слов, и интонацию, в результате чего возможности выражения логической мысли становятся шире.

При такой постановке вопроса уже нельзя видеть противоречия между суждением и предложением в тех случаях, когда логический предикат, обозначенный ударением, не совпадает с морфологическим сказуемым (глаголом или именем). Нельзя также утверждать, что при этом одно и то же предложение может выражать собою несколько различных суждений, поскольку изменение порядка слов или логического ударения означает изменение не только суждения, но и предложения (если брать его во всем многообразии).

Использование интонации для формирования предложения с различным смысловым содержанием, но при одном грамматическом составе его членов может рассматриваться как подтверждение единства суждения и его формальной реализации в предложении.

Некоторые лингвисты указывали на то, что подлежащее и сказуемое предложения не совпадают с субъектом и предикатом высказывания в таких, например, случаях, как *Солнце освещает землю* и *Земля освещается солнцем*. Несоответствие это, по их мнению, заключается в том, что в пассивной конструкции «логический субъект» — *солнце* — является грам-

¹ См. Л. Крамп, указ. соч., стр. 49.

² См. А. М. Пешковский, Интонация и грамматика, сб. «Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики», М.—Л., 1930.

матическим дополнением. Этот взгляд привел затем многих языковедов к смешению членов предложения и членов суждения. Отголоски этого долгое время продолжали жить и в русской грамматике и логике, особенно школьной¹.

А. А. Потебня затронул позже эту проблему с другой стороны, исходя из того, что «грамматическое предложение вовсе не тождественно и не параллельно с логическим суждением». Он писал: «...для логики в суждении существенна только сочетаемость или несочетаемость двух понятий, а которое из них будет названо субъектом, которое предикатом, это для нее, вопреки существующему мнению, должно быть безразлично, ибо в формально-логическом отношении, независимо от способа возникновения и словесного выражения, все равно, скажем ли „лошадь — животное“, „лошадь — не собака“ или „животное исключает лошадь“... „собака не лошадь“»². А. А. Потебня несправедливо приписывает логике такое безразличие к составу суждения. Логика прекрасно отличает суждения «лошадь не собака» и «собака не лошадь», считая, что в первом субъектом будет «лошадь», предикатом «собака», во втором, наоборот, субъектом будет «собака», предикатом «лошадь».

Непосредственное отношение к проблеме связи логического суждения и грамматического предложения имеет вопрос о составе того и другого. Как известно, предложение имеет главные и второстепенные члены, суждение же не имеет подобного членения. Этот факт иногда вызывает серьезное сомнение в соответствии суждения и предложения. Сущность этого аргумента против единства суждения и предложения сводится к тому, что отрицается возможность структурной адекватности суждения и предложения, так как двучленная форма суждения не может быть, согласно этой точке зрения, уложена в многочленную форму предложения (подлежащее, сказуемое, определение, дополнение, обстоятельство)³.

Известный представитель логического направления в русском языкознании Ф. И. Буслаев пытался, однако, снять этот аргумент следующим образом: «В логическом отношении, — писал он, — второстепенные члены не отделяются от главных, и вместе с ними составляют логическое подлежащее или логическое сказуемое. Например, в предложении „Церковно-славянская литература с древнейших времен стала оказывать влияние на русский язык“ — *церковно-славянская литература* есть логическое подлежащее, и все остальные слова, вместе взятые, — логическое сказуемое. Что же касается до грамматического разбора, то в нем строго отделяются члены второстепенные от главных»⁴.

Вообще говоря, то или иное решение этого вопроса может иметь два важных следствия: или второстепенные члены предложения явятся выражением соответствующих элементов логических форм мышления, или они окажутся только признаком предложения, не связанным со строем мышления. Последний вариант этой альтернативы затрагивает уже принципиальные стороны проблемы единства языка и мышления.

В советской логической литературе высказывалось мнение о том, что в данном случае неправомерно соотношение грамматических категорий с логическими⁵. Для логики второстепенные члены предложения

¹ См. Г. И. Челпанов, Учебник логики, Госполитиздат, 1946, стр. 35.

² А. Потебня, Из записок по русской грамматике, 1—II, 2-е изд., Харьков, 1888, стр. 61.

³ См., например, В. А. Богородицкий, Общий курс русской грамматики, М.—Л., 1935, стр. 205.

⁴ Ф. Буслаев, Историческая грамматика русского языка, [ч. 2]—Синтаксис, М., 1881, стр. 30.

⁵ См. П. С. Попов, Суждение и предложение, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950, стр. 34—35.

самостоятельного значения не имеют, поскольку логически соотносительно субъект и предикат подвижны (например, в предложении *Семен идет завтра в Москву* с различным логическим ударением) и поэтому могут покрывать «все звенья в предложении». При таком объяснении, однако, второстепенные члены не находят все же своего места в суждении, ибо ссылка на то, что они для логики не имеют самостоятельного значения, требует одновременно доказательства их «несамостоятельной природы».

Как известно, логика различает соотношения понятий «атрибутивные» (понятие и его признак) и «предикативные» (суждение). Причем соотношение понятия и его признака (например, *белая берега*) выступает всегда единым сложным целым и в составе суждения, образуя один из его членов (субъект или предикат). Эти различные отношения понятий, свойственные человеческому мышлению, правильно отражающему в своих формах объективные стороны существования вещей, находят непосредственное выражение в грамматическом различии сочетания слов. Логическое отношение признака и определяемого (ограничиваемого) понятия передается в языке словосочетанием — определение с определяемым для имени или дополнение и обстоятельство при глаголе. Логическое предикативное отношение понятий (суждение) реализуется в синтаксисе в форме предложения (точнее, в форме предикативной связи предложения).

Следовательно, имеется полная неразрывная связь логического строения мысли и ее реального выражения в грамматическом строе языка. Сколько элементов содержит предложение, столько элементов мысли заключает в себе и суждение (если учитывать расчлененность субъекта и предиката). Расчлененность одного соответствует расчлененности другого. Поэтому вряд ли правомерно так категорически говорить о «несоответствии между структурой предложения и структурой соотносительной с ним логической формы мысли»¹, как это делает Е. В. Кротевич, ссылаясь к тому же на весьма сомнительный тезис о консервативности языковых форм в сравнении с формами логическими.

Положение о единстве суждения и предложения должно найти себе дальнейшее подтверждение при анализе сложных суждений и сложных предложений, а также при решении проблемы развития суждения и предложения. К сожалению, этими вопросами логики и грамматисты занимаются врозь. Определяя сложное суждение, логики не привлекают грамматический материал из области сложного предложения, в результате чего допускается произвол в установлении критерия сложности суждения. Например, сложными суждениями одинаково считаются и суждение *Иванов и Петров — студенты* и суждение *Если идет дождь, то крыши домов мокрые*², между тем как в первом случае речь может идти лишь о сложности одного субъекта, а не суждения в целом.

Обращение к фактам языка несомненно помогло бы логикам найти более определенный критерий формальной сложности суждения и устранить ту путаницу, которая имеется в этом вопросе.

Со своей стороны, грамматисты недостаточно привлекают логический материал при анализе сложных предложений, что только затрудняет исследование³. Некоторые грамматисты⁴ почему-то считают суждения

¹ Е. В. Кротевич. Члены предложения в современном русском языке [Львов], 1954, стр. 10.

² См. П. В. Таванец, указ. соч., стр. 104, 123.

³ См. Г. С. Кнабе. Еще раз о двух путях развития сложного предложения ВЛ, 1955, № 1.

⁴ См. например, Н. С. Поспелов, О грамматической природе сложного предложения, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», стр. 332, 335, 336.

типа *Не все то золото, что блестит* и *Вы поедете туда, где стоят ваши части* сложными, тогда как они на самом деле простые, а суждение *Я спросил книгу, каковой в библиотеке не оказалось* считают одночленным, хотя одночленных суждений вообще быть не может. Анализируя предложение *Его нет, потому что он болен* и *Его нет потому, что он болен*, эти исследователи находят в первом из них одно суждение, во втором — два, не учитывая того, что в обоих случаях мы имеем не суждение, а сокращенное умозаключение.

Совместная работа логиков и лингвистов необходима и при решении проблемы развития суждения и предложения. Надо отметить, что если лингвисты в этом направлении кое-чего уже достигли, то результаты работы логиков равны нулю. Больше того, находятся логики, которые полагают, будто суждение, раз возникнув, в дальнейшем не развивается. Получается, таким образом, странная картина: грамматическая форма — предложение — развивается, а ее содержание — суждение — остается неизменным. Нам представляется, что принцип единства логических и грамматических категорий должен быть распространен и на проблему развития суждения и предложения. Вне всякого сомнения, суждение тоже развивается, причем это развитие идет прежде всего в направлении усложнения его структуры, как равно и структуры составляющих его частей — субъекта и предиката. В этом плане грамматистам необходимо подкрепить те соображения, которые высказываются по вопросу о развитии сложного предложения¹.

5

Остается теперь рассмотреть еще один важный пункт проблемы соотношения логики и грамматики — умозаключение и способы выражения его в языке.

В проблеме соотношения логических и грамматических категорий вопрос об умозаключении и способах его выражения в языке оказался наименее разработанным. Насколько известно, этому вопросу специально посвящена лишь одна работа — кандидатская диссертация А. Н. Мосейко «Способ выражения умозаключений в языке» (М., 1954). В диссертации рассматриваются различные синтаксические единицы (предложение, сложное синтаксическое целое), а также синтаксические средства, с помощью которых выражается умозаключение.

Основная задача при разработке данного вопроса состоит в том, чтобы показать, какая языковая категория соответствует умозаключению и в каких формах она проявляется.

Как известно, умозаключение представляет собою форму мышления, в которой из одного или нескольких суждений, называемых посылками, выводится новое суждение — заключение. Например: «Всякая наука должна руководствоваться диалектическим методом. Языкзнание есть наука. Следовательно, языкзнание должно руководствоваться диалектическим методом».

Сущность умозаключения как формы мышления состоит в опосредствовании одной связи другой связью. Так, в нашем примере непосредственная связь понятий в выводе «языкзнание должно руководствоваться диалектическим методом» опосредствуется связями тех понятий, которые составляют посылки («Всякая наука должна руководствоваться диалектическим методом», «языкзнание — наука»).

¹ См., например, Г. С. Кн а б е, указ. соч.

Логика различает много видов умозаключений, как непосредственных, так и опосредствованных. Среди последних она выделяет категорический силлогизм, условный силлогизм, разделительный силлогизм, индукцию, традукцию и др. Однако к какому бы виду умозаключение ни принадлежало, оно всегда выражается в строго определенной языковой форме, именно в форме предложения и системы предложений. Разобранное выше умозаключение является пример такого случая, когда для выражения умозаключения употребляется система предложений (трех).

Система развернутых предложений как средство выражения умозаключения употребляется в практике мышления не так уже часто. Чаще всего ее можно встретить в руководствах по логике, где к ней прибегают из чисто дидактических соображений, да в такой строго дедуктивной науке, как математика. В живой речи наиболее употребительным языковым средством выражения умозаключения выступает сложное предложение: сочиненное или подчиненное.

Обычно умозаключение редко применяется в полном своем составе, где бы полностью выражались и ставились одна рядом с другой все его части: обе посылки и вывод. Как нетрудно убедиться, рассмотрев любой литературный текст, практически употребительной формой умозаключения является форма, в которой опускается какая-либо его часть: первая посылка, вторая или вывод. Эта форма сокращенного умозаключения получила в логической традиции название энтимемы. Возможность пропуска какой-либо одной (из трех) частей умозаключения обусловлена тем, что эта часть без особого труда может быть восстановлена из контекста рассуждения; целесообразность же этого пропуска объясняется необходимостью добиться краткости, плавности хода рассуждения.

Вследствие того, что практически употребительной формой умозаключения является энтимема, она чаще всего выражается не системой самостоятельных предложений (как в приведенном выше примере), а одним предложением — сложным. В логике различают три вида энтимем: энтимему с опущенной первой посылкой, энтимему с опущенной второй посылкой, энтимему с опущенным выводом. Для решения проблемы соотношения логических и грамматических категорий различие между первым и вторым видами энтимем несущественно, поэтому их можно сгруппировать в одно целое. Остаются, таким образом, два вида энтимем: энтимема с опущенной посылкой и энтимема с опущенным выводом.

Рассмотрим эти два вида энтимем в плане выявления тех грамматических средств и форм, с помощью которых они выражаются. Каждое умозаключение выявляет либо причинно-следственную связь, либо связь основания и следствия. Неудивительно поэтому, что они выражаются теми видами предложений, которые имеют прямое отношение к указанным связям. В грамматике эти виды предложений получили название предложений с причинно-следственной связью.

Однако не всякое предложение, выражающее причинно-следственную связь, содержит умозаключение. Примером тому являются следующие предложения: *Он не пришел на занятия по болезни*, *Причиной высокой себестоимости продукции является низкая производительность труда*. Хотя в этих предложениях имеется указание на причину, тем не менее они не выражают собой умозаключений. Чтобы предложение выражало умозаключение, оно должно состоять из двух частей, одна из которых указывала бы на основание (причину), другая — на следствие, или обе указывали на основание, притом так, чтобы следствие становилось очевидным из контекста.

Сокращенные умозаключения с одной опущенной посылкой выражаются сложным предложением либо с помощью союзов, либо без помощи сою-

зов. В свою очередь союзы могут быть либо причинно-следственные (т. е. выражающие причинно-следственную связь), либо не причинно-следственные. Причинно-следственные союзы: *так как, потому что, из-за того что, благодаря тому что, в связи с тем что, в виду того что, вследствие того что, в силу того что, затем что, ибо, поскольку* и др. К этой группе можно отнести и слова: *следовательно, итак, значит, стало быть, поэтому, потому* и др.

Часть перечисленных союзов употребляется в качестве союзов основания (причины), и потому предложения, с которыми они связываются, всегда выступают зависимыми, придаточными предложениями. Приведем примеры: «Машины засветили фары, потому что в лесу уже стемнело» (Г. Николаева, Жатва); «Благодаря тому, что лето очень жаркое и сухое, понадобилось поливать клесов деревьев» (А. П. Чехов, Черный монах); «Так как вы на все предметы смотрите с их смешной стороны, то и положиться на вас пользы» (И. С. Тургенев, Повесть).

Вторая группа указанных выше слов, выражающих причинно-следственную связь, служит для выделения следствия, а не основания, как первая группа. Приведем несколько примеров: *Он согласен, и потому не возражает; И спешил, поэтому и не дождал тебя; Враг не сдастся, следовательно, он должен быть уничтожен.*

Важно заметить, что умозаклучения выражаются в языке не только в сложных предложениях с соответствующими союзами, но и в других разнообразных формах сложных предложений, где они обнаруживаются не в семантике союзов, а в содержании всего состава предложения. Например: «Зима была снежная, и все ждали сильного половодья» (Д. Н. Мамин-Сибиряк, Хлеб); «Бойцу Волошину крепко полюбилась военная служба, и он навсегда решил пожизненно остаться в армии» (М. Бубеннов, Белая береза). Хотя в приведенных примерах, выражающих сокращенные умозаклучения, мы имеем дело также с основанием (первые предложения) и следствием (вторые предложения), т. е. опять-таки со сложным предложением, тем не менее здесь нет уже отношения подчинения, на его место становится отношение сочинения. Бывают случаи, когда умозаклучение с опущенной посылкой выражается без всякого союзного слова. Тогда роль выразителя причинно-следственной связи играет особая интонация или пауза. Например: «Начало стройки падало на зиму — в этом заключалась особенная трудность положения» (В. Ажаев, Далеко от Москвы).

Второй вид сокращенного умозаклучения (с опущенным выводом) встречается, как отмечено, в практике мышления значительно реже. Там, где он встречается, он получает выражение в виде двух предложений, соединенных в одно целое союзами *и, но*. Пример: *Все марксисты — материалисты, но Плеханов марксист* (опущен вывод: *Плеханов — материалист*).

Надо заметить, что сложные предложения почти не анализировались в литературе с точки зрения их логического содержания (за исключением, может быть, указанной статьи Н. С. Поспелова), и в настоящее время слабо разработаны принципы их классификации. При принятии семантического принципа большую помощь в классификации оказал бы логический анализ структуры сложного предложения, что значительно бы исправило бы классификацию по чисто формальным признакам и союзам.

Нами рассмотрены основные виды предложений, выражающих умозаклучения. Уже из рассмотренного видно, сколь многообразны грамматические формы, в которых получает языковое выявление умозаклучение. Изучение этих форм, их анализ и сопоставление дает логикам богатый материал для исследования типов умозаклучений и способов употребления их

в живой практике мышления. Но, с другой стороны, знание того, что во всех приведенных типах предложений, выражающих причинно-следственную связь, содержится именно умозаключение, а не какая-либо другая форма мышления, облегчает грамматистам исследование этих предложений и еще раз подтверждает правильность основного исходного положения при решении проблемы соотношения логики и грамматики — положения о единстве мышления и языка, логических и грамматических категорий.

*

Мы рассмотрели основные логические категории мышления в их отношении к категориям языка.

Признание единства логической структуры мышления и грамматического строя языка, вытекающее как необходимое следствие из марксистского положения о неразрывном единстве языка и мышления, никак не может привести к отождествлению логических и грамматических категорий, поскольку это единство предполагает и несомненное различие областей, его образующих. Это признание снимает всякое толкование о противоречии и несовместимости логики и грамматики и одновременно предполагает их отличие. Последнее обусловлено спецификой содержания и формы, что создает особые предметы изучения для логики и грамматики.

Лингвистическая и логическая науки, основывающиеся на диалектической теории, должны снять всякую односторонность при рассмотрении проблемы языка и мышления, логики и грамматики. Для этого необходимо учитывать природу логического строя мышления и, соответственно, характер самой науки логики, а также сущность грамматического строя языка, границы предмета грамматики.

Если логика должна изучать формы мышления, то грамматика (синтаксис) должна изучать грамматические (синтаксические) формы языка, своеобразные для каждого языка, внутри одного национального языка и на протяжении истории развития этого языка.

Общая теория грамматики, построенной на основе марксистского учения о языке, не отбрасывает проблемы связи логических и грамматических категорий. Последовательное применение положения о неразрывном единстве языка и мышления позволит в дальнейшем еще более глубоко обосновать и подтвердить фактами языка связь логических и синтаксических категорий и в то же время обнаружить их действительные различия, обусловленные спецификой внутренних законов того и другого.

Р. И. АВАНЕСОВ

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЯЗЫКА РУССКОЙ (ВЕЛИКОРУССКОЙ) НАРОДНОСТИ¹

1. Несколько предварительных замечаний

По вопросам происхождения и образования русского языка до последнего времени была принята гипотеза акад. А. А. Шахматова, заключающаяся в том, что трем современным восточнославянским языкам в эпоху, непосредственно предшествующую древнерусскому государству X—XI вв., соответствовали три иные группы диалектов — диалекты севернорусов, восточнорусов и южнорусов. Современные восточнославянские языки являются, по А. А. Шахматову, либо непосредственным продолжением одного из этих диалектов (украинский), либо образовались в результате объединения в различных комбинациях двух (из трех) древних восточнославянских диалектов (русский и белорусский). Для этой гипотезы характерен отрыв вопросов истории языка от реальной истории восточных славян в XIII—XIX вв., когда как раз имело место образование языков восточнославянских народностей, а затем их развитие в национальные языки. В лингвистическом отношении эта гипотеза характеризовалась возведением современных диалектных различий к глубокой древности, нередко к племенной эпохе, без учета в достаточной мере внутренней истории отдельных языковых явлений и их относительной хронологии. Гипотеза эта не была в достаточной мере оснащена фактами даже для своего времени и молчаливо признавалась многими едва ли не благодаря исключительно высокому авторитету ее автора².

Однако современная наука, требующая глубокого историзма, не может принять гипотезу А. А. Шахматова. Критика последней около 10 лет

¹ Настоящая статья, как и примыкающие к ней по теме ранее опубликованные в журнале «Вопросы языкознания» — «К вопросам образования русского национального языка» (1953, № 2), «Лингвистическая география и история русского языка» (1952, № 6), — связаны с подготовляемой автором к печати монографией, посвященной образованию русского языка в его диалектах. В ней использованы также материалы статьи «Русский язык» для «Большой Советской Энциклопедии», написанной акад. В. В. Виноградовым и автором настоящей статьи.

Статья основана на наблюдениях автора над диалектами русского языка, а также частично (так как многие территории и явления еще не картографированы) на материалах диалектологического атласа русского языка.

² Отметим, что гипотеза А. А. Шахматова не была принята таким крупнейшим ученым, как Ягич (см. «А. А. Шахматов. 1864—1920. Сборник статей и материалов», под ред. С. П. Обворского, М.—Л., 1947, стр. 79—80). Не принята гипотеза А. А. Шахматова и за рубежом. Так, Б. Унбегаун, разбирая книгу Л. П. Якубинского «История древнерусского языка», пишет, что «автор (Л. П. Якубинский.— Р. А.) возводит в стезень установленного факта шахматовское деление русских племенных диалектов на три группы — деление, в пользу которого нет ни малейших данных» (B. O. Unbegaun, Some recent studies on the history of the russian language, «Oxford Slavonic Papers», vol. V, 1954, стр. 118).

назад была дана автором настоящей статьи в работе «Вопросы образования русского языка в его говорах»¹. Не все положения этой работы кажутся сейчас автору верными. Однако имеющаяся в ней критика шахматовской гипотезы нам представляется в основном правильной, хотя и недостаточной. В этой работе делалась попытка нарисовать картину образования русского языка в связи с историей русского народа. Но история отдельных диалектов в ней рассматривалась вне связи с историей общенародного русского языка, а вопрос о развитии языков народностей и наций даже не ставился. Мало принимались во внимание данные письменного-литературного языка.

Между тем при постановке намеченной проблемы следует иметь в виду, что понятие того или иного конкретного языка относится не только к сфере структуры языка, его качества, но также и к сфере функций и типов языка, что определяется тем, каков характер общества, им обслуживаемого: обслуживает ли язык племя, народность или нацию. Вопрос о развитии языков в эпоху образования народностей и наций представляет собой сложную и мало разработанную проблему, выдвинутую советским языковедением за последние годы. Теоретическая разработка этой проблемы сейчас является весьма своевременной. Однако она представляет собой задачу, выходящую за пределы тех, которые ставятся в настоящей статье — осветить в общих чертах возникновение и развитие русского языка в определенных хронологических рамках.

Как известно, история языка разрабатывается двумя научными дисциплинами — исторической грамматикой и историей литературного языка. Историческая грамматика конкретного языка есть наука о р а з в и т и и с т р о я данного языка, т. е. его фонетической системы, грамматического строя, словарного состава в его диалектах за все доступное для изучения время. История же литературного языка есть наука о к а ч е с т в е данного литературного языка в разные периоды его развития в его отношении к системе общенародного языка и о его и с п о л ь з о в а н и и при разного типа жанрово-стилистической организации речи (например, в разных жанрах фольклора, в ораторской речи; в делопроизводстве и канцелярском обиходе, в художественной прозе, в поэзии и т. д.).

Историческая грамматика имеет дело с общенародным языком вне связи с определенной стилистической организацией речи, в его обычном, т. е. устном оформлении. Даже обращаясь к письменным памятникам, она извлекает из них такие данные, которые характеризуют живой язык народа. История литературного языка, напротив, изучает лишь определенный тип языка — «литературный язык»² и притом обычно в связи с той или иной стилистической организацией речи, в некоторых случаях в устном оформлении (например, язык фольклора, ораторская речь), но по преимуществу — в письменном. Под историей литературного языка обычно имеется в виду история письменного-литературного языка.

Историческая грамматика и история литературного языка, частично различаясь объектами изучения, коренным образом отличаются друг от друга своим методом. Специфика исторической грамматики заключается в том, что она принципиально ретроспективна, т. е. воссоздает прошлое, главным образом исходя из данных современности. В противоположность исторической грамматике история литературного языка (по

¹ «Вестник Моск. ун-та», 1947, № 9.

² Понятие литературного языка не имеет до сих пор своего достаточно точного определения; не выяснена также специфика литературного языка по отношению к разным историческим эпохам. Разработку общих понятий истории литературного языка следует считать одной из назревших задач советского языковедения.

крайней мере письменного-литературного языка) воссоздается по преимуществу в прямой последовательности — от прошлого к настоящему. Это видно из того, что если историческая грамматика сведения о языковом прошлом извлекает из сравнительно-исторического изучения современного языка во всех его разновидностях, то этого нельзя сказать об истории литературного языка: сведения о литературном языке прошлого извлекаются главным образом не из анализа современного литературного языка, а непосредственно из текстов, из письменных памятников соответствующих эпох. Правда, чтобы использовать письменные памятники как источник истории литературного языка, надо их «прочитать», т. е. перевести с той или иной степенью точности язык графических знаков на обычный, устный, звучащий язык (т. е. обратиться к помощи исторической грамматики). Но это относится и к использованию письменного памятника в любых других целях, например, историком литературы, историком права, хозяйства и т. д. Важно то, что историк литературного языка, как и историк литературы или историк права, хозяйства и т. д., непосредственно общается с определенными сторонами общественной действительности прошлого; в частности, историк языка получает, так сказать, доступ к отдельным участкам языковой действительности прошлого.

Для разрешения проблемы развития языка в эпоху образования народности и нации в равной мере важны вопросы как качества живой общенародной речи (т. е. данные исторической грамматики), так и качества литературного языка в его разнообразных функциях (т. е. данные истории литературного языка) в различные эпохи, на определенной территории, в определенных исторических условиях (т. е. в свете данных исторической диалектологии). В точке пересечения всех этих аспектов и заключается специфика проблемы развития языка в эпоху существования народности и нации.

Настоящая статья по материалам, на которые она опирается, относится по преимуществу к сфере исторической грамматики и диалектологии. В центре ее — проблема образования общенародного русского языка и его диалектных групп. Однако в ней принимаются во внимание также данные истории литературного языка, так как без них не может не только решаться, но и ставиться проблема языка народности и нации. Установленные ретроспективно, путем сравнительно-исторического изучения современных русских говоров данные ниже излагаются в исторической последовательности с учетом данных истории литературного языка.

Для правильной оценки излагаемой ниже концепции и приводимого материала отметим, что ретроспективный, сравнительно-исторический метод, которым пользуются историческая грамматика и историческая диалектология, обычно не может воссоздать процесс образования диалектов и родственных языков во всей их исторической конкретности ввиду недостаточности источников и их характера, так как позднейшие процессы нивелировки диалектов обычно в той или иной (нередко в значительной) степени стирают старые отношения.

Поэтому ниже при изложении древних эпох истории русского языка многие положения не могут быть полностью оснащены фактами и доказаны и излагаются в качестве гипотез. Этим объясняется наличие по некоторым вопросам разных (порой противоположных) гипотез. Задача исследования в этих случаях заключается в том, чтобы принять или выдвинуть ту точку зрения, которая в наибольшей степени может быть подкреплена фактами; задача же критики, если она отвергает предлагаемую гипотезу, — в том, чтобы противопоставить ей другую, в большей мере подкрепленную фактами и потому более достоверную.

Изложение общих вопросов происхождения и развития русского язык-

ка в настоящей статье основано по преимуществу на материалах фонетических и морфологических. Это меньше всего объясняется недооценкой автором синтаксиса и лексики. Правда, едва ли можно предполагать для древнейших эпох в языке восточных славян сколько-нибудь глубокие диалектные различия в области синтаксиса, однако в области лексики они, вне сомнения, были, хотя мы и не обладаем пока достаточным материалом, а кроме того, что особенно важно, пока не можем установить, к какой эпохе относится возникновение того или иного лексического диалектного различия и какова была первоначальная территория его распространения. Во всяком случае, по мере накопления материала автор предполагает в полной степени воспользоваться данными синтаксиса и лексики.

Настоящая статья посвящена, в основном, образованию языка великорусской народности. Хронологически время существования последнего ограничивается, с одной стороны, периодом, когда в языке древнерусской народности, иначе — древнерусском языке, появляются признаки развивающегося русского (великорусского) языка (начальный период образования языка великорусской народности), с другой стороны, периодом, когда в русском (великорусском) языке появляются признаки его развития в национальный язык в связи с развитием самой народности в нацию (конечный период развития языка народности, совпадающий с начальным этапом развития национального языка). Применительно к русскому языку это время от второй половины XIII в. до XVII в. включительно.

Во второй половине XIII в. на северо-востоке намечается образование ядра той общности, которая затем разовьется в русскую (великорусскую) народность; заметны и некоторые специфические особенности языка. В XVII в. уже налицо признаки развития русской (великорусской) народности в нацию и русского языка того времени в русский национальный язык. Русский язык XVII в. по тенденциям своего развития — это национальный язык (начальной поры его развития), хотя по основным и, пожалуй, еще в значительной мере доминирующим чертам, в силу устойчивости языка, он еще принадлежит прошлому, характеризуя язык народности. Таким образом, язык русской (великорусской) народности, если не касаться его «предистории», с одной стороны, и эпохи начальных процессов его развития в национальный язык, с другой, охватывает XIV—XVI вв.

Ввиду того, что язык русской (великорусской) народности развивался на почве части диалектов языка древнерусской народности и притом в значительной мере параллельно с развитием языков других восточнославянских народностей, в настоящей статье рассматриваются и более ранние эпохи — образования восточнославянского языкового единства и языка древнерусской народности. Таким образом, здесь рассматриваются некоторые вопросы образования русского языка с древнейших времен до XVII в. включительно.

2. Языковая общность восточных славян и вопрос о времени образования языка древнерусской народности

Объем понятия русский язык, его качество и функции глубоко различны применительно к разным историческим эпохам. Историческая изменчивость этого понятия, связанная со всей историей русского языка, обусловлена историей русского народа, его формированием вместе с формированием братских восточнославянских народов — украинского и белорусского — из общего корня единой древнерусской народности.

Восточные славяне были исконно едины по своему языку. Образование восточнославянского языкового единства восходит ко времени развития соответствующих черт — новообразований, в равной мере свойственных всем восточным славянам в отличие от других славянских языковых групп. Выделение языковых славянских групп из общеславянского языкового единства не было простым распадением некогда единого языка на три языковые группы, а представляло собой значительно более сложный процесс. Исторически образовавшиеся три славянские языковые группы и их части в разные периоды дописьменной эпохи в процессе своего становления были в разных отношениях друг к другу. Одни черты, видимо, древнейшие, объединяют восточную и южную группы, противопоставляя их западной. По другим чертам, частью менее древним, восточные славяне объединяются с западными славянами или определенными группами этих последних (с северо-западными).

Сравнительная грамматика славянских языков свидетельствует о том, что, в отличие от западнославянской и южнославянской языковых групп, внутри каждой из которых имелись заметные диалектные различия, восходящие к весьма древним эпохам, восточнославянская языковая группа была значительно более цельной и единой: в древнейших фонетических процессах, как и морфологических особенностях, в ней не обнаруживается сколько-нибудь заметных различий.

Вопрос о времени языкового выделения восточных славян в настоящее время не может быть окончательно решен. Можно полагать, что в середине I тысячелетия нашей эры восточные славяне развили те древнейшие языковые особенности, которыми они отличались как от южных славян, так и от славян западных, причем в этих вновь развитых особенностях они были едины.

К числу древнейших специфически восточнославянских черт-новообразований следует отнести развитие [ч'] и [дж'] (затем [ж']) на месте *tj*, *dj* и полногласие. К позднейшим языковым чертам-новообразованиям, общим всему восточному славянству, относится развитие *o* носового и *e* носового соответственно в гласные [y] и [ä] (затем [a] с мягкостью предшествующего согласного). Судя по тому, что древнейшие финские заимствования еще свидетельствуют о наличии носовых в языке восточных славян, а передача названий днепровских порогов у Константина Багрянородного говорит о том, что к середине X в. их уже не было, можно думать, что носовые были утрачены примерно в IX в., когда восточные славяне еще переживали общие для всех них языковые процессы. Это является вместе с тем косвенным показателем того, что в рассматриваемое время они еще не могли развить сколько-нибудь глубоких языковых различий.

Как известно, в вопросе о времени образования древнерусской народности нет единства во мнениях советских историков. Одни полагают, что она начинает формироваться еще в дофеодальный период в процессе консолидации племенных союзов (проф. Б. А. Рыбаков)¹. Другие относят ее образование к феодальному периоду (проф. В. В. Мавродин, проф. Л. В. Черепнин)². Однако несомненно, что унаследованная от прблгого языковая общность восточных славян явилась одним из важнейших факторов развивающейся древнерусской народности, нашедшей свое политическое оформление в древнерусском (киевском) государстве и вне сомнения уже существовавшей в X—XI вв.

¹ См. Б. А. Рыбаков, Проблема образования древнерусской народности в свете трудов И. В. Сталина, ВИ, 1952, № 9.

² См. В. В. Иванов, Обсуждение вопросов формирования русской народности и нации, ВЯ, 1954, № 3, стр. 133.

При наличии решающего единства в отношении происхождения и характера языкового строя общенародный язык древнерусской народности X—XI вв. получал тем не менее на разных территориях различную местную окраску. Отсутствие централизации, слабость экономических связей, отсутствие общего рынка создавали условия, благоприятствующие постепенному накоплению диалектных различий. Восточнославянский юг, например, развил изменение г взрывного в фрикативный согласный γ в отличие от севера, северо-запада, северо-востока. С другой стороны, восточнославянский север и северо-запад, видимо в связи с языковым скрещиванием (поглощением славянами финно-угорского населения), усвоили цоканье — неразличение аффрикат ψ и ψ' при произношении мягкого ψ (ψ') на их месте. Можно думать, что на более узкой территории, пограничной с западнославянскими землями, с глубокой древности сохранялись общеславянские сочетания *ll, dl*, которые затем, видимо также в связи с языковым скрещиванием (на этот раз с балтийскими племенами), изменились в *kl, gl* (ср. псковское *привекли* — *привели* из *privedli, чькли* — *чьли* [соврем. рус. (*про*)чли] из **čylli*).

Диалектные различия затрагивали лишь отдельные элементы фонетической системы. У нас нет данных для утверждения о том, что они сколько-нибудь глубоко касались грамматического строя. Вне сомнения были заметные отличия по диалектам в области словаря; однако при нынешнем состоянии науки нет возможности выяснить, какие из словарных различий, известных из позднейших памятников и современных говоров, можно отнести именно к рассматриваемой эпохе. Таким образом, единство общенародного языка в эту эпоху сохранялось еще в полной мере, несмотря на известную местную окраску на разных частях территории древнерусской народности.

Как известно, вопрос о времени возникновения письменности у восточных славян не является решенным. Имеются некоторые основания для предположения о наличии у них письменности, хотя еще и мало совершенной, в эпоху до крещения Руси. Развитие и укрепление древнерусского (киевского) государства, естественно, вызвали развитие и совершенствование письма, необходимого для фиксации государственных актов, для разного рода переписки, для целей развивающейся одной из самых богатых в средневековой Европе культуры.

На основе древней, уходящей глубоко в дописьменную эпоху, общенародной по языку традиции формул посольских, воинских, разного рода договорных речей, а также формул обычного права развивается литературно-письменный язык, представленный договорами, грамотами и памятниками юридического характера.

Крещение Руси в конце X в. вызвало развитие письменности, прежде всего богослужбной и — шире — церковно-религиозной, на старославянском языке. Впрочем последний мог быть известен на Руси и раньше, так как христианство на Руси распространялось постепенно и было уже известно до официального крещения. Старославянский язык, сложившись на близко родственной восточным славянам македонско-болгарской народной основе, в древней Руси постепенно русифицируется, т. е. проникается элементами живой восточнославянской речи и принимает форму церковнославянского языка — русского литературно-книжного языка, обслуживающего по преимуществу жанры богослужбной и церковно-религиозной, а также, мало дифференцированной от последней в условиях средневековья, научно-теоретической по содержанию письменности. Таким образом, русский церковнославянский язык следует отличать от собственно старославянского языка — литературно-книжного древнеболгарского языка.

Очень рано наряду с письменным деловым языком и литературно-книжным церковнославянским развивается собственно литературный русский язык, который употреблялся в жанрах художественной литературы в той мере, в какой последняя в то время выделялась среди общей массы письменности. Этот тип литературного языка несомненно развился на основе древней, восходящей к далеким дописьменным эпохам традиции языка фольклора, народно-поэтической речи, представлявшей собой при отсутствии письма своеобразный тип устно-литературного языка.

Между тремя охарактеризованными типами письменного языка происходило постоянное взаимодействие, взаимопроникновение. Это относится прежде всего к собственно литературному языку, который вбирал в себя по мере необходимости все богатства и живой восточнославянской речи, и книжно-славянского типа литературного языка. Книжно-литературный, церковнославянский язык, русифицируясь, в свою очередь и сам оказывал известное воздействие на устную общенародную речь. Например, в летописях, довольно широко употребляющих русские слова с полногласием, слово *время*, как и в современном русском языке, включая разговоры, употребляется только в неполногласном звуковом облике, соответствующем старославянскому языку (*врѣмя*). Это свидетельствует о том, что данное слово в таком облике было усвоено общенародным языком.

Нельзя не отметить, что и некоторые другие слова в современном русском языке, в том числе в его говорах, известны исключительно или почти исключительно в неполногласном виде (например, *сладкий*, *срам* или *страм*). Это позволяет предполагать, что проникновение неполногласной, старославянской по происхождению формы в общенародный язык относится к глубокой древности.

Процессы нормализации языка в этот период отсутствуют или находятся в зачаточном состоянии. Поэтому все типы письменного языка данного периода относительно широко отражают местную окраску языка. Например, в новгородских памятниках XI—XII вв. отражается поканье, в галицко-волинских памятниках — совпадение *e* с *ъ* перед слогом с утраченным *ь* (черта, которая впоследствии станет одной из характерных особенностей украинского языка).

Ослабление древнерусского государства, наметившееся к концу XI в. и ставшее весьма значительным к середине XII в., как известно, сопровождалось экономическим развитием и укреплением отдельных областей при одновременном ослаблении связей между ними. Все это знаменовало собой переход к феодальной раздробленности, способствовавшей дальнейшему развитию и углублению диалектных различий. Письменные памятники XII в. и первой половины XIII в. дают представление о ряде диалектов древнерусского языка, которое значительно дополняется и углубляется путем сравнительно-исторического изучения современных восточнославянских языков и их диалектов.

Этот период ознаменовался важным для истории всех славянских языков фонетическим процессом падения редуцированных. Последнее имело место в древнерусском языке в течение XII — первой половины XIII в., сначала на юге, где процесс завершился в середине XII в., и позднее на севере. Если падение редуцированных было процессом, общим для всего древнерусского языка, то его последствия были не одинаковы на разных частях его территории. На юге древнерусской языковой территории этимологические гласные *o* и *e* перед слогом с утрачиваемым *ь*, *ѣ* подверглись удлинению и дифтонгизации (ср. сев.-укр. *нудс*, *пнѣч*, укр. литер. *ніс*, *пич*, с гласным *i*, развившимся из дифтонгов) в отличие от остальной территории, где они сохранились (ср. рус.

и белорусс. *нос, печь*). Отражение этого процесса для *e* перед слогом с исчезающим *ь* отмечается уже в памятниках второй половины XII в. (Добрилово евангелие 1164 г.). На той же территории (а, возможно, и несколько шире на северо-западе) редуцированные после плавных между согласными дали разные результаты в зависимости от гласного следующего слога: перед слабыми редуцированными они изменились в *o, e, a* перед остальными гласными (т. е. гласными полного образования и сильными редуцированными) — в *ы, и* (ср. укр. *кров, кривав*, а также белорус. *кроў, криваў* при др.-рус. *крѣвь, крѣвавѣ*). Единичные случаи написаний типа *ѡблыко* (др.-рус. *ѡблѣко*) встречаются с XIII в., но можно утверждать, что соответствующее произношение появилось одновременно с изменением сильных редуцированных в *o, e* и утратой слабых редуцированных. На остальной территории судьба этого сочетания не зависела от качества гласного последующего слога (ср. рус. *кровь, кровав*). Таким образом, в этот период юг и юго-запад древнерусской языковой территории (Киев, Галицко-Волинская земля, Турово-Пинское княжество) был уже отчетливо противопоставлен ее остальной территории — северу и северо-востоку. Однако и последняя не была в языковом отношении одинаковой. На значительной ее части, едва ли не на всей (возможно, кроме Смоленской и Полоцкой земель), этимологическое *o* под восходящим ударением в отличие от *o* под нисходящим ударением развилось в *o* закрытое (*ǫ*) или дифтонг *ǫd*, т. е. сохранилось отражение старых интонационных различий, превратившихся в различия самого качества гласных. С *o* под нисходящим ударением совпало вновь образовавшееся *o* из *ѡ*. Ср. в архаических северновеликорусских и южновеликорусских говорах *дѡбр* или *деудр*, *домѡв* или *домѡв*, *ворѡна* или *ворѡна*, *кѡт* или *кѡт* при *год, нос*, а также ср. *селѡ* и *село*, южновеликорус. *сялѡ* (или *сяло*) и *с'илѡм* при др.-рус. *село, сельмь*. В говорах Смоленской и Полоцкой земель, как и в говорах восточнославянского юга, этимологическое *o* под восходящим и нисходящим ударениями (а также *o* из *ѡ*) рано совпали в одном звуке. Древнерусское правописание не давало возможности проявиться различию двух разных *o* — закрытого и открытого, так как в графике отсутствовали соответствующие средства, хотя эта черта рано — после утраты старых интонационно-долготных отношений — приобрела фонематический характер и могла уже существовать непосредственно после утраты редуцированных. Однако, приобретая значение фонемы, гласный *ǫ* (*ǫd*) в некоторых школах писцов в дальнейшем все же стал передаваться в отличие от *o* при помощи особого надстрочного знака, так называемой каморы. (Открытие этого явления в правописании некоторых северных русских памятников XVI—XVII вв., а также истолкование его в связи с данными сравнительной грамматики славянских языков принадлежит Л. Л. Васильеву¹.)

Предположение о том, что говоры Смоленской и Полоцкой земель не пережили удлинения и дифтонгизации этимологических *o, e* в слове перед утратившимися слабыми редуцированными и утратили различие между этимологическим *o* под восходящим и нисходящим ударениями (с которым совпало и *o* из *ѡ*), выводится из данных современных восточнобелорусских говоров и примыкающих к ним смоленских говоров, а также, негативно, из данных письменных памятников этих территорий. Однако указанные территории в языковом отношении отличались от остальных восточнославянских земель не только названными чертами, но также ранним изменением *ь*, которое прежде у всех восточных славян, видимо,

¹ Впрочем это явление независимо от Л. Л. Васильева было установлено А. А. Шахматовым.

произносилось как *ê* (*e* закрытое), в *e* (*e* открытое). Об этом свидетельствуют как данные современной диалектологии, так и письменные памятники Смоленской и Полоцкой земель (в частности, известная Смоленская грамота 1229 г.).

К рассматриваемому времени (XII в. — первая половина XIII в.) можно отнести истоки еще одного важного диалектного различия русского языка — аканья, т. е. совпадения в безударных слогах гласных неверхнего подъема. Вопрос о происхождении аканья, времени и месте его первоначального появления до сих пор не решен. Некоторые ученые (акад. А. А. Шахматов и др.) считали возможным относить его к дописьменному периоду. Однако исследования последнего времени все больше приводят к выводу об относительно позднем происхождении аканья. Во всяком случае данные лингвистической географии русского языка и изучение внутренней истории типов аканья позволяют предполагать следующее: первоначальная территория акающего диалекта охватывала бассейны верхней и средней Оки и междуречья Оки и Сейма, т. е. современную курско-орловскую, тульскую и рязанскую территории. Аканье образовалось после того, как в первой половине XII в. бассейн реки Москвы (кроме верховьев) и верхней Клязьмы, заселенный потомками вятичей, окончательно вошел в состав Ростово-Суздальской земли, ибо говоры ближайшего подмосковья в указанных пределах не обнаруживают своего южно-великорусского, исконно акающего происхождения. Напротив, они являются северновеликорусскими по происхождению, как и остальные говоры Ростово-Суздальской земли, заселенной по преимуществу потомками кривичей.

С другой стороны, аканье образовалось до того, как территории по верхней Оке и верхнему Сейму («Верховские княжества») в середине XIV в. вошли в состав великого княжества Литовского и оказались, таким образом, разобщенными с остальной частью территории акающих говоров, — до середины XIV в., ибо общие языковые особенности на обширной территории могли возникнуть при наличии в ее пределах экономических связей, культурно-исторической и политической общности, а не в условиях разъединенности и обособления ее отдельных частей. Аканье возникло также до того, как в начале XIV в. (в 1301 г.) к Москве была присоединена рязанская волость Коломна, так как говоры этой волости, заселенной также потомками вятичей, в противоположность московскому говору являются южновеликорусскими по происхождению. Все это делает достаточно обоснованным предположение о том, что аканье в его наиболее архаических разновидностях в XIII в. уже существовало.

Данные лингвистического анализа подтверждают указанное предположение и, со своей стороны, позволяют уточнить его и считать, что аканье развилось, примерно, во второй половине XII — первой половине XIII в. Основанием для этого вывода является сравнительная хронология ряда важнейших языковых процессов.

Аканье, связанное с редукцией безударных гласных, развилось после падения редуцированных, ибо трудно допустить, чтобы безударные гласные полного образования подвергались редукции до утраты редуцированных, когда сами этимологические редуцированные, в том числе в безударных слогах, сохранялись без изменения. Об этом же свидетельствует то, что ни в одном акающем говоре не имеется никаких указаний на различия в вокализме исконного первого предударного слога и первого предударного слога, ставшего таковым после падения редуцированных. Ср., например, при диссимилятивном влиянии *силл*, *стилл*, *рибья* (др.-рус. *села*, *стѣна*, *рябѧ*) и рядом *цвѣт-*

кѣ, пѣткѣ, лѣснѣя (др.-рус. *цѣтѣжа, пѣтѣжа, лѣснѣя*); *слѣу, стѣну, рѣбу* и рядом *цѣтѣжу, пѣтѣжу, лѣснѣю*.

Аканье развилось после того, как этимологическое *о* под восходящим ударением, в отличие от того же звука под нисходящим ударением и от *о* из *ѡ*, изменилось в *ѡ* (*уѡ*), что имело место, видимо, после падения редуцированных, когда окончательно были утрачены старые интонационно-долготные отношения. Это видно по тому, что при архаических типах яканья гласный первого предударного слога по-разному реагирует на ударенные гласные из этимологического *о* под нисходящим ударением и на *о* из *ѡ*: *сѣло* и *селом*, *к сѣлой* и *слепой* (им. падеж ед. числа муж. рода); ср. др.-рус. *село* и *сельмь*; *кѣ слѣпой* и *слѣпыи* (из *slѣpъb*).

Новейшие данные подтверждают предположение о параллелизме в развитии безударного вокализма после твердых и мягких согласных и свидетельствуют для некоторых архаических южновеликорусских говоров о различной реакции гласного неверхнего подъема в предударном слоге на ударенный гласный *о* (*ѡ*) из *о* под восходящим ударением и гласный *о* другого происхождения и после твердых согласных: *сталѡв* по *стѡлѡм*¹.

Аканье развилось до изменения *е* в *о*, которое в исконно южновеликорусской области первоначально отсутствовало, а частью отсутствует и до сих пор². Поэтому гласный первого предударного слога при всех основных типах диссимильативного яканья не реагирует на сохранение *е* или его изменение в *о*; ср. *весѣлье* — *весѣлый* (или *весѣлый*). Наконец, аканье развилось до изменения *ь* в большей части исконных южновеликорусских говоров в *е*. Поэтому архаические типы диссимильативного яканья по-разному реагируют на гласный первого предударного слога на месте этимологического *ь*, с одной стороны, и *е* (из *е* и *ѡ*), с другой: *лѣтѣла*, на *стѣлѣ* (ср. др.-рус. *лѣтѣла*, на *стѣль*), по *весѣлье*, *дѣрѣвѣя*.

Таким образом, к древнейшим диалектным различиям с течением времени постепенно прибавлялись новые, которые охватывали разные территории — то более широкие, то, напротив, более узкие в соответствии с изменяющимися условиями действительности: экономическими связями, культурным развитием, политическими объединениями. Все это приводит к тому, что во второй половине XII и первой половине XIII в. на тех территориях древней Руси, где впоследствии были распространены русские (великорусские) говоры, различались не только диалекты новгородский, псковский, смоленский, но и ростово-суздальский, а также акающий диалект верхнего и среднего Поочья и междуречья Оки и Сейма. Все эти диалекты за исключением последнего известны нам не только на основе сравнительно-исторического изучения современных говоров, но также и по данным письменных памятников этой поры или (для древнего псковского диалекта) несколько более позднего времени.

Новгородский диалект этого времени характеризовался взрывным *г*, билабиальным характером *в*, во всяком случае на части территории, широким распространением цоканья, произношением этимологического *ь* как узкого *е*, оканьем, а также, видимо, различием *ѡ* (*уѡ*) и *о* в соответствии с этимологическим *о* под восходящим ударением, с одной

¹ См. Т. Г. Строганова, Одна из особенностей южнорусского вокализма, ВЯ, 1955, № 4.

² См. об этом в статье автора «Лингвистическая география и история русского языка», стр. 33—34.

стороны, и этимологическим *о* под нисходящим ударением, а также *о* из *ъ*, с другой (правда, последняя черта неизвестна современным новгородским говорам, но свойственна многим из вологодских говоров, которые, наряду с олонекскими и поморскими говорами, являются продолжением древнего новгородского диалекта, в связи с чем можно думать, что они были свойственны последнему или хотя бы части его говоров).

Псковский диалект также имел *г* взрывное, билабиальное *в*, поканье, оканье, но отличался от новгородского по преимуществу широким произношением гласного *е* на месте этимологического *ъ*. Впрочем псковский диалект, видимо, не был вполне единым — часть его говоров была ближе к полоцко-смоленскому диалекту, а другая часть — к новгородскому¹. Кроме названных черт, псковский диалект издавна имел *кь, гь* на месте общеславянских *tl, dl*, а также развил изменение мягких свистящих (*с', з'*) в шепелявые согласные, близкие к шипящим, что отразилось в памятниках последующей эпохи в мене букв *с, з* и *ш, ж* (*ше* вместо *се, дружины* вместо *дружины* и т. д.). Современные псковские говоры являются по преимуществу акающими, но аканье проникло в них позднее.

Смоленскому диалекту так же, как и новгородскому и псковскому, было свойственно *г* взрывное, билабиальное *в*, поканье (последнее, возможно, не всем говорам). Однако, в отличие от новгородского диалекта, ему было свойственно, как и псковскому диалекту, произношение широкого *е* на месте *ъ*, неразличение этимологического *о* под восходящим и нисходящим ударениями, а также *о* из *ъ*. В рассматриваемое время смоленский диалект был еще окающим — аканье в нем развилось с XV в.; несколько раньше в нем развилось фрикативное *г* на месте взрывного.

Ростово-Суздальская земля, где был распространен ростово-суздальский диалект, получила свое население по преимуществу с запада — с территории смоленских кривичей, хотя обширные северные районы ее частью были колонизованы из Новгорода, а юго-западная ее оконечность (Москва) была заселена потомками вятичей. Несмотря на колонизацию Ростово-Суздальской земли из разных мест в ней довольно рано установился единый диалект, характеризующийся *г* взрывным, губно-зубным образованием *в*, широким распространением *е* на месте *ъ* и *ѵ* (*ю*) на месте *о* под восходящим ударением, оканьем, а также различением согласных *ц* и *ч* на большей части территории. Различия диалекта Ростово-Суздальской земли от смоленского следует, видимо, объяснить тем, что поканье, а также изменение *е* на месте *ъ* в *ѣ* и неразличение гласных на месте этимологического *о* под восходящим и нисходящим ударением и на месте сильного *ъ* в смоленском диалекте появилось после того, как часть смольнян заняла территории по верхней Волге и ее притокам — Клязьме, низовьям Оки. С другой стороны, можно думать, что на этой последней территории билабиальное *в* развилось в губно-зубное.

Акающий диалект верхней и средней Оки и между речья Оки и Сейма характеризовался, помимо аканья в его диссимилятивных архаических формах, фрикативным *г*, билабиальным *в*, различением *ц* и *ч*, а также, во всяком случае в значительной своей части, наличием *е* на месте *ъ* и *ѵ* на месте *о* под восходящим ударением.

Диалекты этой поры, насколько можно судить по накопленным в настоящее время данным, отличались друг от друга по преимуществу фонетическими чертами, но с течением времени постепенно начинают увеличиваться и грамматические различия. Несомненно, имели место также значительные лексические различия. Однако они далеко не в полной мере

¹ См. Б. В. Виноградов, Исследования в области фонетики севернорусского наречия, вып. 1 — Очерки из истории звука *ъ* в севернорусском наречии. Изв. 1923, стр. 269—270.

отразились в письменных памятниках, а по данным современных говоров трудно судить о территориальном распространении отдельных слов в древности. В лексическом отношении яснее выделяется древний Новгород, диалекту которого были свойственны такие слова, как *рль* «заливной луг», *вьршь* «посевы, хлеб», *обилье* «хлеб, урожай на корню», *олоньсь* «в прошлом году», *орати* «пахать», *соломя* «пролив», *наволоок* «пойма, заливной луг». Многие из этих слов и сейчас употребляются в северных русских говорах. Новгородскому диалекту был свойствен и ряд других слов, обозначающих специфические понятия социально-политической жизни Новгорода, как *огнищанинь*, *гридь*, *колбязь*, *одбрьнь*, *обель* и др. Лексические особенности других диалектов в меньшей степени отразились в памятниках, хотя несомненно они были. Можно, например, думать, что акающим диалектом юго-востока были усвоены слова *лошадь*, *пахати*, в то время как на севере сохранились слова *конь*, *орати*.

3. Развитие языка великорусской (русской) народности

Несмотря на рост диалектных различий, наметившихся с наступлением эпохи феодальной раздробленности, диалекты этого периода не перекрывали собою языкового единства народности, являющегося результатом длительного периода предшествующего развития. «В пору феодального дробления Руси, в XII—XIII вв., — пишет Б. А. Рыбаков, — несмотря на существование нескольких десятков княжеств, единство русской народности очень хорошо осознавалось и находило отражение в терминологии — вся Русская земля противопоставлялась обособленным вотчинам враждовавших князей»¹. Из предыдущего изложения видно, что в это время уже были налицо некоторые из тех языковых явлений, которые затем стали характерными чертами отдельных современных восточнославянских языков; однако это еще само по себе не дает основания утверждать их наличие в то время. Лишь в дальнейшем, когда на базе отдельных частей древнерусской народности начинают развиваться восточнославянские народности более поздней поры (великорусская, украинская, белорусская), постепенно начинает тускнеть общевосточнославянское языковое единство старшего периода и, напротив, постепенно становятся более яркими языковые различия формирующихся народностей и языковое единство в пределах каждой из них. Но здесь имеет место уже процесс перерастания отдельных диалектов в самостоятельные языки.

Дальнейшее обособление северо-восточной Руси от Руси западной и южной в условиях монгольского ига и специфических процессов развития западных и южных русских земель в составе великого княжества Литовского и — позднее — Польши, экономический рост, политическое укрепление и культурное развитие северо-восточной Руси приводят в XIV—XVI вв. к образованию русской (великорусской) народности. Вместе с этим развивается и ее единый и общенародный язык. Основными центрами, где развивалась великорусская народность, были Владимир, Ростов, Суздаль, а затем Москва, которая «... была и остается основой и инициатором создания централизованного государства на Руси»². Ядро великорусской народности на этой территории, как видно из предыдущего, было в диалектном отношении, в основном, едино. Расширение формирующегося русского государства постепенно увеличивает диалектное многообразие на его территории и притом не только за счет северновеликорусских

¹ Б. А. Рыбаков, указ. соч., стр. 44—45.

² «Правда» 7 IX 47 (Приветствие тов. И. В. Сталина Москве в связи с ее 800-летием).

говоров новгородского типа, но также и за счет говоров акающих, южно-великорусских. Те и другие постепенно начинают функционировать в качестве диалектов формирующегося великорусского (русского) языка.

В структурном отношении язык великорусской народности уже значительно приблизился к современному русскому языку. В области фонетики в значительной части говоров произошло изменение *e* в *o* перед твердым согласным, гласный *и* после твердого согласного (в начале корня после твердого согласного приставки, в начале слова после твердого согласного предложения или другого слова при тесном слиянии слов в произношении) изменился в *ы*, установилась современная система противопоставления согласных по твердости-мягкости, глухости-звонкости. В области морфологии в живом языке утратилась старая система прошедших времен, в связи с чем продолжали развиваться виды глагола [хотя еще сохранились многочисленные реликты старого, судя по тому, что они частью сохранились и в современных говорах: ср., например, многократные глагольные образования типа *давывал*, *крикивал*, *лаживал* (от *лазить*), известные в разных русских говорах, в особенности вологодско-вятских, остатки перфекта в некоторых из олонечских говоров и др.], объединились некоторые из старых различных типов склонения существительных по признаку грамматического рода, унифицировались некоторые старые различия твердых и мягких основ, иными словами система спряжения и склонения значительно приблизилась к современному состоянию.

В это время возникает или расширяется в своем употреблении ряд специфических явлений русского языка в области фонетической системы, грамматического строя и словарного состава, которые постепенно охватывают все основные части русской (великорусской) народности, лишь в отдельных случаях не доходя до некоторых периферийных районов, и отличают, таким образом, русский язык от украинского и белорусского. Из явлений фонетических следует отметить распространение на великорусской территории изменения слабых редуцированных после плавных между согласными в *o*, *e* (ср. рус. *кровяк*, *слеза*), известного по памятникам в отдельных случаях со второй половины XIII в. К числу этих явлений относится также изменение *-ий*, *-ий* в *-ой*, *-ей*, отразившееся в письменных памятниках с того же времени, но известное по более многочисленным примерам со второй половины XIV в.

Из явлений морфологических следует отметить утрату звательной формы; время этой утраты по письменным памятникам установить трудно ввиду длительного сохранения данной формы во многих жанрах письменного языка. Однако можно утверждать, что процесс этот в части диалектов начался очень рано, значительно задержавшись лишь в некоторых из периферийных северно-великорусских говоров. Другими заметными морфологическими новообразованиями русского языка в отличие от украинского и белорусского (или части говоров белорусского) являются: замена свистящих задненёбными в формах склонения (*рукъ* вместо *роуць*) — черта, возможно свойственная новгородским говорам в отдельных словах с давнего времени, но более широко прослеживаемая по памятникам лишь с XIV в.; развитие формы именительного падежа множественного числа *-а* от имен существительных (типа *берегá*, *рогá*), известной в отдельных случаях с XIV в.; образование формы повелительного наклонения от глаголов I спряжения на *-ите* вместо *-йте* (*несите*, *идите*), известное в отдельных случаях уже в древнейших памятниках, но частое в Лаврентьевской летописи (1377 г.) и абсолютно преобладающее в деловой письменности Русского государства XIV—XV вв.; появление форм повелительного наклонения с *к*, *э* от глаголов с основой на задненёбные — *пеки*, *помоги* (ср. др.-рус. *пѣци*, *помози*).

В XIV—XVI вв. появляется ряд слов, которые первоначально не употребляются в памятниках немосковского происхождения, но с XVI в. становятся общими для языка всей великорусской народности. Таково, например, слово *крестьянин* (ср. новгородское *смерд*), *деньги* (ср. новгородское *векша*, *куна*) и др. Такие слова, как *крестьянин*, *деньги*, *лавка* (в значении торгового заведения), *мельник*, *пашня*, *пуговица*, *деревня*, *кружево* и др., известные впервые из языка московских памятников XIV—XVI вв., не только становятся в XVI в. общевеликорусскими, но сохраняются и в современном русском языке. Характерно, что эти слова, как правило, неизвестны украинскому и белорусскому языкам или известны им из русского. Ср. их украинские соответствия: *селянин*, *грош*, *кряниця*, *мірошник*, *нива* (или *рілля*), *гудзик*, *село*, *мереживо*. Все это ярко свидетельствует об интенсивном процессе оформления языка великорусской народности.

Общенародный язык в эту эпоху выступает в своих местных ответвлениях или разновидностях, однако довольно заметно отличающихся друг от друга. Среди них заметно выделяется по широкому отражению в деловой письменности ведущий диалект языка народности (ростово-суздальский, одним из говоров которого был московский), вокруг которого концентрируются другие диалекты. Однако ввиду отсутствия развитого общего рынка и слабости централизации местные диалекты в этот период не только характеризуются значительной устойчивостью, но и имеют тенденцию к дальнейшему развитию диалектных различий, особенно в периферийных областях — как на севере, так и на юге. На юг от Москвы уже в предшествующую эпоху простиралась обширная территория акающего диалекта верхней и средней Оки — Сейма. На этой территории с XV в. выделяется непосредственно примыкающий к Коломне тульский край (Ростиславль, Таруса, Алексин, Тула). Говоры тульского края, издавна тесно связанного с Москвой и рано присоединенного к ней, находящегося на основных стратегических путях борьбы со степью, с «диким полем», естественно, развиваются под московским влиянием и непосредственно под воздействием говоров южного подмосковья (Коломны, Серпухова), южновеликорусских по происхождению, но испытывающих влияние со стороны северновеликорусского говора Москвы. Можно думать, что в связи с этим в тульском говоре диссимилативное *яканье* сменилось умеренным, звуки *у* и *ю* на месте *е* в определенных условиях сменились звуками *в*, *ф* (вместо *унук*, *лайка* стало произноситься *внук*, *лафка*), был усвоен ударенный гласный *о* после мягких согласных, в частности в личных формах глагола (*несёш*, *несём*, вместо более раннего *несёш*, *несём*)

С течением времени в тульских говорах появились и другие особенности, сближающие их с средневеликорусскими и, напротив, отличающие от остальных южновеликорусских. На юго-востоке и востоке от территории тульского диалекта лежит рязанский край, долгие сохранивший свою самостоятельность, менее тесно связанный с Москвой, а в северной своей части отделенный от владимирского, суздальского и московского центров непроходимыми лесами и болотами мещерской стороны. Естественно, что в этих условиях рязанский диалект в общем оказывается менее подверженным московскому влиянию. Однако диалект обширной рязанской земли не является вполне однородным. Говоры юга, в особенности расположенные на верховьях Дона и его притока Воронежа, в большей степени сохраняют типичные южновеликорусские особенности, чем говоры севера, соседившие с северновеликорусскими. На востоке и севере рязанской земли имели место процессы взаимодействия русских с иноязычными финно-угорскими племенами (мордвы, мещеры), что не могло

не наложить некоторого своего отпечатка на говоры соответствующей территории (так объясняются на этой территории цоканье, шепелявые звуки на месте мягких *с, з*).

На севере рязанской земли, в мещерской стороне, налицо были условия для консервации многих архаических диалектных черт. Здесь были широко известны такие диалектные черты, как отсутствие изменения *е* в *о*, сохранение *ѡ* в отличие от *о*, сохранение особой гласной фонемы *ѣ* на месте *ѣ*, сохранение *у* и *ѣ* на месте *в* (*унук, лаѣка*). Характерной особенностью рязанского диалекта является развитие диссимилятивного яканья в ассимилятивно-диссимилятивное. На западе и юго-западе от рязанской земли была расположена южновеликорусская территория курско-орловского диалекта — «Верховские княжества» (по верхней Оке) и Курск, которые находились между северо-восточной Русью и Литвой, уже давно были тесно связаны с последней и присоединены к ней в середине XIV в. Говоры этой территории, отделенной до начала XVI в. от соседних тульских и рязанских говоров политической границей, естественно, развивались независимо от последних и не воспринимали тех новообразований, которые имели в них место. Поэтому значительная часть курско-орловских говоров сохранила исконные южновеликорусские особенности в наибольшей степени (диссимилятивное аканье, диссимилятивное яканье обоянского типа и др.).

Таким образом, тульский, рязанский и курский диалекты южновеликорусского наречия едины по своему происхождению, а различия между ними возникли главным образом в XIV—XVII вв. и частью продолжали развиваться позднее.

Иное происхождение имеет четвертая группа южновеликорусских говоров — смоленский диалект на западе от Москвы. Территория Смоленщины, заселенная потомками кривичей, ко времени образования акающего диалекта верхней и средней Оки и междуречья Оки и Сейма, т. е. первичных южновеликорусских говоров, характеризовалась северным окающим диалектом с взрывным образованием *г*. Будучи расположена между северо-восточной Русью и Литвой по верхнему течению Днепра, Смоленщина в давних пор была тесно связана с землями, лежащими на запад и юго-запад от нее, а в начале XV в. была присоединена к великому княжеству Литовскому. Этим объясняется наличие в смоленском диалекте черт, общих для него с северо-восточным диалектом белорусского языка, а частью и вообще с белорусским языком. Под воздействием с юго-запада и юга смоленский диалект усвоил еще в XIV в. фрикативное *г*. В XV в. в нем возникло аканье в связи с соседним диалектом «Верховских княжеств» в Курска, которые в то время также были в составе Литвы, и распространилось в это и последующее время на запад — на белорусскую языковую территорию и на северо-запад — на псковскую. Обе эти черты отражены смоленскими памятниками — *г* фрикативное с XIV в., а аканье в единичных случаях — с XV в. Таким образом, с XV в. смоленский диалект приобрел свой южновеликорусский характер, близкий при этом к соседним белорусским говорам.

Отметим, что смоленский диалект, переживший, как и большая часть других «северных» говоров, изменение *е* в *о* перед твердым согласным, имел фонетически закономерный гласный *о* в 1-м лице множественного числа, но не распространил его на те личные формы, которые после *е* имели мягкий согласный (или не имели твердого). Этим объясняются формы *н'ес'ом* при *н'ес'еш*, *н'есе*, сохранившиеся во многих смоленских говорах и до сих пор.

В Москве и на территориях к северу от нее были распространены северные окающие говоры. На крайнем западе (по р. Великой) продол-

жал развиваться псковский диалект, часть говоров которого с XV—XVI вв. (вслед за смоленскими и полоцкими говорами), а также в последующее время усвоила акаше и постепенно приобрела средне-великорусский характер. На северо-западе и севере по Волхову, Онеге, системе Северной Двины, Мезени, Печоре был распространен новгородский диалект. И сейчас еще говоры севера Европейской части СССР весьма близки друг к другу. Однако, распространившись на огромной территории, отдельные части которой имели своеобразную судьбу, новгородский диалект в разных местах развивался неодинаково. В XV—XVI вв. наметились некоторые различия, которые частью отразились в памятниках и во всяком случае известны по данным диалектологии. Говоры северо-востока — вологодско-вятские — частью сохраняют различия между *ѡ* и *о*; развивают ударенное *ѣ* между мягкими согласными в *и* (*витер*), а в некоторых говорах также и перед твердым согласным (*витра*); сохраняют *ш* на месте *в* (*вѣ, вѡ*) в конце слова и перед согласным (*лаўка, роў*); развивают в конце слова на месте *л* (*ла*) *ў* (*сказаў*) (а также в случаях типа *воўк*); развивают согласный окончания *-ого* в [в] :[-ово]. После изменения *е* в *о*, которое распространилось на все личные формы глаголов I спряжения с ударенным *е*, указанные говоры заменяют перед *ѡ* в личных формах глаголов с основой на заднебные шипящие на заднебные (откуда [п'екѡш] вместо [п'еч'ѡш]); усваивают смягчение заднебных после мягких согласных (*Ван'к'а*).

Вологодско-вятские говоры отличаются от других северных говоров также некоторыми чертами, которые, возможно, развились в результате взаимодействия с соседними народностями финно-угорской группы. К числу таких черт можно отнести развитие твердого *л* перед гласными в «среднее» (*сказала*), а также развитие долгих согласных на месте сочетания согласного с *ј* (*волб'а, тр'ѣт'у, воскр'ес'ѣн'о*)¹. Говоры севера — архангельские или поморские — утрачивают различия между *ѡ* и *о*; сохраняют *ѣ* на месте *ѣ*; развивают *ѡ* (*ѡ*) на месте *в* (*вѣ, вѡ*) в конце слова и перед согласным (*роѡ, лаѡка, ровно*); сохраняют *л* в случаях типа *сказал, волк*; в окончаниях *-ого* сохраняют вариативное *ѡ* или развивают его в фрикативное *г*, которое по говорам может утратиться (*-ого, -ого, -оо*); эти говоры, хотя и пережили изменение *е* в *о*, однако сохраняли в личных формах глаголов I спряжения гласный *е*. В связи с этим они заменяют в личных формах глаголов с основой на заднебные перед гласным *е* шипящие на заднебные (откуда [п'ек'ѣш] вместо [п'еч'ѣш] и более позднее [пек'ѡш]); сохраняют твердо заднебные после мягких согласных (*Ванька*). Часть архангельских говоров, расположенная по основному транспортным линиям, связывающим север с Москвой (по Северной Двине, тракту Москва — Архангельск), усваивала некоторые языковые явления под влиянием говоров центра. К их числу могут быть отнесены, например, утрата цоканья, смягчение заднебных после мягких согласных, отсутствие изменения *ѣ* (*ѣ*) в *и*, местами широкое произношение этой фонемы перед твердым согласным, возможно, усвоение согласного *ѡ* в окончании *-ого* отдельными говорами.

Говоры северо-запада — олонецкие (на территории Карело-Финской ССР) — весьма близки к архангельским и отличаются от них лишь некоторыми чертами, сближающими их с вологодско-вятскими. Находясь в стороне от основных путей, связывающих центр с севером, они изменили ударенное *ѣ* (*ѣ*) в *и* между мягкими согласными, а также в части гово-

¹ Аналогичное явление в говорах Смоленщины и других районов, смежных с белорусской и украинской языковой территорией, имеет другое происхождение, общее с происхождением того же явления в белорусском и украинском.

ров развили *ŷ* из *л* на конце слова и перед согласным. Говоры запада — собственно новгородские (по системе Ильмень-озера и Волхова, Мологе) — также претерпевали известные изменения в XV—XVI вв. Присоединение Новгорода к Москве (1478 г.) после его упорной борьбы за свою самостоятельность сделало эту территорию, непосредственно примыкающую с запада к ростово-суздальскому центру и находящуюся на путях к Балтийскому побережью (овладение которым являлось одной из главных задач Русского государства), объектом исключительного внимания правительства. Имело место заметное обновление населения — как за счет переселения из вновь осваиваемой новгородской территории в центральные области, так и в обратном направлении, обновление администрации, светской и духовной, за счет выходцев из центральных областей; значительно усилилось экономическое и культурное воздействие центра на Новгород. В этих условиях новгородский диалект, естественно, нивелировался, начиная утрачивать некоторые свои типичные особенности. Новгородскому говору с давних пор было свойственно узкое произношение гласного на месте *ь* (*ě*), которое привело в XIV—XVI вв. к изменению *e* в *и* не только перед мягким согласным, но также и перед твердым. Однако этот звук рано начинает под влиянием говоров московского центра заменяться звуком *e*. Под тем же влиянием *окавьє*, известное в Новгороде с древнейших пор, в большей части его говоров утрачивается, сохраняя лишь кое-какие реликты; окончание *-ого* с согласным *г* (может быть, и фрикативным) в значительной части говоров рано заменяется окончанием *-ого* с согласным *г*. Многие новгородские говоры не развивают, возможно, также под влиянием говоров центра, изменения *a* в *e* между мягкими согласными.

От новгородского диалекта издавна отличался диалект ростово-суздальский, в состав которого входил и московский говор. К старым отличиям этого диалекта от новгородского (о чем см. выше) в рассматриваемое время и позже стали прибавляться новые. Вместо сужения гласного *e* (на месте *ь*) в *и* во многих говорах Ростово-Суздальской земли имело место, напротив, его расширение в *e* (*e* открытое). Изменение ударенного *a* между мягкими согласными в *e*, охватившее весь север Европейской части СССР, не затронуло ростово-суздальского диалекта, сохранившего гласный *a* в этом положении. Ростово-Суздальская земля, как известно, исконно граничила с акающими говорами соседних территорий Черниговского и Рязанского княжеств; из последних Коломна и Лопасня вошли в состав Московского княжества уже в самом начале XIV в., тульский край — в половине XV в., а затем — и другие земли с акающим южновеликорусским говором. Поэтому не случайно, что как новообразования, так и черты сохранения старины в ростово-суздальском диалекте оказываются общими со многими соответствующими чертами южновеликорусских говоров, образуя сплошной массив: см. во многих из южновеликорусских говоров изменение *ě* в *e*, почти во всех них сохранение *a* между мягкими согласными.

Во многих говорах ростово-суздальского диалекта, продолжением которого является владимиро-поволжская группа говоров, распространявшаяся в XVI—XVII вв. и позднее на среднем Поволжье, развились такие, например, новообразования, объединяющие их с южновеликорусскими говорами: перенос ударения в форме 2-го лица множественного числа с последнего слога на предпоследний (*несѣте*), образование форм *дашь*, *ешь*, вместо старых *дасѣ*, *есѣ*, отверждение *с* в суффиксах *-ск-*, *-ств-*. В новгородском диалекте сохранялись старые формы *несетѣ* или *несетѣ*, *дасѣ*, *есѣ*; *-с'тв-*, *-с'к-* (эти формы до недавнего времени сохранялись также в большей части современных говоров, являющихся продолжением ста-

рого новгородского диалекта). Говоры ростово-суздальского центра и в лексическом отношении значительно отличались от остальных северных говоров, восходящих к новгородскому диалекту. В них, например, видимо, отсутствовали многие типичные для последних слова, как, например, *баской* («хороший», «красивый»), *лототь* («одежда»), *оболочка*, *оболокаться*, *разоболокаться* («одежда», «одеться», «раздеться») и др. Вместо слов *конь*, *орать*, *пепел* в них стали употребляться слова *лошадь*, *пахать*, *зола*.

Обзор диалектов языка великорусской народности в XIV—XVI вв. не был бы полон, если бы не было отмечено, что на стыке окающих и акающих диалектов в результате взаимодействия между ними в XIV в. и последующее время образуются смешанные, или «переходные», так называемые средневеликорусские говоры, совмещающие аканье с г взрывным и другими чертами, свойственными окающим диалектам. Древнейшие из этих говоров образовались в XIV в., но они образуются и вплоть до настоящего времени, правда, утратив свою территориальную ограниченность. Происхождение средневеликорусских говоров в разное время и в разных условиях было не одинаковым. Одними из наиболее древних среди них являются средневеликорусские говоры юго-восточного Подмосковья (севернее Коломны), южновеликорусские (рязанские) по происхождению, но приобретшие в течение XIV в. средневеликорусский характер под влиянием северного говора Москвы. В других случаях средневеликорусский говор образовался в результате смешения разнодиалектного окающего и акающего населения. В связи с постепенным усилением удельного веса акающего, южновеликорусского диалекта среди других диалектов в более поздние эпохи, в особенности с XVI в., появляются средневеликорусские говоры, северные по своему происхождению, но приобретшие аканье и некоторые другие черты в результате южновеликорусского влияния.

Из сделанного только что краткого обзора диалектов можно сделать вывод, что несмотря на все свое диалектное многообразие, язык великорусской народности был единым во всех основных элементах фонетической системы, грамматического строя, основного словарного фонда. Однако письменно-литературный язык Русского государства в условиях феодализма не был единым для разных видов письменности и в разных местах обширной страны. Письменность в северо-восточной Руси продолжала традиции древней Руси и прежде всего Киева и Новгорода. Еще в домонгольский период здесь создавались книги церковно-религиозного содержания, было развито летописание, составлялись деловые документы. Об этом свидетельствуют частью сохранившиеся памятники этой поры, а также сопоставление более поздних памятников северо-восточной Руси.

Все эти жанры письменности развиваются и в последующее время. Книжно-литературный язык предшествующей эпохи, старославянский, или, иначе, древнеболгарский по своему происхождению, продолжал свои традиции в северо-восточной Руси. Однако к концу XIII — началу XIV в. различия между ним и общенародным языком в отношении их грамматического строя значительно углубились, так как в живой речи утратились формы имперфекта и аориста, сильно развились видовые различия, произошли многие изменения в системе склонения, отсутствовавшие в книжно-литературном языке. Эти различия еще более усилились с конца XIV в. в течение XV—XVI вв. в связи с теми процессами в книжно-литературном языке, которые известны под названием «2-го южнославянского влияния». Не касаясь вопроса о книжно-литературном языке этой эпохи, отметим, что в это время происходят изменения в правописании [появляется буква «юс большой» для обозначения звука у на-

ряду с буквами *ou* (у), ю; написание *ъ, ь* после плавного в определенно-го типа сочетаниях — *эльна, тръжище, пръвыи* и т. д.; употребление буквы *а* после гласных вместо *я* (ю), например *новаа, всеа*. Некоторые из написаний, вызванных 2-м южнославянским влиянием или укрепившихся и ставших особенно распространенными в связи с ним (написания *жд, щ* вместо исконно русских *ж, ч*, южнославянское неполногласие), соответствуя устному оформлению определенных групп слов и форм в литературном языке, затем укрепились в составе норм русского национального языка. Одни придавали словам определенную стилистическую окраску, или выделяли особые грамматические формы литературного языка (ср. в современном русском языке *злато* — *золото, страна* — *сторона, рождать* — *рожать, несежда* — *несежа, лежащий* и *лежащий* и др.).

Отметим также, что уже с XV в. и, в особенности, в XVI в. наряду с собственно книжно-литературным славянорусским языком в среде широких демократических кругов развилась такая его разновидность, которая столь обильно насыщалась элементами живого общенародного языка, что от церковно-книжного стиля оставались в нем лишь отдельные наиболее употребительные слова вроде *аще, бысть, рече*, неполногласные дублеты общенародных слов (*град, брег* и т. д.), отдельные глаголы в форме аориста и имперфекта (без согласования по лицам и числам) и некоторые синтаксические обороты (например, дательный самостоятельный).

Наряду с книжно-литературным славянорусским языком продолжал развиваться и собственно литературный язык, обслуживавший жанры, близкие к художественной литературе. В соответствии со своей общенародной основой, тесно связанной с народно-поэтическим языком, он продолжал развиваться в связи с живой народной речью и фольклором, используя также традиции книжно-литературного языка (ср., например, «Задонщину» и в особенности «Сказание о Мамаевом побоище»). Уже для древнерусского периода мы имеем (например, в составе летописей) записи народных сказаний, пословиц и поговорок. Начиная с XVI в. до нас дошли также записи народных песен и других образцов обработанной народно-поэтической речи. Они свидетельствуют о том, что воинские повести XV—XVI вв., продолжая старые традиции этого жанра («Слова о полку Игореве»), а также обращаясь к элементам церковно-книжного языка, вместе с тем широко используют современный им фольклор.

Традиции древнерусского делового языка, культивировавшегося начиная с XII в. в северо-восточной Руси, стали особенно широко развиваться в Москве с XIV в. При этом следует иметь в виду, что этот язык обслуживал все возрастающие потребности растущего в экономическом, политическом и культурном отношении Русского государства. Деловой, иначе «приказный», язык Русского государства XV—XVI вв., имевший в своей основе диалект Ростово-Суздальской земли, в состав которого первоначально входил и говор Москвы, был в значительной мере свободен от элементов церковно-книжного, славянорусского языка. Последние были представлены в нем лишь отдельными фразеологическими оборотами, традиционными зачинами и концовками. Однако, как и всякий письменный язык, он был традиционен и далеко не в полной мере отражал живые, развивающиеся явления языка; вместе с тем, прежде всего служа для выражения разного рода правовых актов, отражающих все более усложняющиеся общественные отношения, этот язык был известным образом литературно обработан, организован и по-своему нормирован. Поэтому деловой язык Русского государства XV—XVI вв. не может быть принят за непосредственное и полное отражение живой общенародной речи своего времени. Деловой язык, выработавшийся по преимуществу на

материале юридических актов и договоров, затем стал употребляться значительно шире — на нем писались мемуары, исторические и географические сочинения, поваренные книги, лечебники, руководства по ведению хозяйства и пр.

Деловой тип языка Русского государства, унаследовавший древнерусские традиции, а также испытавший влияние со стороны соответствующих жанров письменности Новгорода, к концу XVI в. стал едва ли не общим для всего обширного государства, постепенно вытесняя собой местные разновидности «приказного» языка во всех областях, в том числе и в самом Новгороде.

В этот период особенно резко выражены, твердо очерчены и противопоставлены два типа письменного языка — литературно-книжный и приказный (деловой), более близкий к живому языку великорусской народности и впитавший в себя отдельные элементы фольклора, народно-поэтической речи. Собственно литературный тип языка с этого времени, имея свою специфику, в разных сферах своего применения примыкает то к одному, то к другому из указанных типов.

Таким образом, отличительными особенностями русского языка эпохи великорусской народности являются наличие нескольких специализированных типов письменного языка, хотя и взаимно связанных, обслуживающих разные жанры письменности и литературы, стойкость исторически образовавшихся диалектных различий и развитие новых в периферийных областях, а также отсутствие единых норм устно-разговорной речи при значительном приближении грамматической структуры к структуре современного русского языка.

4. Начальный период развития языка русской (великорусской) народности в русский национальный язык

Начальные этапы развития русской (великорусской) народности в нацию связаны с возникновением в XVI в. предпосылок для образования всероссийского рынка, с территориальным разделением труда, с тем, что «разбросанные по всей территории Русского государства городские и сельские рынки в XVI в. уже были связаны между собой неслучайным товарообменом»¹. Это привело к тому, что «во второй половине XVI в. складываются те явления в области рынка, которые затем в XVII в., когда происходил процесс сложения всероссийского рынка, нашли себе более отчетливое и более полное выражение»². В языковом отношении это и последующее время связано с постепенным усилением роли южновеликорусского наречия в развитии языка народности.

Известно, что уже в раннюю пору развития языка русской (великорусской) народности южновеликорусское начало играло в ее составе определенную роль. С самого начала XIV в. к Москве были присоединены Коломна и Лопасня с их южновеликорусским говором. В XIV в., а также в XV—XVI вв. при образовании централизованного государства к Москве постепенно присоединяются и многие другие южновеликорусские территории. Роль этих территорий, важная с самого начала в военно-политическом отношении, постепенно возрастает и в экономическом отношении, а в течение XVII в. становится весьма значительной: «Экономический центр тяжести перемещался на юг по мере заселения южных областей

¹ С. В. Бахрушин, Научные труды, I — Очерки по истории ремесла, торговли и городов русского централизованного государства XVI — начала XVII в., М., 1952, стр. 41—42.

² Там же, стр. 54.

и распашки богатой черноземной нови»¹. Все это уже само по себе вносит определенные изменения в соотношения между диалектами. Ростово-суздальский диалект постепенно утрачивает свое ведущее значение в дальнейшем развитии русского языка. Ведущее значение приобретает московский говор (говор территории ближнего Подмосковья), северновеликорусский (ростово-суздальский) по своему происхождению, который, однако, постепенно проникается южновеликорусскими элементами через первичные средневеликорусские говоры (например, коломенский), а также непосредственно под южновеликорусским влиянием, т. е. развивается в средневеликорусский.

В XIV—XV вв. в Москве преобладал северновеликорусский говор. С течением времени в языке московского населения, как и в говорах ближнего Подмосковья, все более увеличиваются южновеликорусские элементы, пока он не оформляется в XVII в. как «московское просторечие» с его средневеликорусским обликом, известное нам по последующему времени. Это московское просторечие оказывается одним из существенных факторов в процессе формирования общенародного разговорного языка; оно оказывает также все более заметное влияние на деловой «приказный» язык и на местные диалекты. Под его воздействием начинают формироваться нормы национального языка. Московская разговорная речь оказывает сильнейшее влияние на развитие письменно-делового языка, на оформление его норм, прежде всего грамматических.

Известно, что образование нации связано с развитием капиталистических отношений в недрах феодального общества, т. е. с наличием не только товарного производства и товарного обращения, имевшихся и в эпоху феодализма, но также и системы эксплуатации наемного труда; оно связано со слиянием отдельных областей и земель в одно целое, вызванным «...усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок»². Эти процессы, наметившиеся с XVII в., когда язык русской (великорусской) народности развивался в русский национальный язык, не могли не оказать существенного влияния на направление и характер языкового развития.

В эпоху образования русского национального языка существенным образом изменяются взаимоотношения между общенародным языком и местными диалектами. Постепенно прекращается образование диалектных различий. Однако имеющиеся диалектные различия обладают еще значительной устойчивостью, в особенности на ранних этапах развития национального языка. Диалекты, таким образом, постепенно становятся категорией пережиточной. На более поздних этапах развития национального языка диалектные различия, в первую очередь на территориях, экономически наиболее развитых, начинают сглаживаться. Образующиеся иногда в особых условиях диалектные различия (на экономически отсталой периферии, в так называемых «медвежьих углах») не получают широкого развития и имеют узко локальный характер. По мере территориального распространения норм формирующегося национального языка, в особенности в городах, диалекты постепенно перестают быть единственным типом языка на своих территориях. Диалектная речь сохраняется по преимуществу в сельских местностях. В городах образуются так называемые «мецанские говоры», которые представляют собой, видимо, своеобразное приспособление местного диалекта к московскому просторечию. В связи с распространением и укреплением норм национального

¹ Ю. В. Готье, Замосковский край в XVII веке, 2-е изд., М., 1937, стр. 88.

² В. И. Ленин, Соч., т. 1, стр. 137.

языка тормозится дальнейшее изменение строя языка в области звуковой системы и морфологического строя. Местные диалекты в эпоху национальную, становясь явлением пережиточным, постепенно утрачивая свою самостоятельность, вливаясь в национальный язык и исчезая в нем, постепенно становятся низшей формой национального языка, подчиненной его высшей форме — литературно-отработанному нормализованному типу национального языка.

В эпоху образования русского национального языка постепенно к XVIII в. (к его середине) развивается единая устно-разговорная разновидность национального языка, которая, употребляясь первоначально в Москве, постепенно распространяется по всей стране. Основными источниками этого типа языка являются, с одной стороны, московское просторечие, с другой — деловой письменный язык предшествующей эпохи, оба имевшие северную основу. С этим непосредственно связано укрепление в качестве норм национального языка ряда северновеликорусских по происхождению черт (взрывное образование *г*, твердое *т* в 3-м лице глаголов, формы типа *меня* и др.), ибо при формировании национального языка не происходило ломки веками создававшейся традиции. Однако самое развитие русского национального языка происходило при ведущей роли южновеликорусского наречия. В эпоху образования национального языка и непосредственно предшествующую ей развивается и укрепляется в московском просторечии и в части подмосковных говоров аканье, утрачиваются вслед за утратой в южновеликорусских говорах многие древние общенародные элементы в грамматике и лексике, сохранившиеся теперь лишь в части архаических северновеликорусских говоров. В московский говор и соседние северновеликорусские проникает форма именительного падежа множественного числа на *-ы* (*-и*) безударное от слов среднего рода и мужского рода на *-онок* (*сёлы, пятны, ребята*), также, видимо, южновеликорусского происхождения. Утрачиваются в них старые общенародные конструкции, постепенно превратившиеся в особенности северновеликорусских диалектов (например, конструкция типа *косить трава*, широко известная языку московских памятников еще и XVI в.). Развивается также словарь за счет слов, южновеликорусских по происхождению. Существенное значение в развитии устно-разговорной разновидности национального языка имело ее обогащение за счет элементов, генетически восходящих к церковно-книжному языку, но приобретших к этому времени общенародный характер. Этими элементами являлись слова, словообразовательные элементы — суффиксы и приставки, слова со звуковыми особенностями церковно-книжного происхождения — *жд, ц, с* (без изменения в *о*), слова с неполногласными сочетаниями и т. д.

Так совершенствуется и обогащается устно-разговорная разновидность развивающегося русского национального языка, все шире отражаясь в письменности и тем самым заявляя о своей способности быть основой и письменно-литературной разновидности национального языка. Вместе с этим церковно-книжный тип литературного языка переживал в XVII в. решающий кризис: становясь все менее повятым народу, не выдерживая конкуренции со стороны общенародной устно-разговорной разновидности развивающегося национального языка, удовлетворяющей многообразным потребностям общества, церковно-книжный тип литературного языка постепенно сужается в сферах своего употребления, а затем (с XVIII в.) переходит на положение культового в собственном смысле слова церковного языка. Дольше держится деловой «приказный» язык. Но и он, обогатив собой до известной степени общенародный язык, постепенно приобретает черты специального «канцелярского» языка.

Таким образом, устно-разговорная разновидность развивающегося национального языка, обогащенная как церковно-книжными, так и «приказными» элементами, постепенно стремится стать по существу единственной основой письменно-литературного языка.

Сказанным не исчерпываются процессы, характеризующие начальный период развития русского языка в эпоху образования русской нации. Однако богатая и поучительная история русского языка этой эпохи выходит за пределы задач, ставящихся в настоящей статье, и требует специального рассмотрения.

Н. Т. САУРАНБАЕВ

ДИАЛЕКТЫ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

1

Одним из отстающих разделов казахского языкознания является казахская диалектология. Дореволюционные тюркологи не обращали внимания на изучение диалектов и говоров. Большинство исследователей считало, что в казахском языке отсутствуют какие бы то ни было диалектные различия¹. Это же мнение разделяли и казахские языковеды до 1937—1938 гг. Только начиная с 1937 г. стали проводиться экспедиции по собиранию материалов по казахским диалектам. Однако долгое время эти материалы оставались необработанными. Лишь с 1946 г. стали появляться отдельные статьи по казахской диалектологии².

После окончания войны С. А. Аманжолов изучил материалы диалектологических экспедиций и написал докторскую диссертацию на тему «К вопросу о казахской диалектологии». К сожалению, эту работу автор по неизвестной причине до сих пор не опубликовал. В 1951 г. вышел в свет небольшой диалектологический сборник³. В 1954 г. сдана в печать работа Ж. Доскараева «Материалы областной лексики казахского языка». Наконец, в 1953 и 1954 гг. на страницах журнала «Вопросы языкознания» были опубликованы статьи С. А. Аманжолова и Ж. Доскараева о диалектах казахского языка⁴. Таким образом, казахские языковеды вопросами казахской диалектологии вплотную стали заниматься только за последние 8 лет.

В связи с этим среди лингвистов казаховедов возник ряд спорных вопросов, которые были предметом специального обсуждения на дискуссии по вопросам казахского языкознания, проведенной в феврале 1952 г. В силу малой изученности казахских диалектов дискуссия не могла решить эти спорные вопросы. Она показала низкий уровень диалектологических исследований в Казахстане и вынесла решение о необходимости дальнейшего изучения диалектов и говоров казахского языка. При этом указывалось на то, что диалекты должны изучаться не в рамках жузов или родо-племенных объединений, а в связи с историей

¹ См.: В. В. Радлов, Образцы народной литературы тюркских племен, ч. III, СПб., 1870, стр. XVIII; П. М. Мелиоранский, Краткая грамматика казак-киргизского языка, ч. I, СПб., 1894, стр. 3.

² См. Ж. Доскараев, Краткий очерк о южном диалекте казахского языка, «Известия АН Казах. ССР», Серия филологическая, вып. 4 (29), 1946; С. Аманжолов, К истории изучения казахских диалектов, «Известия АН Казах. ССР», № 77, Серия лингвистическая, вып. 5, 1948.

³ Ж. Доскараев, Г. Мусаббаев, Местные особенности казахского языка, ч. I, Алма-Ата, 1951 [на казах. языке].

⁴ С. А. Аманжолов, О диалектах казахского языка, ВЯ, 1953, № 6; Ж. Д. Доскараев, Некоторые вопросы диалектологии и истории казахского языка, ВЯ, 1954, № 2.

всего казахского народа, специфическими особенностями хозяйственной и культурной жизни населения отдельных территориальных районов Казахстана, а также с учетом взаимосвязи казахского языка с другими языками.

2

Продолжающиеся донные споры о казахских диалектах идут не в плане отрицания или признания их в казахском языке, а в направлении классификации и определения их генезиса. Многие казахские языковеды возражают не против диалектов, а против родо-племенной их природы.

Констатируя имеющиеся в казахском языке диалектные различия, мы расходимся с некоторыми языковедами, в частности с С. А. Аманжоловым, в понимании этих различий. Серьезное сомнение вызывает положение о том, что современные диалекты или говоры якобы имеют реальную связь с теми родо-племенными диалектами, которые существовали в период до образования единой казахской народности. С. А. Аманжолов в одной из своих брошюр писал следующее: «Казахские диалекты — это противоположность литературного языка, в своей основе они — язык родов и племен, их остатки... Одним словом, их можно называть языком племен и народов»¹. Здесь автор с предельной четкостью сформулировал свою точку зрения на современные диалекты, определяя их как языки родов и племен. Такое, как нам кажется, неправильное понимание диалектов привело автора к признанию лишь родо-племенных диалектов и отрицанию существования единого языка, ответвлением которого являются диалекты. Общеплеменный язык, в понимании С. А. Аманжолова, — это совокупность родо-племенных диалектов. Едва ли нужно доказывать ошибочность и надуманность подобного представления о современных диалектах и об их отношениях к общеплеменному языку.

Мы не отрицаем возможности исторической связи казахского языка с языками тех племен и родов, которые жили в древности на территории Казахстана и которые вошли в этнический состав казахского народа. Но в силу происходивших изменений как в языке, так и в жизни его носителей эта связь ныне стала почти неуловимой. Нам представляется, что процесс складывания единого языка казахской народности сопровождался прежде всего нивелировкой и утратой черт родо-племенных диалектов. Этому процессу не мог не способствовать, например, такой факт, как смешение родов и племен тюркского происхождения, а также различных этнических групп других, иноязычных народов. Разноплеменность этнического состава казахов была отмечена многими дореволюционными исследователями. Н. А. Аристов писал: «... по своему географическому положению, киргиз-казахские степи помещали все непосредственно спускавшиеся в них с Алтая тюркские племена, а потом дали приют и остальным тюркским племенам, обитавшим первоначально в Монголии, так что в составе киргиз-казахов можно ожидать найти представителей всех главнейших и древнейших тюркских племен»². Аналогичные сведения сообщает акад. В. В. Радлов. В частности, он писал: «О происхождении киргизов (казахов. — Н. С.) нам очень мало известно. Родовые их имена свидетельствуют о том, что и киргизы образовались из различных народов, как это доказывают, напр., названия племен: кыпчак, аргын и най-

¹ С. Аманжолов, Казахский литературный язык, Алма-Ата, 1949, стр. 8 [на казах. яз.].

² Н. А. Аристов, Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности, СПб., 1897, стр. 76.

ман (последнее бесспорно монгольского происхождения). Но повидимому эти различные элементы слились между собою уже очень давно, потому что китайцы уже за несколько столетий тому назад говорят о народе „ха-са-ки“¹.

Изучение этнического состава казахов и в наше время показывает не только чрезвычайную его пестроту, но и неоднородность различных родо-племенных групп, образующих казахскую нацию. Например, родо-племенные названия: уйсуны, канглы, найманы, дулаты, аргыны — встречаются в настоящее время в различных территориальных районах. В этом отношении особенно характерен этнический состав казахов Западного Казахстана. Говоря словами Н. А. Аристова, «... состав малой Орды весьма пестрый, ибо в нее, видимо, вошли многие части разных тюркских племен, закинутые судьбою из Монголии и с востока степи на запад»². Вполне очевиден и тот факт, что процесс смешения, слияния различных племен на территории Казахстана происходил очень давно, в период еще до образования единой казахской народности, о чем и говорит В. В. Радлов.

Таким образом, смешение или слияние различных племен и родов, сложение их в единую народность, а также дальнейшее развитие этой народности в условиях весьма подвижного скотоводческого хозяйства не могли не привести к растворению, ассимиляции прежних родо-племенных диалектов. Однако надо оговориться, что растворение или ассимиляция родо-племенных диалектов не означает абсолютного исчезновения их. Речь идет об утрате всей совокупности специфических черт каждого из родо-племенных диалектов. Отдельные элементы, особенно фонетического характера, могут сохраняться в виде реликтов в разговорном языке или в отдельных говорах, возникших позже, в период развития единого языка народности.

Характер и количество диалектов и говоров, а также их соотношение на всех этапах истории развития языка не могут быть постоянными. В зависимости от общественно-экономических условий и состояния культуры, а также в условиях новых взаимоотношений с другими народами диалектные черты языка изменяются. Например, диалекты, их особенности, а также территории их распространения периода племен и племенных союзов, с одной стороны, и периода развития единой народности, с другой, не могут совпадать, хотя в последнем периоде отдельные элементы племенных диалектов могут присутствовать. Следовательно, определение и тем более классификация современных диалектных различий на основе сохранившихся в народе родо-племенных названий, не имеют реальной основы.

Один из крупных русских диалектологов Р. И. Аваносов на материалах русской диалектологии показывает качественно различные закономерности языкового развития на разных этапах истории. Он пишет: «Различные закономерности общественного развития в эпоху разных общественно-экономических формаций вызывают качественно различные закономерности языкового развития. Одни эпохи вызывают по преимуществу дробление языка, образование множества близких друг к другу диалектов; в другие эпохи, напротив, происходит объединение, концентрация этих диалектов в больших или меньших масштабах. В соответствии с этим в одни эпохи по преимуществу возникают диалектные различия, а в другие происходит нивелировка, сглаживание, объединение диалектов. Весьма часто одновременно имеют место оба эти процесса: в одних, в бо-

¹ В. В. Радлов, Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи, ч. III, СПб., 1870, стр. XIV.

² Н. А. Аристов, указ. соч., стр. 111.

лее узких, пределах происходит объединение диалектов, а в других, более широких, напротив, — дальнейшее их расхождение, выработка новых диалектных различий¹. Эта характеристика закономерностей развития диалектов вполне справедлива и в отношении казахских диалектов. Современные диалектные различия казахского языка представляют собою новое образование, возникшее в период феодализма, когда окончательно сложилась единая казахская народность, т. е. после XV в.; следовательно, они — эти диалектные различия — не являются племенными.

С. А. Аманжолов судит о связи современных диалектов с родо-племенными языками не на основе языковых фактов, а исходя из сходства родо-племенных названий этнических компонентов казахов и древних племен. Он совершенно не учитывает того положения, что многие из этих этнонимов существуют у других тюркоязычных народов, например у узбеков, киргизов, башкир, татар и др. Эти этнические группы с одинаковыми или сходными названиями ныне говорят на разных языках. Объяснение причин общности их названий при громадном расхождении в языке находим у Ф. Энгельса. «На северо-американских индейцах, — пишет Энгельс, — мы видим, как первоначально единое племя постепенно распространяется по огромному матерiku; как племена, расчлняясь, превращаются в народы, в целые группы племен, как изменяются языки, становясь не только непонятными один для другого, но и утрачивая почти всякий след первоначального единства; как наряду с этим внутри племен отдельные роды расчлняются на несколько родов, старые материнские роды сохраняются в виде фратрий, причем, однако, названия этих старейших родов остаются все же одинаковыми у очень отдаленных и давно отделившихся друг от друга племен — волк и медведь остаются родовыми названиями еще у большинства всех индейских племен»².

Современные родственные тюркоязычные народы в своем историческом развитии настолько отделились от своих древних предков, что следы языкового единства потеряны. Следовательно, одни родо-племенные названия, кроме намека на существование некогда отдельных племен и родов, никаких данных о языковой связи дать не могут.

3

Как упоминалось выше, современные диалектные различия казахского языка мы рассматриваем как явление, возникшее после XV в., т. е. в период развития единого языка казахской народности при феодализме. Они по своим признакам не совпадают ни с племенными языками (диалектами), ни с утратившими давным-давно свое значение родо-племенными делениями казахов. Современные диалектные различия казахского языка обусловлены специфическими особенностями общественно-экономической и культурной жизни отдельных частей казахского населения, находящихся в различных районах обширной территории Казахстана. Немаюважное значение для возникновения диалектных различий имело взаимоотношение отдельных частей казахского населения с другими народами.

Диалектные различия казахского языка проявляются в определенных особенностях народной речи, которые прослеживаются в области фонетики, лексики и грамматики. В области фонетики мы наблюдаем следующие диалектные различия.

¹ Р. И. Аванесов, Очерки русской диалектологии, ч. 1, М., 1949, стр. 21.

² Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, Госполитиздат, 1952, стр. 98.

В начале, а иногда в аффиксах и в конце слова чередуются *ч/ш*. Например: *шай/чай* «чай», *шалан/чалан* «халат», *шоқпар/чоқпар* «дубина», *шалы/чалы* «коса», *шыбын/чыбын* «муха», *шығын/чығын* «расход», *бірінші/бiрiншi* «первый», *әнші/әншi* «певец», *қамшы/қамшы* «кнут» и т. д.

Прежде мы предполагали, что употребление аффрикативного *ч* в начале слова свойственно по преимуществу языку населения южных областей. Однако дополнительное обследование показало, что употребление *ч* вместо *ш* имеет место также в юго-восточных районах, в частности в Талды-Курганской и Восточно-Казахстанской областях. Таким образом, употребление *ч* в начальной позиции распространено на огромной территории, начиная от Сыр-Дарьи до Западного Алтая и Тарбагатая. В Каратальском и Аксуйском районах Талды-Курганской области и в Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском районах Восточно-Казахстанской области говорят *чики* вместо *шики* «сырой», *чакпак* вместо *шакпак* «серянка, спичка», *чуберек* вместо *шуберек* «тряпка», *көпшілік* вместо *көпшілік* «большинство», *чал* вместо *шал* «старик», *камчы* вместо *камшы* «кнут», *бiрiншi* вместо *бiрiншi* «первый»¹. Аффрикативному *ч* юга и юго-востока в остальных областях, в частности северных, северо-западных и западных, соответствует проточный *ш*. Однако из этих двух чередующихся звуков в качестве общелитературной нормы употребляется в начальной позиции *ш*.

Судя по району наибольшего распространения аффрикативного *ч* можно предполагать, что он, видимо, возник позже *ш* под влиянием уйгурского, киргизского и узбекского языков, в которых этот звук является устойчивой фонемой. В пользу этого предположения говорят следующие факты. Во-первых, казахи юга и Семиречья с давних времен имели непосредственное соприкосновение с уйгурами, киргизами, узбеками, а местами жили и ныне живут смешанно. Во-вторых, есть и некоторые исторические сведения, свидетельствующие о том, что в XI в. в языке казахских племен, населявших южные районы Казахстана, употреблялся *ш*, а не *ч*. Так, В. В. Бартольд в своей работе «К вопросу о языках согдийском и тохарском», ссылаясь на Махмуда Кашгарского, пишет следующее: «Махмуд Кашгарский говорит о крепости Шу, построенной турецким царем этого имени, современником Александра Македонского, близ Баласагуна, которого в то время еще не было (Махмуд Кашг., Турец. изд., ч. III, стр. 305). Надо думать, что крепость стояла на реке того же имени и что в местном диалекте и тогда, как теперь в киргизском, звук *ч* заменялся звуком *ш*»². Населением побережья реки Шу ныне последовательно употребляется звук *ч*. Реку Шу называют Чу. По данным же Махмуда Кашгарского, на которого ссылается В. В. Бартольд, вместо *ч* употреблялся *ш*, как в языке казахов, живущих на севере и западе. Следовательно, появление *ч* относится, видимо, к позднему периоду и является следствием влияния уйгурского, киргизского и отчасти узбекского языков.

К следующему, более ярко выраженному звуковому различию диалектов казахского языка относится чередование *л/д*. Приблизительно в районах распространения *ч* главным образом после носовых *ң, н*, а иногда в интервокальной позиции вместо общелитературного *д* употребляется *л*. Это особенно характерно для языка населения Алма-Атинской, Джамбулской и Южно-Казахстанской областей, где говорят: *маңлай/маңдай* «лоб», *таңлай/таңдай* «нёбо», *тыңла/тыңда* «слушай», *аңлы/аңды* «следы, про-

¹ См. Ж. Доскараев, Г. Мусабаев, указ. сборн., ч. I, стр. 44.

² Сб. «Ирап», т. I, Л.. Изд-во АН СССР, 1927, стр. 36.

следы», *аңла* / *аңда* «понимай», *тІрІлей* / *тІрІдей* «живьем», *оңлы* / *оңды* «исправный, хороший» и т. п. Замена звонкого переднеязычного *д* сонорным *л* в слабой степени распространяется до Северного Приаралья и Зайсана на востоке. Например, в Иргизском районе говорят *қоңлану*, *қаралай*, *тІрІлей* вместо общелитературного *қоңдану* «поправиться», *қарадай* «в необработанном виде», *тІрІдей* «живьем, живым». То же самое наблюдается в Талды-Курганском, Каратальском районах Талды-Курганской области и Тарбагатайском, Зайсанском районах Восточно-Казахстанской области, где говорят *тыңлау*, *туңлІк*, *теңлІк*, *маңлай* вместо *тыңдау*, *түндІк*, *теңдІк*, *маңдай* (перевод этих слов дан выше).

Некоторые данные свидетельствуют о том, что употребление *л* после носовых сонорных *ң*, *н* вместо современного *д* является более архаичным. Сочетание *л* с сонорными *ң*, *н* отмечено в памятниках VIII—XIV вв. В частности, в памятнике Кюль-Тегина глагол *тыңда*- зафиксирован в форме *тыңла-*, как в языке казахов юга и юго-востока. Например, *катысды тыңла* «крепко слушай»¹; в «Codex Sumanicus» глагол *аңда* «понимай» зафиксирован в форме *аңла*. Эти незначительные, но очень характерные факты заставляют предполагать архаичность употребления *л* и новизну *д* в этой позиции.

Кроме этих двух главных звуковых явлений, встречаются и другие фонетические расхождения, к числу которых относятся, например, чередования *с/ш*, *т/д*, *д/й*, *м/б*, *п/б* и др. Например:

1. *с/ш*: *тексер* / *текшер* «проверь», *тұрмыс* / *тұрмыш* «жизнь, житье», *машқара* / *машқара* «повоз», *тышқары* / *тышқары* «вне», *ұқсас* / *ұқшаш* «сходный, похожий», *мысық* / *мышық* «кошка» и т. д.

2. *т/д*: *топ* / *доп* «мячик», *тым* / *дым* «очень», *тирмен* / *дирмен* «мельница», *теңіз* / *деңіз* «море», *тізгіл* / *дізгіл* «повод», *тізе* / *дізе* «колено».

3. *п/б*: *пайда* / *байда* «выгода», *болат* / *полат* «сталь», *пида* / *бұйда* «шнур», *перне* / *берне* «лады», *пиялай* / *биялай* «перчатка».

4. *м/б*: *мекіре* / *бекіре* «красная рыба», *шымышық* / *шыбышық* «воробей», *шыбыш* / *шымыш* «козленок», *матыру* / *батыру* «макать» и т. д.

Фонетические различия этого рода имеют некоторые особенности, отличающие их от первых двух звуковых явлений. Так, некоторые из этих различий не закреплены за определенной территорией. Вместо общекзахского *с* во многих районах в отдельных словах употребляется *ш*. Например, *ұқшаш* «похожий», *тышқары* «внешний», *мышық* «кошка», *тұрмыш* «жизнь», *машақ* «колос», *текшер* «проверь» встречаются в языке населения отдаленных друг от друга аулов Убаганского, Торгайского районов Кустанайской области, Каратальского, Аксуйского районов Талды-Курганской области и в ряде районов Джамбулской, Кызыл-Ординской и Карагандинской областей.

Наравне с этим некоторые из фонетических различий оказываются типичными для населения определенных, сравнительно небольших районов. Например, в языке населения Северного Приаралья имеет место употребление широкого губного гласного заднего ряда *о* вместо узкого губного гласного заднего же ряда *ұ*. Ср. *сора*, *оқсат*, *оқсас* вместо общелитературного *сұра* «спроси», *ұқсат* «делай как следует» *ұқсас* < *ұқшаш* «похожий». Несколько западнее, примерно в Приуралье, мы наблюдаем обратную картину, т. е. замену обычных открытых гласных узкими губными гласными. Например: *құрттынды*, *құлдау*, *мақсұт*, *құлдану* и т. д. вместо общелитературного *қорттынды* «заключение».

¹ См. С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, М. — Л., 1951, стр. 27.

қолоау «поддерживать», *қолдану* «применять». В Туркестане мы имеем более или менее типичное для этого района явление — замену звонких *д*, *б* глухими *т*, *п*. Например, *пейнет*, *полат*, *перне*, *этейІ*, *пешене*, *пІтІру*, *таяр* вместо *бейнет*, «мука», *болат* «сталь», *берне* «ладья», *эдейІ* «специально, нарочно», *бешене* «судьба», *бітІру* «кончать, заканчивать», *даяр* «готовый». Такие типичные звуковые особенности существуют и в языке населения других районов.

Таким образом, на основе вышеприведенных фактов с уверенностью можно говорить о двух главных группах диалектов, охватывающих две части территории Казахстана. Это группа диалектов *ш*, *д* на севере и западе и *ч*, *л* на юге и юго-востоке. Наряду с этим имеют место мелкие фонетические особенности, охватывающие более узкие районы, и наконец, существуют еще единичные фонетические расхождения, характерные для более дробных территориальных говоров.

Диалектные различия казахского языка более четко проявляются в разнообразии народной лексики. Большую часть собранных диалектологических экспедициями материалов составляют лексические материалы. Они по своему объему значительно превышают материалы фонетические и по качественному составу являются чрезвычайно разнообразными. К диалектным расхождениям могут быть отнесены различные лексические явления. Так, для казахских говоров и диалектов характерно, что одно и то же понятие в языке населения разных районов получает разное словесное оформление, например, «спичка» в различных районах распространения казахского языка имеет следующие названия: *сірІңке* (от русского слова «серянка»); *спешке* (от русского слова «спичка»); *оттық* (от слова *от* «огонь»); *шақпақ* (от слова *шақ* «чиркнуть»); *көгірт* (заимствовано из узбекского языка, в казахском будет *күгірт*); *шырпы* и др. Русскому «деньги» соответствуют: *теңге* (от русского слова «деньги»); *сом* (видимо, от русского слова «сумма»¹); *ақша* (от казахского слова *ақ* «белый»); *пул* (видимо, заимствовано из персидского языка через узбекский или уйгурский языки); *манет* (от русского слова «монета») и проч. «Балка» (брус) в различных говорах называется: *матке*, *арқалық*, *ұстын*, *белашаш*, *урлқ*, *қошер*, *білқ*.

Бывает и другой тип лексических различий, когда одно слово в различных районах имеет совершенно разные значения, например, слово *қарма* в Джамбулской области означает «жареная крупа», а в Кызыл-Ординской области «блюдо, приготовленное из фаршированной рыбы». Слово *кәрім* в Талды-Курганской области означает «хороший, приятный», а в Гурьевской области «плохой, неприятный». Слово *аула* — на севере «хлев», а на западе «курган».

Особую разновидность лексических различий составляют слова, бытующие только в определенной местности и не имеющие своего лексического соответствия в других районах. В языке населения Южного Казахстана, где развито бахчеводство, бытует много специфических слов, связанных с этой отраслью хозяйства, например, слова, *қурбі*, *ингелек*, *кулябі*, *торлама*, *құсқауын*, *көксерке* в этом районе обозначают различные сорта дынь, которые отсутствуют в других местах. В районах, где занимаются рыболовством, употребляется специальная рыболовецкая терминология, например: *қарашорқын* «группа рыбаков»; *ақан* «разновидность сетей», *белкесте* «спинная часть рыбы», *шөлкі* «деревянная игла для ремонта сетей», *қуркіл* «маленькая рыбка», *тартым* «место, приспособленное для вытаскивания сетей» и т. п.

¹ На эту мысль наводит наличие в литературном языке слова *сома*, что означает «сумма».

В районах, где население больше занималось верблюдоводством, мы встречаем специфические слова, обозначающие дифференциацию названия верблюдов по породам, по возрастам, например: *жон, курт, балқоспақ, мырза қоспақ, жарбай, келе* и т. п. Эти названия в других местах не встречаются.

В образовании лексических различий, кроме хозяйственной специфики районов, немаловажное значение имел контакт населения определенного района с другими народами. Об этом свидетельствует, например, различное количество заимствованных из других языков слов в языке населения разных районов; например, в языке населения Семиречья много слов, заимствованных из киргизского и уйгурского языков: кирг. *кементай*, казах. *кебентай* «халат из войлока», кирг. *карма*, казах. *қарма* «держки», «поймай», уйгур. *чаңза*, казах. *чанжа* «стропила». В языке казахов Южного Казахстана употребляется много узбекских слов, например, *дезмал* «утюг», *майек* «яйцо», *лаблям* «свекла», *шамал* «ветер» и др. В речи населения северных и западных областей больше встречается русских слов, например, в Убаганском районе Кустанайской области говорит *залыш* (от русского слова «залез»), *ураш* (от русского слова «рожь») и т. д. Надо заметить, что каждое из этих различий в основном существует в границах определенного, причем сравнительно небольшого района. Судя по материалам диалектологических экспедиций в казахском языке существуют несколько таких местных говоров. Однако диалектологические материалы еще далеко не достаточны для того, чтобы можно было дать классификацию всех говоров. На основе имеющихся в нашем распоряжении данных и личного наблюдения предположительно можно наметить наличие четырех говоров в языке населения южной полосы Казахстана (от Северного Приаралья до восточного предела Семиречья), а именно: сыр-дарьинский, чимкентский, чуйский и семиреченский говоры. Сыр-дарьинский говор характеризуется наличием специфических слов, связанных с рыболовством, рисоводством. Чимкентский говор отличается своеобразием лексики, связанной с садоводством, бахчеводством, хлопководством, а также значительным влиянием узбекского языка. Чуйский говор охватывает территорию между юго-западом и юго-востоком, характеризуется наличием значительного влияния киргизского языка. Наконец, семиреченский говор охватывает ныне две области (в прошлом одна область) — Алма-Атинскую и Талды-Курганскую. Он характеризуется лексикой, отражающей основное занятие населения — животноводство, земледелие, садоводство, а также известным влиянием уйгурского и частично киргизского языка.

Кроме фонетических и лексических различий народной разговорной речи, диалектные черты в известной степени обнаруживаются и в своеобразии грамматических форм, а также в фразеологии. Подробная характеристика этих особенностей заняла бы много места, поэтому ограничимся лишь приведением некоторых примеров.

Значительная часть диалектных расхождений отмечается в формах глагола. Во многих районах Кустанайской области довольно последовательно употребляется древняя причастная форма на *-мыш*, например: *жетілmiş* // *жетілген* «достигший»; *жазылмыш* // *жазылған* «написанный»; *айтылмыш* // *айтылған* «сказанный»; *таңданмыш* // *таңданған* «удивленный» и проч. Нам кажется, что употребление аффикса *-мыш* вместо *-ған* объясняется влиянием книжного языка. В этих районах довольно широко и раньше, чем в других областях, распространялась литература, издававшаяся в Казани, в Уфе, Оренбурге, Троицке. Как известно, эта литература обычно печаталась на особом книжном языке, отличавшемся от общепародного языка наличием многих элементов чагатайского, арабского, персидского, татарского языков. Форма на *-мыш* довольно часто

употреблялась в этом книжном языке. В районах этой же области аффиксы *-са, -сы* в некоторых случаях заменялись аффиксами *-шақ, -шек*, например: *алашақ, берешек* вместо *аласы < аласа, бересі < бересе* «притчающийся долг».

В районах западных областей, а также и в пределах Актюбинской и Кызыл-Ординской областей употребляется форма на *-жақ, -жек* вместо *-шақ, -шек*, например: *бержақ||бершек* «должен отдать», *айтажақ* «должен сказать» и т. п. Одновременно в этих же районах западных областей вместо обычной формы давнего прошедшего времени, например, *келіпті* «он пришел», *көріпті* «он видел» употребляется форма на *-улы, -улі*, например, *келулі* «оказывается, приехал», *көрулі* «оказывается, видел».

На огромной территории юга и юго-востока распространена сокращенная форма 1-го лица повелительного наклонения на *-лы, -лі*, например, *баралы* вместо *барайық* «пойдемте», *журулі* идемте». На севере и западе одновременно с формой на *-лы, -лі* существует форма на *-лық, -лік*. Ср., например, *баралық < баралы, журулік < журулі*. Очевидно, форма на *-лы, -лі* образовалась путем выпадения звука *қ/к* в аффиксе *-лық, -лік*, что объясняется влиянием узбекского и уйгурского языков¹. Такие же расхождения прослеживаются и в отношении других грамматических форм.

Различия в области фразеологии могут быть проиллюстрированы следующими примерами. В районе Сыр-Дарьи говорят *бір ауық* вместо *бір уақыт* или *бір мезгіл* «один момент»; в Кустанайской области говорят *кіл өтірік* вместо *тіпті өтірік* «сущая неправда», *сазадан көріну* вместо *жақыннан көріну* «быть видным вблизи».

Говоря о различных формах проявления диалектов или говоров, нельзя не отметить то положение, что границы фонетических, лексических, морфологических и особенно фразеологических различий не совпадают. Как видно из вышеприведенных фактов, одни диалектные признаки распространены сравнительно на большой территории, а другие охватывают лишь небольшой район.

Следует также сказать, что говоры в большей степени обнаруживаются в лексических различиях, чем в морфологических и фонетических, хотя вместе с тем они могут иметь и фонетические, и морфологические признаки. Например, говорам юга и юго-востока, о которых речь шла выше, в фонетическом отношении свойственно употребление *ч, л*. Это — общий их признак. В отношении же лексики среди них могут быть выделены несколько мелких говоров. Поэтому при изучении диалектов и говоров казахского языка необходимо обращать особое внимание на выявление общих черт соответствующих говоров, точно устанавливая при этом их специфические признаки.

Есть еще один вопрос, который связан с диалектами. Это вопрос о диалектной основе казахского национального литературного языка. С. А. Аманжолов — как нам кажется, умозрительно — утверждает, что в основу письменного-литературного и национального языка лег так называемый «северо-восточный» диалект².

Вопрос о диалектной основе национального литературного языка должен быть решен после изучения всех диалектов казахского языка, их состояния и соотношения в момент зарождения литературного языка.

В заключение следует еще раз сказать, что казахские диалекты требуют дальнейшего глубоко научного изучения и исследования.

¹ См. Н. Т. Сауранбаев, О категориях лица повелительного наклонения, «Известия АН Казах. ССР», № 135, Серия филологии и искусствоведения.

² См. С. А. Аманжолов, О диалектах казахского языка, ВЯ. 1953, № 6, стр. 92.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Ю. В. ЗЫЦАРЬ

О РОДСТВЕ БАСКСКОГО ЯЗЫКА С КАВКАЗСКИМИ

Еще в древности возник спор о том, родственны ли некоторые народы Пиренейского полуострова некоторым народам Кавказа. По свидетельству Аппиана (II в. н. э.), кавказских иберов одни считали колонией иберов пиренейских, другие — их предками, третьи же не видели между ними ничего общего, кроме имени, никакого сходства ни в образе жизни, ни в языке. Что касается пиренейских басконов, составивших позже ядро баскской народности, то Страбон (I в. н. э.) отделял их физически и по языку от трех окружавших их иберских групп (аквитавы, кантабры, собственно иберы юго-востока полуострова). Значит, если пиренейские иберы были связаны с кавказскими не только по имени, но и по происхождению, для басконов такая связь Страбоном ставилась под сомнение.

Позже этот сложный вопрос во всех своих аспектах еще более усложнился. Одно время не сомневались между прочим и родстве пиренейских иберов и басков (В. Гумбольдт и др.). Но теперь большинство исследователей придерживается другого мнения, главным образом потому, что тексты типично иберских мест (юго-востока полуострова) не удается понять при помощи баскского языка. С другой стороны, баскско-кавказские сопоставления Н. Я. Марра, Г. Шухардта, А. Тромбетти, И. Карста и других современных им и предшествовавших ученых, как это признано, не доказали искомого родства, не дали нужного комплекса фонетических и морфологических соответствий.

Из ученых этой плеяды особенно интересовался данным вопросом Н. Я. Марр. Он даже выдвинул баскско-кавказское родство как о с н о в н у ю задачу и рабочую гипотезу для кавказоведов, против чего в свое время возражал А. Мейе, который указывал, что искомая семья, если она в действительности существовала, представляла собой единство в V—IV тысячелетии до н. э. или даже еще раньше, и советовал Н. Я. Марру вернуться к построению сравнительно-исторической грамматики как необходимой предпосылки плодотворных сопоставлений большого масштаба. Таким образом, А. Мейе, допуская возможность родства, сомневался в возможности вскрыть его при современном уровне изучения материала, при отсутствии древних памятников баскского и кавказских языков, а также соответствующих таким задачам памятников некоторых других — мертвых — языков. В последующее время вопрос о баскско-кавказском родстве вновь обсуждался в специальной литературе в связи с опытами К. Боуда, Р. Лафона и др.

В текущей дискуссии о задачах кавказоведения высказаны весьма различные взгляды по этому вопросу. Е. А. Бокарев допускает возможность баскско-кавказского родства, но считает, что без помощи сравнительно-исто-

рической грамматики кавказских языков вскрыть его нельзя¹. В. Георгиев, напротив, отрицает эту возможность, потому что не находит общности наиболее устойчивых групп слов и считает случайными морфологические совпадения, а также потому, что баскско-кавказская гипотеза, предполагающая, по его мнению, древнюю языковую непрерывность в бассейне Средиземного моря, противоречит положению об индоевропейском происхождении древнейшего населения Эгейской области². Правда, болгарский ученый допускает, что самое древнее население этой области (эпохи неолита, возможно V тысячелетия до н. э.) могло быть неиндоевропейским. «Однако дешифровка минойских надписей показывает, что еще до греков в Эгейской области жили племена, говорившие на особом индоевропейском языке»³, что и заставляет В. Георгиева сомневаться в возможности баскско-кавказской общности.

И. М. Дьяконов подкрепляет тезис В. Георгиева о древнем этно-лингвистическом многообразии на *Mare Nostrum*⁴. А так как даже древневосточные языки оказываются «неподатливыми» к попыткам «увязать» их друг с другом и с кавказскими языками даже тогда, когда угадываются глубокие связи (хурритский, урартский), возможность баскско-кавказского родства ставится, казалось бы, под большое сомнение. Однако, как следует из той же статьи И. М. Дьяконова, нельзя забывать о том бурном развитии, которое успели претерпеть древневосточные языки, а также о той исключительной роли, которую играло в их жизни скрещивание с другими языками. Надо полагать, что благодаря инородному элементу, растворившемуся в гуще хурритов и урартийцев, их языки в гораздо большей степени утратили свой «кавказский облик», чем удаленный от Кавказа хаттский, исчезнувший прежде, чем он успел впитать чуждый элемент в больших размерах. Ясно, что особых преимуществ по выявлению связей кавказских языков с древневосточными языками и не следовало ожидать. Также и шумерский язык прошел, вероятно, не одно историческое испытание, и происхождение его гетерогенных компонентов загадочно. Не менее сложен и эламский материал, а от так называемых «каспийских» языков мало что сохранилось. О хаттском пока нельзя составить вполне точного представления, хотя он-то и признается наиболее близким к кавказским языкам. Еще более затруднены попытки увязать кавказские языки с лигурийским и некоторыми близкими баскскому частями иберийского языкового мира. В баскском часть древних слов и форм вытеснена романизмами. Кроме того, баскский язык — младописьменный, как и столь же архаичные иногда горские кавказские языки. Грузинская письменность стара. Но еще до ее появления Грузия пошла по пути быстрого и сложного развития. Кавказский элемент в различных индоевропейских и хамито-семитских языках, если он даже значителен и древен, как в хеттском, остается всего лишь элементом. В некоторых местах, как в Эгейской области, проблематичный «подселой» оказывается под двойным слоем и вне этнотопонимики вряд ли может поддаться анализу, если он здесь вообще существует.

В свою очередь, установление такой этнотопонимики затруднено, а помимо обычных препятствий, таковым может быть еще одно важное, на наш взгляд, обстоятельство: изменение этнического содержания терминов,

¹ См. Е. А. Бокарев, Задачи сравнительно-исторического изучения кавказских языков, ВЯ, 1954, № 3, стр. 48.

² См. В. Георгиев, Вопросы родства средиземноморских языков, ВЯ, 1954, № 4.

³ В. Георгиев, История Эгейского мира во II тысячелетии до н. э. в свете минойских надписей, ВДИ, 1950, № 4, стр. 61.

⁴ См. И. М. Дьяконов, О языках древней Передней Азии, ВЯ, 1954, № 5.

остающихся от древнейшего населения и закрепляющихся за пришельцами — носителями победившего языка. Примером может служить история термина «хатты», оставшегося от древнейшего населения центральной Малой Азии, но закрепившегося позже за пришельцами-победителями, подлинного имени которых мы не знаем, условно называя их хеттами или хеттами-цеситами. В данном случае нам известно изменение содержания термина. А если бы вместо Богазкёйского архива до нас дошел живой хеттский язык, то мы, считая его индоевропейским, как и армянский, считали бы, возможно, индоевропейским и сам термин «хетты». Следовательно, часть этнопонимов, в индоевропейском или хамито-семитском происхождении которых мы не сомневаемся, так как их несут эти народы, может быть «местного» происхождения.

Но не характерны ли подобные «метаморфозы» только для Древнего Востока? Надо полагать, что нет, так как одна из основных причин явления состоит в земледельческом характере древнейшего населения, которое, как указывает И. М. Дьяконов, не уходит с приходом новых племен и этнически часто преобладает, независимо от политической и языковой судьбы района, и так как земледельческим было не только население Древнего Востока, с которым исторически преемственно связан Кавказ, но и древнейшее население Иберо-Аквитании, отчасти Ингурии, возможно — Эгейской области¹.

Допуская возможность таких превращений этнопонимики не только для Передней Азии, но и для других районов Средиземноморья, обратимся к вопросу о возможности баскско-кавказского родства. Есть мнение, что сходство пиренейского и кавказского терминов «иберы» случайно. Так ли это?

На полуострове термин зафиксирован с VI в. до н. э. Общеизвестно, что он связан здесь с названиями рек *Iber-* в Каталонии (современное Эбро) и на юге (современное Рио-Тинто). Кроме того, есть *Ibars* в Каталонии, *Ibero* в Наварре и т. п., а помимо топонимики формы этого корня были «разветвлены» в древнейших языках страны, родственных баскскому, потому что в баскском мы имеем *ibar* «речная долина» и связанные с ним *ibai* «река», *ibon* «горное озеро», *ibi* «ручей», *ibi, ibaso* «брод» и т. д., откуда *Ibia*, *Ibis*, *Ibilla* у Ливия, Мелы, Стефана Византийского, современные *Ibeas*, *Ibaso*, *Ibide*, *Baigorri* «Красная река», *bigerriones* в Аквитании, *Baiona* «хорошая река», романское *vaica* **ibai-ko* «прибрежный», возможно, исп. *bahia* «залив».

Европейский термин *Iber-* пытались толковать как баскское *ib-* «река, вода» + *erri* «народ», т. е. «речной народ» или «речной посолок», хотя возможна и этимология *ib* + *ar*, где *ar* «мужчина, человек» (ср. *arr-eba* «сестра брата», буквально: «родственница мужчины», *nar/b-ar* «наваррец», буквально: «человек навь — долины среди гор»). Надо учитывать в этой связи и то, что в Басконии сохранились пережитки культа вод, некогда широко распространенного и известного также на Кавказе. Кавказский термин *Iber-*, зафиксированный с IV в. до н. э., также как будто уходит своими корнями в местную почву: ср. названия сванских обществ *Ipari*, *Pari*², груз. *bari* «долина» и т. п.

Для правильного понимания связи баск. *ibar* «речная долина» с груз. *bari* «долина» (сравнение Р. Лафона), исчезновения начального *i-* и оглу-

¹ Именно земледельческий характер баскско-кавказской общности, если она допустима, вместе с отдаленным сроком ее распада привел к ее крайней лингвистической дробности и явился основной причиной, по которой ее большая часть оказалась в «подслое». Корни всех перечисленных препятствий ее выявления — в ее характере.

² См. В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор, I, М. — Л., 1949, стр. 293.

шения *b* в *Ipari, Pari* надо учитывать не только данные картвельской фонетики, но и баскской. Ср. баск. *pide* // *bide* «дорога», баск. *gorr-i* «красный» — *i-garr, kharr* — *i-kharr* «пламя», *a-gorr, khorr, gorr* «сухой, твердый, глухой» и т. п. Иными словами, в основе сопоставления пиренейского и кавказского этнонимов большой древности лежит сопоставление несомненно исконных баскского и кавказских лексических «узлов», предложенное весьма осторожным французским ученым и хорошо «обставленное» фонетически. Нам кажется, что сходство этих слов и терминов может быть не случайным, как и сходство пиренейских «Арагон», «Арга» с кавказскими «Арагви», «Арагвети» и т. п., баск. «Альба» с древневосточным «Альпа», кавказским «Албания» и т. п.

Правда, Р. Лафон, сопоставляя баск. *ibar* с груз. *bari*, вместе с тем опасается сопоставлять связанные с ними этнонимы, так как этноним «иберы» закрепился на Пиренейском полуострове, в основном, за народом, язык которого не может быть разъяснен при помощи баскского: уже Страбон отличал басков от иберов, современные историки и большинство лингвистов также видят в иберах людей хамитического происхождения, пришедших из Африки.

Но, по нашему мнению, термин «иберы» на Пиренейском полуострове, включая Каталонию и Юг, остался от древнейшего дохамитического его населения, родственного баскам, и закрепился за пришельцами-хамитами, подлинного имени которых мы не знаем, подобно тому, как в Малой Азии «местный» термин «хетты» закрепился за пришельцами индоевропейского происхождения, т. е., как нам кажется, и в этом случае имело место изменение этнического содержания термина. Если это предположение правильно, то хамитическое происхождение посетителей пиренейского термина не будет препятствовать его сопоставлению с кавказским.

А правильность этого предположения, опирающегося на исторические данные о земледельческом характере древнейшего населения полуострова, подтверждается тем, что оно объясняет разногласия древних историков по вопросу о родстве азиатских и европейских иберов и, ставя вопрос о значительности «местных» пережитков в пиренейских хамитических языках (т. е. в иберском), объясняет отзвуки баскского в иберских текстах и многочисленные связи баскского с этими языками, как связи с их дохамитическим «подслоем»¹. Приведем несколько примеров таких связей.

Еще Гумбольдт толковал названия иберских племен бастулов и баститанов (*bas-t-uli* содержит *uli = uri = iri = ili* «народ, поселение, город», ср. *Ili-m-berris, Iu-m-berris* «Новгород» в латинской передаче) с помощью баскск. *baso* «лес», которое обозначало раньше «дикие места: горы, покрытые лесом», что напоминает нам о культе горных и лесных духов у басков. По соседству с басками на арагонской территории жило иберское племя «илергеты», в Каталонии — племя «иларгаконы», а в Аквитании — «илуроны». В основе первых двух названий, без сомнения, лежит баск. *ilargi* «луна» > **ilargi-etes* с обычным окончанием (ср. *ceretes, vardietes* и т. п.) > **ilargi + ko + on* «люди луны», где *-k/go* — адъектив, а *on* — обычное окончание этнонимов (ср. для *-on — ausones, pelendones* и т. п., а также баск. *giz-on* «мужчина» от *giza* «человек»). В основе третьего этнонима содержится, вероятно, то же *il* «луна». Известно, что на полуострове был широко распространен культ луны, который сохранился и у басков в пред-

¹ Эти связи К. К. Уленбек, а за ним Ж. Лакомб и другие пытались объяснить при помощи хамитического элемента в баскском, а не при помощи баскского элемента в хамитическом иберском. Но хамитический элемент в баскском повелик, а такие «узлы» как *ibar — ibai*, находящие отзвук в хамитических районах всего полуострова, являются в баскском исконными. Следовательно, реальное положение вещей противоположно тому, что думал К. К. Уленбек.

ставлении о луне как об оплодотворительнице растений. По свидетельству Страбона, на северо-западе в полнолуние устраивали коллективные пляски в открытом месте. На юге найдены монеты с изображением луны. Авиен отмечал, что турдетаны почитали луну, называя ее «светилом ночи». Он передавал, таким образом, структуру турдетанского слова, совпадающую с баск. *il-argi*. Культ луны распространился и в северную Африку к берберам по следам топонимии, объясняемой в свете баскского (но не берберского) языка¹.

По следам культа луны, в свою очередь, тянутся на юг связи термина «баск». Восходящие к глубокой древности современное баск. *eusk(o)* «баск» имело раньше также вариант **iusk(o)*, который заложен в средневековом баск. *Iruzkoa* (современное *Gipuzkoa* — центральная провинция Страны Басков; *p/b* здесь — эвфоническая вставка, обязательная в бискайском для сочетаний гласного *u*, а конечный гласный — артикль), и вариант **ausk(o)*, который содержится в аквитанском этнониме *Ausc-i*². Этим вариантам закономерно отвечают формы *uask(o)*, *uesk(o)*, которые лежат в основе греч. *οὐσκόδες*, лат. *vascones*, франк. *gwaskon* (откуда Гасконь), исп. *vascones*, *vascones* (с обычным *-on* восточных этнонимов), лат. *vasco*, (Сирий Италик), исп. *vasco*, франц. *basque*³, а также и основе южных: *Vesci*, *Vescitani* (Плиний), *Vescila* (Ливий), западной *Viro-vesca* (современное *Briviesca*, где *viro* от кельт. *briga* «крепость»). Ю. Покорный⁴ возводил *ausc-i* к **a-uasc-i*, объясняя здесь *a-* как артикль, который в своем развитии из самостоятельного слова мог употребляться в препозиции прежде, чем окончательно «постпозицироваться» в баскском. Действительно, подобно **avask*—*uask*, *ausk*, имеем *apar-* (кантабрийское племя, ср. кавк. *аар*⁵)—*var-d-uli*, *var-di-etes* (где первое принадлежит западным баскам; для членения ср. *bas-t-uli*—*bas-ti-tani*, *tur-d-uli*—*tur-de-tani*⁶ и т. п.), подобно *uask*—*ausk* имеем этнонимы *Uakk*—*Auk(o)*, *vasates*—*auso-nes* и т. п. Однако Покорный не учитывал одного, что с препозитивным артиклем связано подвижное *u*, которое соответственно появляется и исчезает также в окончании топонимов с постпозитивным артиклем, ср.: *Oska*—*Oskua*, *Otazu*—*Otazua*, *Ameza*—*Amezua* и т. д. Это *u* перемещается и в *euskara*—*eskuara* (сулетинское *uskarra* «баскский язык, по-баскски»). Его первоначальное место в составе слова фиксировать трудно. Поэтому формы *ausk*, *eusk* с таким же правом можно считать первичными, как и формы *uask*, *uesk*. Вот почему есть основание связывать их с баскским *eguzki*, *euzki*, обозначающим «солнце». Подробно остановиться на этом здесь нельзя. Укажем только, что культ солнца был распространен на полуострове не менее, чем культ луны⁷. А вместе с ним распространились и этнонимы от корня *eusk*, которые могут быть истолкованы при помощи баск. *eguzki* «солнце», так же как название «илергеть» — при помощи баск. *ilargi* «луна».

Из сказанного следует, что названия хамитических иберских племен, в том числе «иберы» — не хамитические во многих случаях, но баскские,

¹ См. А. В. Мишулин, Античная Испания, М., 1952, стр. 182—183.

² *Ausc-i* (современное франц. *Auch*, лат. *Augusta Auscorum*) были одним из главных племен Аквитании. Что касается фонетики, см. R. L a f o n, Passage de *au* à *eu*, *e en basque*, «Revue internationale des études basques», t. XXV, 1934, № 2. Правильнее говорить, однако, не о переходе, а о соответствии *au/eu*.

³ Отсюда англ., нем., русск. *баск*. Характерно, что лат. *vasconice*, исп. *vascuence* «по-баскски, баскский» представляют собой структурную копию баск. *eusk-ara* «по-баскски, баскский», а исп. *vascongado* (<* *vasconicatu*) переводит баск. *eusk-al-dun-a* «имеющий баскский, баск».

⁴ «Reallexikon der Vorgeschichte», VI, Berlin, 1926, стр. 7.

⁵ Это сравнение отнюдь не доказывает правильности: **абаск* — *абхаа*.

⁶ Вероятно, так же следует членить *kar-t-veli* (*kar-t-uli*).

⁷ См. А. В. Мишулин, указ. соч., стр. 182—183.

т. е. связанные с древнейшим дохамитским слоем Иберо-Аквитании. Но это вовсе не значит, что под баскскими названиями не укрывался чуждый баскам хамитический элемент. Очевидно, что здесь неоднократно повторяется случай с «хаттами» и «хеттами» с той разницей, что вместо индоевропейцев — хеттов «надслоем» оказываются хамиты — иберы. Если учесть, что проникавшие из Африки уже во II тысячелетии до н. э. хамитские племена не были сформированным в своей сущности этносом (П. Боск-Джимпера, А. В. Мишулин и др.), распространялись, вероятно, небольшими группами и сливались с местным, оседлым и многочисленным населением, то станет понятным обилие старых этнонимов. Вот чем объясняются двойные формы племенных названий, как *турдулы* — *турдетаны*, *узски* — *узскитаны*, *аузоны* — *аузетаны*, *лузоны* — *лузитаны*, *кереты* — *керретаны*, *бастулы* — *баститаны*. Поскольку приметой хамитских племен в этнонимах является суффикс *-тан*, столь характерный для районов юга и юго-востока¹, следует называть иберов-хамитов «танами» или «иборо-танами» в отличие от древних «ибаров», так же как мы называем хеттами-неситами «надслойную» часть хаттов. Таким образом, как это ни парадоксально, иберы пиренейские связаны с кавказскими только по имени, оставшемуся от баскских предков (и по другим о с т а т к а м), но не более прочно; для басков же по этой причине связь с Кавказом становится весьма вероятной.

Возражая против возможности баскско-кавказского родства, указывают на несходство основных тематических групп слов в сравниваемых языках. Однако, если баскско-кавказская общность существовала, она прошла такой исторический путь и распалась так давно, что явного сходства и не следует ожидать. Возьмем для примера названия частей тела: баск. *buru* «голова», *oin*, *or* «нога» и т. п. Сопоставляя их с семантически равными кавказскими обозначениями, мы не находим никакого сходства. Но с учетом древности распада предполагаемой общности и ее характера мы будем искать соответствия баск. *buru*, *oin*, *or* не только в анатомической части кавказского словаря, но и в других его частях. И что же тогда? Тогда оказывается, что баск. *buru* «голова» сходно с груз. *burv-a* «покрывать голову», *buru-li* «крыша», *sa-bura-vi* «крыша», *ta-burv-a* «жертвовать деньги на погребение», раньше «класть деньги, подарок на голову умершего»². Баск. *bihotz* «сердце» не имеет прямых семантических созвучий в кавказских языках. Но оно состоит из префикса *bi-* и корня *hotz*³. Если учесть, что корень *hotz*, *hortz* известен в баскских словах, обозначающих «бог», «небо», раньше, вероятно, также «дух, душа», откуда «материализованное» значение «сердце», и что баск. *go-go* «мысль, душа», *pensée*, *esprit*» есть удвоенная форма от *go* «небо, верх», (*«бог»), то можно ожидать «материализованного» значения «сердце» в кавказских анатомических терминах не только для баск. *bihotz*, но и для баск. *go-go*. Оно-то и оказывается сходным с корнем *g* грузинского *guli* «сердце» (ср. также груз. *g-oni* «душа»). Мы бы хотели найти в кавказских языках соответствия баск. *beso*, *esku* «рука». Но Н. Я. Марр указывал, что древнейшим обозначением руки было слово *al/r* (**hal*); ср. баск. *ar-tu* «брат», *al* «мочь,

¹ Попытка Н. Я. Марра истолковать этот суффикс как «яфетический» неудачна. Но следует учитывать, что если даже какой-либо этноним не имеет второй формы, подобно *бастулы* — *баститаны*, а только одну форму на *-тан*, корень данного этнонима может не быть хамитическим. Так, *kar-pe-tani* (из **kar-te-tani*) вполне сопоставимо по корню с *kar-tveli*.

² Одна из лучших этимологий Н. Я. Марра. Ныне Я. Браун привлекает к сравнению с баск. *buru* также удинск. *bul* «голова». См. ниже мое сопоставление с кассит. *barhu* «голова».

³ Ср. С. С. U h l e n b e c k, Die mit *b-* anlautenden Körperpartienamen des Bas-kischen, «Festschrift Meinholz», Hamburg, 1927

возможность», раньше «мощь, сила». Приняв эту этимологию, мы ищем прямых кавказских соответствий баскскому **hal*. Но оно оказывается сходным с чанск. *ka* «ветвь», мингр. *ka* «ветвь», др.- арм. * *kal*, заключенным в *kal-n-um* «беру» (ср. для значения баск. *adar* «рог», также «ветвь», баск. *zain* «корень», также «жила, вена» и т. п.). Черк. *le* «нога» и баск. *or, oin* «нога» не сходны. Но черк. *le* можно сопоставить и с баск. *le* «низ», которое содержится в сложных *le-gor. le-horr* «суша, земля», *le-garr* «песок, гравий», *l-ur* «земля», *le-gor, el-kor* «сухой» и др. (первоначальное значение — «сухой низ»), тем более, что баск. *le* выделяется как «нога» из баск. *be-la-un/r* «колени» < *be-* — префикс + *la* «нога» + + *buru* «голова», в целом «голова ноги»¹. Естественно, что мы не найдем прямого соответствия специфичным баскским названиям частей тела на *b-* (*begi* «глаз», *belarri* «ухо», *bihotz* «сердце», *beso* «рука», *belain* «колени», *bular* «грудь» и др.), если не будем учитывать, что *b-* здесь префикс. Этот омертвевший префикс был отмечен как таковой уже давно и впервые выделен в анатомических терминах К. К. Уленбеком в 1927 г. Но К. К. Уленбек не сумел его объяснить, видя его только в названиях частей тела. В настоящее время польский кавказовед и басколог Я. Браун объясняет этот префикс как омертвевший классный показатель, имеющий в горских кавказских языках форму *ba-, be-, bi-, bu-* и встречающийся не только в баскских анатомических терминах, но и в других баскских словах, как, например, *baso* «лес», *potzo* «собака» и др., начинающихся на *p/b/m*. Это объяснение подтверждается тем, что с его помощью становится понятным наличие или отсутствие *p/b* в баск. *bel* «месяц» и «тьма» (ср. *bele* «ворон», *beltz* «черный») — баск. *il* (< **el*) «месяц, луна, тьма, смерть» и в других «парах». А такое же явление в словах романского происхождения (баск. *on* «хороший» < лат. *bonu-*, баск. *otto* «журица» < исп. *pollo* «цыпленок») показывает, что окончательное омертвление показателя с его прикреплением или отпадением «навечно» произошло в баскском не так давно. Наоборот, как предполагает Г. Климов, принимавший участие в работе Я. Брауна, в картвельских языках, где тот же показатель «омертвел» главным образом в анатомических терминах (ср. груз. *piri* «рот», сопоставимое с баск. *biri* «легкое»), этот процесс более стар.

Прежде, чем сопоставлять с кавказскими словами баск. *neba* «брат сестры», *arreba* «сестра брата», *aizpa* «сестра сестры», *alaba* «дочь», *illo-ba* «внук, внучка; племянник, племянница», надо выделить из них элемент- *p/ba, aba, eba, oba*, которому Гарате² придавал значение «родственник, родственница», и который вызывает у баска смутное представление о «старшем родственнике, предке» (ср. *ab-erri* «родина»³). Полученное *aba* оказывается похожим на груз. *babua* «дед». Исконно баскское обозначение женщины восстанавливается из *ne-ska* «девушка» (где *-ska* уменьшительный суффикс, как в *abere-ska* «маленькое животное» от *abere* «животное») и *ne-ba* «брат сестры», раньше «родственник женщины»⁴.

¹ Этимология К. Боуда, одобренная Р. Лафоном. (Некоторые слова в баскском, как *azpi, behere*, обозначают и «ногу», и «низ».)

² J. Garate, Ensayo sobre los nombres vascos de parentesco, «Revue internationale des études basques», t. XXIV, № 1, 1933, стр. 106 и сл.

³ *Aberri* — неологизм, согласно П. Ланду, но неологизм народный; ср. *aberri-eguna* «день родины», т. е. день победы народного фронта в Испании в 1936 г. и провозглашения автономии басков. (См. газ. «Euzkadi roja» за апрель 1947 г., №№ 36—38.)

⁴ *Ne* «женщина» сохранилось также как грамматический формант в «инетане», т. е. женском спряжении; ср. *ethortzen nintzau-n* «в приходе к тебе я емь, о женщина» и *ethortzen nintzau-k* «в приходе к тебе я емь, о мужчина». Показатель *k* (также *ki*) «инетана», т. е. мужского спряжения, одинаковый с показателем эргатива, может восходить к знаменательному слову в значении «мужчина». Предположение о развитии *-n* «инетана» из *na* *na* лсп. *doma* < *domina* (Г. Шухардт) лишено оснований.

Полученное *ne* К. Боуда сопоставляет с черк. *ne*. Исконно баскское обозначение «сына» не так легко восстановить, так как с одинаковым успехом к этому значению можно возводить и *aur*, и *sein*, и *k/hume* «дитя, ребенок», а в сложных словах вроде *emakume* «женщина» (ср. *emazte* «жена» < *ema* + *gazte* «молодая женщина») *k/hume* могло раньше значить опять-таки «ребенок». Но здесь нам на помощь приходят баскско-кавказские структурные параллели. Если сопоставить баск. *ema-kume* «женщина», раньше «девушка», буквально: «женщина-ребенок» или «женщина-сын» с груз. *kali-švili* «девушка», буквально: «женщина-сын» (то же в других кавказских, в шумерском и др.), то предпочтительней окажется значение «женщина-сын» для баск. *ema-kume*, а *kume* будет искомым обозначением. Несходное с груз. *švili* «сын», оно найдет свой возможный генетический эквивалент в груз. *qma* «юноша, солдат».

Если приходится допускать не только совпадения, но и расхождения в такой устойчивой группе слов, как термины родства, естественно ожидать их и в числительных, и в личных местоимениях. Последние исторически тесно связаны с формами спряжения и в баскском, и в кавказских языках. Поэтому совершенно прав Р. Лафон, когда он доказывает, что соответствия баскским личным местоимениям могут быть найдены в кавказских показателях спряжения, и наоборот. Но дело тут не только в местоимениях и показателях спряжения. Вопрос надо ставить шире: вправду ли мы ожидать вообще морфологических расхождений. Конечно, морфология — наиболее устойчивая часть языка. Факты показывают, что словоизменительная морфология почти непропиацаема для иноязычных влияний. В этом смысле прав был А. Мейе, когда называл ее *système fermé* («замкнутой системой»). Однако она пополняется и вырастает из определенного — весьма широкого в баскском и кавказских языках — круга слов. Перед ними она не замкнута. Следовательно, будучи устойчивой, она подвижна. А так как ее движение совершается непрерывно, какая-то часть морфологии в разошедшихся родственных языках различна. Эта часть тем больше, чем дальше разошлись языки.

Баскский и кавказские языки, если они из одного корня, разошлись так далеко, что мы должны ожидать значительных морфологических расхождений. Их пути многообразны. При общих тенденциях развития, но при различной потенциальной лексической базе грамматики могут приобрести одинаковое грамматическое значение однозначные, но не родственные слова. Возможно, что такой случай мы и наблюдаем в использовании слов в значении «голова» для выражения возвратности в баскском и кавказских языках. Но, с другой стороны, при известной общности лексической базы одно и то же слово может получить различные грамматические значения в результате различных тенденций развития. Возможно, что такой случай мы и наблюдаем в грамматическом использовании слова *gan* («место» —?) в баскском и кавказских языках. Баскские послелоги *-gan* «в, у», *-ganik*, *-gandik* «из», *-gatik* «из за», *-gana* (t) «к» Л. Л. Бонапарт, Г. Шухардт, Р. М. де Аскуе возводили к ром. *ca* < *casa* «дом», ср. франц. *chez* «у» < лат. *casa*. К. К. Уленбек, однако, настаивал на форме *gan* как исходной.

В 1933 г. Р. Лафон привлек к сравнению груз. *-gan* «из» (*pir-isa-gan* «изо-рта», *dilit-gan*, *dilid-gan*, *dilidan* «с утра», *gan-vida* «он вышел» при *mo-vida* «он приходит»), реликтивное груз. мигр. *gan-i* «ширина», также «сторона» (*gan-se vtovob*, *ma gan-iše viteuk* «я оставляю его в стороне»), *or-gan-it* «с двух сторон»), чечен., ингуш., бацб. *ge*, *ga*, *go* — неподвижный элемент некоторых падежей, удинск. *ga* «место» (из *gan*, ср. род. падеж *gan-ej*, дат. падеж *gan-u*). После этого романское происхождение баскских послелогов оказалось под большим сомнением. Правда, функционально

они смыкаются отчасти с романскими образованиями типа франц. *chez* и отличаются от кавказских образований, материально сходных. Но это можно объяснить разницей путей граматизации одного и того же слова, которое не только у басков, но и на Кавказе совсем недавно — однако до распада кавказской области — употреблялось как знаменательное.

Из сказанного следует вывод: баскско-кавказское родство возможно. Утверждение, что его нет, так же преждевременно, как и утверждение, что оно есть.

*

Возможно ли родство баскского с древневосточными языками? Историческая наука устанавливает преемственную связь древнейших передне- и малоазийских культур с культурами Кавказа. Географический путь от Пиренеев к Кавказу по берегу Средиземного моря пролетает через Малую и Переднюю Азию. Если баски имеют отношение к кавказцам, они должны быть исторически связаны и с Древним Востоком.

Действительно, некоторые сходные культы (подземных чудовищ и т. п.) археологически выявляются на Древнем Востоке и в Пиренеях. Особенно, разительное сходство с пиренейской культурой обнаруживает некоторый материал в западной части Передней Азии. Речь идет прежде всего о находках 1928—1931 гг. в Палестине экспедиции парижского Института палеонтологии человека¹. Характерно, что места этих находок совпадают с местами, где отмечается (И. М. Дьяконов) появление хурритской ономастики во II тысячелетии до н. э.

Языковеды в свою очередь допускают, хотя и не без оговорок, — особенно значительных в отношении шумерского и эламского, — возможность родства кавказских и древневосточных языков. Так как последние составляют промежуточное звено между баскским и кавказскими языками и представляют собой древний памятник предполагаемой кавказо-древневосточной общности, методически правильной было бы сопоставлять баскский прежде всего с древневосточными, а не прямо с кавказскими языками. Между тем до сих пор ученые минуя древневосточные языки на пути от басков к Кавказу (нам известны только три опыта: Г. Винклера, А. Г. Сейса, К. Боуда²).

А между тем, хотя выше мы подчеркивали недостатки древневосточного материала, не следует забывать, что все же перед нами древняя письменность и что мы вправе ожидать от нее некоторых указаний.

Просматривая древневосточный материал, опубликованный И. М. Дьяконовым в его дискуссионной статье, басколог не может пройти мимо ряда фактов. Внимание привлекают прежде всего термины родства. Правда, баск. *aita* — шумер. *a*, *ad(a)* — хуррит. *aitai* — элам. *atta* «отец»; баск. *ama* — шумер. *ama* — хуррит. *amma* — элам. *amma* «мать» не удивят нас, так как эти термины одинаковы во множестве языков³. Баск. *ab,pa* — груз.

¹ См. «Illustrated London News» 5 XI 33, а также Valle de Lersundi, Descubrimiento interesante en Palestina, «Revue internationale des études basques», t. XXIV, № 1, 1933.

² Впрочем можно упоминать в этой связи К. Оштира, И. Карста, Э. Боелля, А. Тромбетти, Н. Я. Марра.

³ Их связь может быть семантически прямой: ср. хет.-несит. *attas* — греч. ἄττα — лат. *atta* — гот. *aita* — алб. *at* — ирл. *aite* — русск. *om-ec* < **att* — турец. *ata* «отец» и т. п. (И. М. Дьяконов), или обратной: ср. др.-инд. *atta* «мать», *attih* «старшая сестра» — этр. *ati* «мать» (В. Георгиев), а также шумер. *ammati* «дед» (при *amma* «мать») — груз. *tata* «отец». Возможно, что в основе груз. *deda* «мать» лежит форма, которая в других языках имеет значение «отец». Характерно, что нем. *Vaterland*, русск. *отчизна* в грузинском находят соответствия в сложных от *deda* «мать», которое образует также слова «столица», «родной язык» и т. п. (см. К. Датикашвили, Грузинско-русский словарь, т. 1, Тбилиси, 1953, стр. 672 [на груз. яз.])

babua (см. выше) — шумер. *pab* «старший дядя по отцу, дед» тоже как будто находят отзвук в других языках¹. Но хуррит. *šala*, урарт. *šila* «дочь» есть уже специфичный термин, как и хуррит. *ela* «сестра», баск. *ala-ba* «дочь», *ala-r-gun* «вдова», *ill-oba* «внук, внучка, племянник, племянница». Согласно А. Кампиону и Гарате, баск. *ala-* значило «женщина». Баск. *ala-ba* «дочь» значит дословно «родственник, родственница *al'*ы». Баск. *illo-ba* содержит вторично удвоенное *ll* (под влиянием *i*), а *oba* в нем есть вариант *aba* (см. выше). Его исходная форма **ila-oba*, а дословное значение «родственник, родственница *il'*ы». В баскских диалектах широко известно соответствие *a — e — i*. Чередование *a — i* наблюдаем в хуррит. *šala* «дочь» — урарт. *šila* «дочь». Есть, следовательно, основания связывать баск. **ala-*, **ila-* («женщина») с хуррит. *ela* «сестра», *šala* «дочь», урарт. *šila* «дочь», рассматривая *š* в последних двух как остаток более древнего начального согласного, общего для всей группы. Семантическое обоснование не составит затруднений. Другое совпадение: хуррит. *a'ti* «жена, женщина» — баск. *aiz-ra* «сестра сестры», буквально: «родственница женщины» (ср. для значения последнего баск. *arreba* «сестра брата», буквально: «родственница мужчины»). Биск. *aizta* «сестра сестры» по своему *t* ближе к хуррит. *a'ti*, но в основе его лежит тот же элемент *aiz*. Биск. *aizto* «старуха», вероятно, относится сюда же. Согласно Гарате, элемент *aizt* «женщина» имеем также в баск. *urr-itz-a* «самка», *ug-atz* «sinum mulieris». Еще одно совпадение: баск. *ana-i* «брат брата» — хуррит. *šena* «брат», которые сопоставимы так же, как хуррит. *šala* — баск. *ala*.

Не менее любопытны совпадения в анатомических терминах. Сходство баск. *buru* «голова» (груз. *buru-li* «крыша») — кассит. *barhu* «голова» еще ни о чем не говорит. Но в связи с баск. *b-egi* «глаз» — шумер. *igi* «глаз», баск. *be-so* «рука» — шумер. *su* «рука, кисть», баск. *aho* «рот» — шумер. *ka* «рот» оно может показаться не столь случайным. Особенно же разительные совпадения находит в древневосточных языках одна баскско-кавказская параллель из приведенных выше, которая могла показаться сначала несколько проблематичной. Речь идет о баск. **hal* «рука» (из *ar-tu* «брат», *al* «мочь», раньше «мощь, сила») — чанск. *ka* «ветвь» — мингр. *ka* «ветвь» — др.-арм. лит. **kal* «рука» (из *kal-n-um* «брат»). Семантическая структура элам. *ki/urpi* «рука, сторона, сила» заставляет вспомнить о том, что баск. *al* содержится также в *al-de* «бок, сторона» (*d/te* — суффикс, ср. *elur-te* «лавина» от *elur* «снег») и *al-bo* «сторона, бок». А затем находим и материальное сходство для баскского слова в шумер. *à* «рука, бок, сила», хуррит. урарт. *ar* «давать».

Можно еще отметить: баск. *urì* «город, поселение» — шумер. *uru* «поселение», баск. *et'e* «дом» — шумер. *é, e'* «дом», баск. *ibi* «ручей» и т. п. — шумер. *id(i)* «река, канал» (с учетом *b-d* в баскских диалектах), баск. *gudu* «война» — урарт. *gunu-*e** «битва» (с учетом *d-n* в баскских диалектах), баск. *egi-n* «делать» — шумер. *ag(a)* «делать» — хуррит. *ag* «направлять», баск. *jin* «приходить» — шумер. *gin* «ходить», баск. *e-tor-ri* «приходить» — шумер. *tu(r)* «входить», баск. *hari* «действовать, работать» — элам. *hali* «делать, работать», баск. *amar* «десять» — хуррит. *eman* «десять». Этот список можно было бы увеличить.

Подводя итог, отметим, что, по нашему мнению, возможно родство баскского не только с кавказскими, но и с хаттеким, хурри-урартским

¹ Ср. арм. *pap* «дед» — этр. *papid* в основе этр. *papals* «впук» — лат. *pater* «отец» — также и. -е **au* > лат. *avus* «дед» и др. (см. о лаг. *pa-ter* и о семантических закономерностях: А. В. Исаченко, Индоевропейская и славянская терминология родства в свете марксистского языковедения «Slavia», гоён. XXII, сес. 1, 1953).

языками, а также с шумерским и эламским в той мере, в какой эти последние сохранили «кавказский фермент». Об этом говорит лингвистический материал.

*

Что касается исторических данных, то, помимо указанных параллелей между Басконией и Древним Востоком, можно было бы привести некоторый этнографический и антропологический баскско-кавказский материал. Мы ограничимся только указанием на еще один общий для басков и кавказцев культ, которому отвечает и общность соответствующих слов. Имеется в виду культ дуба и сопоставление баск. (*h*)aritz «дуб» с арм. доиндоевр. (*h*)arit в *Ardo-arit* «Медвежья дубрава» и в *Harita-Vank* «Священный Дубняк — монастырь Арицпа»¹.

В отношении же индоевропейских «барьеров» на пути от Пиренеев к Кавказу, можно отметить, что для отдаленных времен, о которых идет речь, столь же возможны «прерывы» в распространении той или иной общности, как и ее непрерывность, и тезис о древнем этно-лингвистическом многообразии в Средиземноморье не противоречит положению о родстве отдельных древнейших нехамитических и неиндоевропейских групп местного населения, более или менее удаленных друг от друга и от берега моря. Если древние хамитические и индоевропейские племена Пиренейского полуострова были родственны таким же племенам Древнего Востока, то почему не могли быть родственны между собой отличные от них пиренейские и древневосточные племена?

Антропология решительно отказывается отождествлять пиренейского и кроманьонского человека. Этническая «пестрота» в Западной Европе восходит, надо полагать, к палеолиту. Но весьма древними являются связи баскского лигурского района и гецуэзской лигурской территории. От басков к итальянским лигурам тянется через южную Францию топонимика на *-sk(o)*, т. е. на тот суффикс, который содержит баск. *eu-sko* «баск», *eu-zh-i* «солнце»: *Venosc*, *Albiosc*, *Iantosque*, *Vichosc*, *Venasque*, *Salasc*, *Gréasque* и т. п.

Вместе с тем некоторые балканские этнонимы вполне могут восходить не к индоевропейскому слою, хотя последний весьма древен, как показал это акад. В. Георгиев. В порядке обсуждения отметим следующий факт. Греч. *Εβρος* относится к той реке, протекавшей на фрико-илирийской территории (впоследствии Верхняя Мёззия, ныне Югославия), которая в современном сербо-хорватском называется *Ibar* (Верхний и Нижний). Это название не принадлежит, конечно, сербо-хорватскому, как и *Kopačnik*, *Visitor* и т. п. поблизости от Ибара². Парадоксальным образом *Εβρος* Геродота, Еврипида и др. напоминает современное исп. *Ebro*, а современное сербо-хорв. *Ibar*, наоборот, — др.-пирен. **Ibar*. Не предлагая пока объяснения этому противоречию, мы все же позволим себе предположить, что сербо-хорватская форма восходит также к глубокой древности, тем более, что балканский этноним *Albani*, вероятно, не случайно совпадает с баск. *Alba* и с кавказским *Albania*. Это вовсе не значит, что мы видим в албанцах басков или кавказцев. Это значит только, что на Балканах под старыми этнонимами могли «укрывать» новые слои населения, подобно древневосточным хеттам (не хаттам) или пиренейским иберам (не ибарам!). Проблематичность и неясность остатков доин-

¹ Эта этимология принадлежит Н. Я. Марру. В. Георгиев приводит только его сравнение баск. (*h*)aritz с арм. индоевр. *kalin* «жолудь», *kalni* «дуб», которое ошибочно.

² Ср. рум. *kapaci* «деревя», *visitor* «сновидец» (см. В. Ф. Ш и ш м а р е в, Романские языки юго-восточной Европы и национальный язык Молдавской ССР, сб. «Вопросы молдавского языкознания», М., 1953, стр. 91).

доевропейского субстрата на Балканах не означает еще, что этого субстрата здесь не было.

Вполне возможно также, что родственные предки басков и кавказцев осев местами по берегам Средиземного моря на всем их протяжении еще до прихода хамито-семитских и индоевропейских племен, составили основную «плетвь» в первоначальной этнической мозаике Средиземноморья.

Это допущение не означает еще, что мы приветствуем скудно аргументированные построения Й. Губшмида, соглашаемся полностью с теорией третьего этнического элемента или сочувствуем теории северогерманской прародины индоевропейцев. Использование фактов, говорящих о возможности определенной средиземноморской общности, расистами. Й. Губшмидом или Н. Я. Марром не может отпугнуть нас от самих фактов. Противопоставив теории германской прародины, например, теорию восточной прародины (вслед за французскими и некоторыми немецкими языковедами), более надежную, чем положение об исконности индоевропейцев на Средиземном море, мы должны всячески подчеркивать древность индоевропейских племен на его берегах, их многочисленность (этруски, или их «верхний слой» — пеласги, лидийцы и др.), а вместе с тем строить объективные предположения и о связях других народов этой области.

Допуская возможность родства баскского с кавказскими и древневосточными языками, мы должны вместе с тем, подчеркнуть, что это родство остается гипотезой. Какой материал может служить ныне — после пересмотра баскско-кавказских сопоставлений А. Тромбетти и его западноевропейских современников — для того, чтобы говорить об этом родстве как о доказанном? 35 морфологических сближений, суммированных Р. Лафоном, 50 лексических сопоставлений Р. Лафона и К. Уленбека, 350 лексических сопоставлений К. Боуда и несколько — Й. Губшмида. Необходимо учитывать и некоторые фонетические совпадения (не соответствия!), большие, подчас разительные, синтаксические, как и вообще структурные «схождения». Надо учитывать также, что из забытых ныне материалов Н. Я. Марра должна быть взята и присоединена сюда известная часть его этимологий. Но из 350 сравнений К. Боуда приемлемы только некоторые (баск. *eder* «красивый» — сван. *ezer*)¹. Допустим, что их число достигает половины всей суммы (350). При грубом подсчете материальный результат работы выразится в цифрах: 35—40 — морфология (Лафон—Марр), 250—300 — лексика (Уленбек—Лафон—Боуда—Марр — может быть, Губшмид). Учтем, что в большинстве случаев совпадения единичны (баск.—лак., баск.—убых.) и приходится на горские кавказские языки, которых много и которые весьма чисты в их генетических связях. Учтем, что даже в тех случаях, когда сопоставления не единичны (баск.—груз.—сван.—мингр.—удин. и т. д.) и приходится на картвельскую общность, элемент сомнения велик, так как кавказские языки не приведены к общему знаменателю. В ходе реконструкции их истории может оказаться, что нити, которые протянутся от данной формы в другие кавказские языки, приведут к архетипам, совершенно отличным от привлекаемой ныне баскской формы. Учтем, что мы не знаем ни фонетических соответствий (большинство попыток К. Боуда вывести их неудачно), ни закономерностей лексических и грамматических переходов. Состояние работы бесконечно далеко от построения сравнительной баскско-кавказской грамматики и этимологического словаря. Между тем, чтобы утвер-

¹ См. В. Георгиев, Вопросы родства средиземноморских языков, стр. 47. Здесь, правда, допущены в критике некоторые ошибки (баск. *habe* — ср. лак. *xjabi* «дерево» — значит не только «балка», но в диалектах также «дерево, поросль» и т. п.), однако это не меняет существа дела.

ждать родство, нужны такая грамматика и такой словарь. Поскольку их нет, баскско-кавказское родство остается гипотезой.

*

Гипотезы различаются по степени вероятности, которая зависит от количества «опорных» фактов. Гипотеза картвельско-горского кавказского родства весьма вероятна, поскольку она опирается на значительное число фактов. Гипотеза кавказо-ацтекского родства почти невероятна, так как она опирается на мизерное число фактов. Гипотеза баскско-кавказского родства менее вероятна, чем первая, гораздо больше, чем вторая и более, чем другие версии баскского родства, если даже оставаться на лингвистической почве¹.

Но можно ли считать разработку этой гипотезы основной задачей кавказоведа, востоковеда и басколога в настоящее время? Задачи определяются не только степенью вероятности возникающих гипотез, но и характером и состоянием изученности материала. Учитывая трудности работы в баскско-кавказской области, о которых мы говорили выше, и состояние конкретного изучения, мы должны присоединиться к мнению, высказанному еще А. Мейе: выяснение баскско-кавказского родства нельзя считать теперь основной задачей. Возможно, что в недалеком будущем баскско-кавказские сопоставления станут более плодотворными. Тогда можно будет говорить о расширении масштабов этой работы. Пока что можно говорить о баскско-кавказской гипотезе только как о второстепенной задаче, как думает, между прочим, и Р. Лафон.

Основные задачи остаются различными в различных привлекаемых областях исследования, что не снимает необходимости широких сопоставлений. Для баскологии, в частности, основная задача состоит пока в построении этимологического словаря и сравнительно-исторической грамматики баскских диалектов на их собственном материале. И эта задача неотделима от изучения внешней, романской истории баскского языка, на которой проф. А. С. Чикобава заострил внимание языковедов в 1950 г., указав, что «... „схождение“ баскского с древним латинским и новыми романскими языками на протяжении по меньшей мере дв у х т ы с я ч л е т (разрядка моя. —Ю. З.) не сделало баскский язык родственным с испанским или французским языками»².

¹ Финно-угорская версия опирается в основном на словарные совпадения, североамериканская — на типологические, австронезийская — на некоторые морфологические. Кавказская версия базируется на фактах различного рода, не говоря уже о их количестве.

² Арн. Чикобава, О некоторых вопросах советского языковедения, «Правда» 9 V 50.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Л. С. КОВТУН

О ЗНАЧЕНИИ СЛОВА

Вопрос о соотношении значения слова и понятия — это вопрос о специфике слова как языковой категории в отличие от понятия — категории мыслительной. Исходя из положения о неразрывной связи языка и мышления, советское языковедение признает взаимоотношения между понятием и словом также непосредственными и неразрывными. Однако единство значения слова и понятия не означает их тождества.

Среди отличий, которые можно обнаружить у этих двух категорий, чаще всего указывают на возможность выражения понятия не только словом, но и группой слов (ср. *ватманская бумага, красное вино, земной шар*), а также на наличие в значении слова различных экспрессивных оттенков (ср. *умереть — скончаться, хоронить — погребать*). Естественно, что эти два признака нельзя признать основными. Необходимо прежде всего отметить, что специфика значения слова проявляется в тех его свойствах, которые зависят от принадлежности слова к определенной лексической системе. «Слово относится к действительности, отражает ее и выражает свои значения не само по себе, а лишь через всю систему значений, образующих семантический строй языка»¹, — пишет акад. В. В. Виноградов, указывая при этом, что «слова и их значения в том или ином общенародном, общенациональном языке образуют внутренне связанную, единую и общую для всех членов общества систему»².

Исследователи вопроса о соотношении языка и мышления отмечают, что неразрывность их связи обеспечивает не только возможность общения внутри данного общества, говорящего на одном и том же языке, но также возможность общения между народами, говорящими на разных языках. Вместе с тем переводы с одних языков на другие служат фактическим доказательством своеобразия различных лексических систем³. «Слова одного языка в большинстве случаев не просто соответствуют словам другого языка, а находятся с ними в весьма сложных и многообразных отношениях»⁴. Специфичность этих отношений — результат развития лексического состава языка на самобытной для каждого из языков основе. Новые слова и новые значения слов создаются в соответствии с требованиями той языковой традиции, которая уже существует в известный исторический период у данного народа.

¹ В. В. Виноградов, О некоторых вопросах русской исторической лексикологии, ИАН ОЛЯ, 1953, вып. 3, стр. 187.

² Там же, стр. 186.

³ См.: Р. Гинзбург, Проблема значения слова в свете сталинского учения о языке, «Ин. яз. в шк.», 1952, № 4, стр. 31; А. Г. Елисеева, К вопросу о сопоставлении лексических единиц разных языков. Автореф. канд. дисс., М., 1953.

⁴ Л. В. Щерба, Предисловие к «Русско-французскому словарю» (М., 1939, стр. 3).

Формулируя условия языкового выявления значений слов, В. А. Звегинцев отмечает, что «в плане чисто лингвистическом значение слова определяется его потенциально возможными сочетаниями с другими словами...»¹ «Совокупность таких возможных сочетаний слова... фактически и обуславливает существование лексического значения как объективно существующего явления или факта системы языка»². Определяя особенности различных типов значений слов, В. В. Виноградов указывает на целый ряд их чисто языковых признаков: на относительную свободу одних и фразеологическую связанность других, на конструктивную обусловленность третьих, на функционально-синтаксическую закрепленность четвертых и пр.³ Все эти свойства значения слова представляют собой проявление характерных черт той лексической системы, к которой данное слово принадлежит. Они не зависят от понятия, реализуемого значением слова, являются языковыми особенностями значения.

Вместе с тем в нашей научной литературе продолжает дискутироваться вопрос о том, каковы взаимоотношения между понятием и значением слова с точки зрения их мыслительного содержания. Адекватны ли они? Исследователи этого вопроса единодушно признают, что в основе значения слова лежит понятие, однако стремятся найти между ними отличия, выдвигая то один, то другой аргумент в доказательство тезиса: значение слова не тождественно понятию. Специфичность этих категорий, считают исследователи, и заключается в отсутствии полного соответствия между смыслом, выражаемым словом, и понятием, с которым слово связано.

В некоторых из языковедческих работ, опубликованных в последнее время, само положение о неразрывной связи слова и понятия подвергнуто необоснованному ограничению. Высказываются сомнения по поводу того, что всякое слово можно и должно признать выражающим понятие. На место понятия предлагают поставить представление, с которым якобы и связано слово до тех пор, пока не сформируется понятие⁴. Такие положения нельзя признать верными именно в силу того, что качественным отличием понятия от представления является его словесное выражение.

Понятия, хотя и возникают на основе чувственных образов и поэтому не могут быть от них оторваны, однако отличаются от ощущений, восприятий и представлений как новая ступень познания. В представлениях, отмечают психологи, осуществляется переход от ощущения к понятию. В отличие от ощущений и восприятий, непосредственно отражающих предметы и процессы объективной реальности, которые в данный момент действуют на органы чувств, представления являются собой воспроизведенные и переработанные образы этих предметов. Поэтому представления со-

¹ В. А. Звегинцев, О принципах семасиологических исследований. Автореф. докт. дисс., М., 1954, стр. 9.

² Там же.

³ В. В. Виноградов, Основные типы лексических значений слов, ВЯ, 1953, № 5.

⁴ Такова, например, точка зрения Л. А. Булаховского. Он пишет: «Много существующих в языках слов, если взять их сами по себе, не выражают ни верных, ни неверных понятий. Они только ступени к возможному познанию вещей, качеств и явлений мира и нуждаются на пути к этому познанию в возможных уточнениях при помощи других слов-знаков, других понятий» («Введение в языковедение», ч. II, М., Учпедгиз, 1953, стр. 21). Или в другом месте той же книги: «...Нельзя упускать из виду некоторой забывчивости называния словами языка тех представлений и вырабатываемых из их отношений понятий, которую мы наблюдаем в ряде случаев в языках» (указ. соч., стр. 20). Ср. еще высказывание С. А. Фессаловичского: Для лингвиста этот материал, заключенный в слове, — смысловое значение, для логика и психолога — в одном случае понятие, в другом — представление или что-либо иное» («Обзор литературы по вопросам связи языка и мышления», ВЯ, 1953, № 3, стр. 126).

держат в себе известный элемент обобщения. Однако они не являются формой логического познания — это чувственно-наглядные образы действительности.

Вскрыть наличие и характер качественной разницы между представлениями и понятиями с философской точки зрения представляется чрезвычайно важным. «Язык есть непосредственная действительность мысли» (Маркс). Марксистско-ленинская философия учит, что «формы логического мышления — понятие, суждение, умозаключение отличаются качественно от форм чувственного познания — ощущения, восприятия, представления прежде всего тем, что они находят свое материальное выражение в средствах языка»¹. Существо различия между представлением и понятием определено В. И. Лениным: «Представление *б л и ж е* к реальности, чем мышление? И да и нет. Представление не может схватить движения в *ц е л о м*, например, не схватывает движения с быстротой 300.000 км. в 1 секунду, а *мышление* схватывает и должно схватить»².

Буржуазная (ассоциационистическая) психология пыталась свести всю психическую жизнь человека, в том числе мышление и речь, к ассоциации между представлениями, к механическому сцеплению представлений. Прямым результатом этого явилось то, что она вообще не замечала своеобразия понятийного мышления. «Даже там, где психологи-ассоциационисты рассуждают о понятии, они фактически имеют в виду не понятие, а общее представление. Создавалось положение вещей, при котором понятие как опосредствованное отражение действительности оставалось в пренебрежении»³. Этим положениям противостоит точка зрения советской психологии и физиологии, опирающейся на учение акад. И. П. Павлова о второй сигнальной системе. «Не случайно, что И. П. Павлов связал развитие второй сигнальной системы именно со словом, а не с каким-нибудь другим способом обозначения предметов или действий, скажем с жестами. „Слово сделало нас людьми“, — писал И. П. Павлов. Это значит, что он считал слово единственным фактором, могущим быть материальной оболочкой мысли»⁴.

Таким образом, понятие не существует вне слова; слово, вызванное «необходимостью большего общения между индивидуумами человеческой группы»⁵, закрепляет и выражает понятие, представляя собой специфически человеческий способ отражения действительности. «Процесс познания предмета или явления не начинается сразу с понятия. Предмет обычно известен задолго до того, как о нем образуется понятие в его чувственно воспринимаемой форме или непосредственно, или через его чувственно воспринимаемые проявления»⁶. Появление закрепленного в слове понятия — это момент качественного перехода от отсутствия понятия о каком-либо классе явлений действительности к его возникновению и к его дальнейшей общественной жизни.

¹ Л. Г. Ворониц, Понятие и слово в свете марксистско-ленинского учения о единстве мышления и языка. Автореф. канд. дисс., Киев, 1954, стр. 10.

² В. И. Ленин, Философские тетради, Госполитиздат, 1947, стр. 199.

³ М. Г. Колбая, Роль слова в процессе мышления. Автореф. канд. дисс., Тбилиси, 1953, стр. 4.

⁴ Там же, стр. 17. Проблема качественного отличия мышления от чувственного познания и вместе с тем вопрос о неразрывной связи слова и понятия рассматривается в целом ряде философских диссертаций (см.: Е. А. Фролова, О связи языка и мышления. Автореф. канд. дисс., М., 1954; Л. М. Архангельский, Марксизм-ленинизм о единстве языка и мышления. Автореф. канд. дисс., Свердловск, 1953; В. Д. Скрыпник, Марксизм-ленинизм о неразрывной связи языка и мышления. Автореф. канд. дисс., М., 1954).

⁵ «Павловские среды», т. I, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949, стр. 238.

⁶ Л. Г. Ворониц, указ. соч., стр. 5.

Встает вопрос, каковы взаимоотношения между словом и представлением. Несомненно, что слово может вызвать и вызывает у говорящего представление о предмете¹, однако для существования представлений слова вовсе не необходимы. Кроме того, представление о предмете у каждого говорящего связано с его индивидуальным опытом, а язык — это орудие общения, поэтому слова и выражают не представления, а понятия, которые являются результатом коллективного опыта. «...Понятия высший продукт мозга, высшего продукта материи»², — писал В. И. Ленин, подчеркивая, что понятие является высшей формой отражения сознанием действительности. В качестве термина логики понятие определяется в нашей науке как категория мысли, абстрагирующая общие и существенные признаки какого-либо класса явлений, — копия отраженной в нашем сознании действительности.

В «Философских тетрадах» Ленин подчеркивает, что «человеческие понятия субъективны в своей абстрактности, оторванности, но объективны в целом, в процессе, ... в источнике»³. Из общественной природы понятия вытекает и общественный характер слова. Неразрывная связь между понятием и словом⁴ должна не ограничиваться, а всячески подчеркиваться в полном соответствии с указаниями классиков марксизма. «Чувства показывают реальность; мысль и слово — общее»⁵. «В языке есть только общее»⁶. Эти ленинские положения вскрывают самую суть взаимосвязи слова и понятия.

*

Значение слова входит в структуру слова на таких же основаниях, как и его звучание. Оно является «ингредиентом слова»⁷.

Лексическое значение слова нередко определяют как соотносительность, связь слова с миром явлений, вещей и предметов, процессов и т. п.⁸. Неполноценность такого определения со всей убедительностью доказана в цитированной работе А. И. Смирницкого. «Ведь при таком понимании все слова оказались бы имеющими одно и то же значение, так как самая связь звучания слова с содержанием обозначаемого предмета, явления, понятия, по крайней мере в основном и общем, одна и та же...»⁹ Между тем «...каждое слово имеет свое особое значение (или свою систему значений) в зависимости от того, с чем связано его звучание, а не от того, что это звучание вообще связано с каким-то „содержанием“»¹⁰.

А. И. Смирницкий предлагает следующее определение значения слова: «Итак, значение слова есть известное отображение предмета, явления или отношения в сознании (или аналогичное по своему характеру психическое образование, конструированное из отображений отдельных элементов действительности), входящее в структуру слова в качестве так называемой внутренней его стороны, по отношению к которой звучание слова выступает как материальная оболочка, необходимая не только для

¹ Со способностью слова вызывать представления, т. е. живые наглядные образы реальной действительности, очевидно, связана образная сторона языка.

² В. И. Ленин, указ. соч., стр. 143.

³ Там же, стр. 180.

⁴ Оставляю в стороне вопрос о междометиях, потому что он связан с другой, не освещаемой в статье проблемой, — определением понятия слова.

⁵ В. И. Ленин, указ. соч., стр. 256.

⁶ Там же, стр. 258.

⁷ См. А. И. Смирницкий, Значение слова, ВЯ, 1955, № 2.

⁸ См. Е. М. Галкина-Федорук, Современный русский язык. Лексика. (Курс лекций), Изд-во Моск. ун-та, 1954, стр. 45.

⁹ А. И. Смирницкий, указ. соч., стр. 82.

¹⁰ Там же.

выражения значения и для сообщения его другим людям, но и для самого его возникновения, формирования, существования и развития¹. Это определение следует признать выражающим существо термина.

Значение слова определено здесь как отображение предметов и явлений реального мира². Если уточнить или дополнить это определение, указав, во-первых, на общественный характер такого отображения, вытекающий из общественной природы языка, и, во-вторых, на то, что значение слова отражает не отдельные предметы или явления, а их классы, обобщенные нашим сознанием («всякое слово обобщает». В. И. Ленин), то такая характеристика значения приведет к неизбежному выводу о единстве значения слова и понятия³. Необходимо теперь решить, есть ли разница в характере отображения действительности значением слова и понятием.

*

В связи с рассмотрением названной проблемы особое значение приобретает вопрос о соотношении научного понятия и значения слова. Некоторые авторы подвергают сомнению способность слова: а) адекватно передавать содержание понятия, т. е. выражать в своем значении всю совокупность общих и существенных признаков того класса предметов действительности, о котором сложилось понятие; б) развиваться в своем значении, обогащаясь вместе с развитием понятия по мере накопления и уточнения данных общественного опыта о названном словом классе предметов и явлений действительности.

Такова в основном позиция Д. П. Горского, который утверждает, что на первом этапе формирования общих понятий они адекватны значению слова, но «вслед за этим начинается второй этап образования научного понятия — этап раскрытия содержания, раскрытия природы, сущности абстрагированного нами общего свойства»⁴. «Употребление каким-либо человеком слов *кошка*, *лошадь* и др., — пишет Д. П. Горский, — свидетельствует о наличии у человека соответствующих понятий об этих животных, о том, что этот человек умеет отличать данных животных от всех других животных». И добавляет затем: «Но отличие это может производиться одним человеком по чисто внешним общим признакам (окраска,

¹ А. И. Смирницкий, указ. соч., стр. 89.

² Определение значения слова как отражения действительности уже не раз встречалось в нашей научной литературе, однако не лингвистического, а философского направления. Наиболее интересными представляются в этом смысле высказывания Л. Г. Ворониной и П. С. Попова. «Основными формами отношения слова к действительности являются отношения обозначения и отражения словом действительности. Следовательно, совокупность отношений слова к предмету, к действительности как обозначения предмета, так и отражения предмета и будет значением слова» (Л. Г. Воронина, указ. соч., стр. 7—8). «Простое слово есть кратчайший отрезок речи, обладающий самостоятельным смыслом, который играет роль значения как отражения того или иного факта или явления действительности как внешней, так и психической» (П. С. Попов, Понятие слова в свете марксистского учения о непосредственной связи языка и мышления, «Вестник Моск. ун-та», № 4, Серия обществ. наук, вып. 2, 1954, стр. 77; разрядка моя. — Л. К.).

³ Рассмотрение значения слова и понятия в качестве явлений, самостоятельно сосуществующих в слове, является неправомерным нарушением их единства. Ср. высказывания С. А. Фессалоницкого: «Слово есть нечто, вмещающее в себе с о с у щ е с т в у щ и е смысловое значение, понятия, представления, образы, эмоции и пр.» «В слове происходят взаимные трансформации смыслового значения в понятия или представления и наоборот; имеют место и другие взаимопереходы» («Обзор литературы по вопросам связи языка и мышления», ВЯ, 1953, № 3, стр. 126; разрядка моя. — Л. К.).

⁴ Д. П. Горский, К вопросу об образовании и развитии понятий, ВФ, 1952, № 4, стр. 75.

форма и т. д.), другим же — по существенным признакам, характеризующим положение этих животных в биологической классификации. В первом случае мы не будем еще иметь дело с научным понятием, это будет, по существу, понятие, тождественное со значением слова; во втором случае мы будем иметь научное понятие»¹. Итак, Д. П. Горский отличает научное понятие о каком-либо явлении действительности от понятия, которое первоначально складывается о нем в обществе и которое тождественно, по его мнению, значению слова. Следовательно, для автора существует не общепринятое противопоставление понятия и значения слова, как категорий мысли и языка, а противопоставление стадий развития понятия, на одной из которых понятие совпадает со значением слова, а на другой с ним расходится, отличаясь от него богатством содержания.

В другой своей статье² Д. П. Горский, развивая эту мысль, усматривает разницу между лексическим значением слова и понятием³ в том, что в значение слова входит лишь группа признаков, достаточная для того, чтобы определить объем понятия, т. е. отграничить от других класс предметов, обобщенных в данном понятии. «Дело в том, что понятия фиксируют результаты нашей познавательной деятельности, являются итогом наших знаний о тех или иных предметах», — пишет он. — «Поэтому в понятиях о том или ином классе предметов отражена вся совокупность общих и существенных признаков этих предметов во всей сложности связей и отношений этих признаков, познанных наукой на данном определенном этапе ее развития». «В значение же слов, — продолжает Д. П. Горский, — ...входит не вся совокупность общих и существенных признаков во всех их сложных связях и взаимоотношениях, а лишь общие и отличительные признаки, то есть такие признаки, которые позволяют нам отличать одну группу предметов от других групп предметов»⁴.

Указывая на то, что слова *химический элемент*, *атом*, *вид* и другие в XIX в. заключали в себе содержание, отличное от того, которое мы вкладываем в них в настоящее время, автор утверждает, что значения этих слов остались неизменными. Отсюда видно, что связывая значение слова по преимуществу с объемом понятия, автор не считает необходимым соотносить его с содержанием понятия, ограничивая отражение действительности в значении слова лишь отличительными чертами называемого словом класса предметов.

В связи с этим возникает общий вопрос о соотношении устойчивого и изменяемого в слове. Слова основного словарного фонда сохраняются в языке на протяжении ряда веков. Изменяются ли при этом их значения? Ответ на этот вопрос должен учитывать диалектический характер явления. Значения остаются неизменными в том смысле, что слово продолжает называть все тот же класс предметов, выделенный когда-то из числа других при возникновении о нем понятия. И в то же время они не остаются неизменными, потому что в процессе познания действительности понятия об этих классах предметов уточняются, приближаясь к сущности вещи. Поэтому, например, такие слова, как *земля*, *огонь*, *вода*, *небо*, *воздух* и т. п., в тех случаях, когда они передают научное понятие об этих явлениях, наполнены для нашего времени совсем иным содержанием в сравнении с тем, как их понимали несколько столетий тому назад. Естественно, что эти отличия проявятся прежде всего в сфере научной речи. В обы-

¹ Д. П. Горский, указ. соч., стр. 75 (разрядка моя. — Л. К.).

² Д. П. Горский, О роли языка в познании, ВФ, 1953, № 2.

³ «В данной статье имеются в виду прежде всего научные понятия», — замечает Д. П. Горский. Там же, стр. 81 (разрядка моя. — Л. К.).

⁴ Там же, стр. 81—82 (разрядка автора).

ходе те же слова продолжают передавать понятие о таких свойствах называемых ими явлений, которые истари известны человеку, так как имеют существенное значение для его быта, но для научного знания могут и не быть определяющими¹.

Слово, связанное с понятием на всем протяжении его развития, отражает процесс изменения понятия, который, как известно, отличается большой сложностью. Старые понятия иногда продолжительное время сосуществуют наряду с новыми, они вытесняются из обихода лишь по мере распространения научных знаний. Возможность различного понимания в обществе одних и тех же явлений действительности находит свое отражение в слове. Вот один из примеров.

Слово *гром* в современном русском языке имеет значение: «грохот и треск, сопровождающий молнию во время грозы». Слово *молния* при этом обозначает: «разряд атмосферного электричества в воздухе, обычно в виде огненного зигзага». Известно, что в старину разрушающая, смертоносная сила приписывалась не молнии, а грому. Это находит свое отражение в языке в виде просторечных употреблений типа: *гром зажег, громом убило*². Ср. также просторечное выражение «Разрази, убей меня гром (или громом!)» со значением божбы, заклинания. Словари пытаются описать этот факт, выделяя при основном значении слова *гром* просторечный оттенок этого значения с определением: *молния*. Однако такое описание отнюдь не является верным отражением языкового факта, в нем допущено смещение понятия и слова. Слово *гром* — не синоним и никогда не было синонимом слова *молния*. Какой смысл вкладывается говорящим в слово *гром* при таком просторечном его употреблении? Прежде всего, в ряде случаев (типа «Разрази, убей меня громом!», «Как громом ударило кого-либо») нельзя говорить о каком-либо номинативном значении слова *гром*, так как в языке это уже штамп, фразеология. В других же случаях слово *гром* передает ненаучное понимание этого явления природы, когда звукам, грохоту приписывают ту силу, которой обладают разряды атмосферного электричества — молнии.

Из сказанного явствует, что для слова вовсе не безразличны те изменения, которые происходят в содержании понятия, выражаемого его значением. Такие изменения могут привести и к чисто языковым последствиям: к известному ограничению либо расширению свободных связей слов (ср. невозможность для современного литературного, не просторечного употребления таких связей слов, как «гром зажег», «громом убило»), к превращению свободных сочетаний слова во фразеологические и пр.

Итак, в слове отражается развитие понятия. Но может ли значение слова в одинаковой мере реализовать понятие на всех этапах его развития? Как мы видели, способность слова выражать научное понятие нередко отрицается исследователями. Так, П. С. Попов, высказав верную мысль о необходимости различия понятия в широком и специально научном смысле, утверждает, что первое из них можно назвать «значением слова»³. При такой постановке вопроса приходится сделать вывод, что П. С. Попов, с одной стороны, неправомерно отождествляет понятие и значение слова, когда говорит о возможности называть одно другим, а с другой стороны, воздвигает между ними препятствие в виде противопоставления значения слова научному понятию.

¹ Ср., например, определения основных значений слов *вода, воздух, огонь, небо, земля* в «Толковом словаре русского языка» под ред. проф. Д. Н. Ушакова.

² См. примеры в «Словаре современного русского литературного языка», т. III (М.—Л., изд. АН СССР, 1954, стр. 413).

³ П. С. Попов, указ. соч., стр. 77.

Пытаясь установить отношение, существующее между научным понятием и значением слова, П. С. Попов пишет, что «значение слова может и не отражать всех необходимых и существенных признаков фиксируемого явления, но оно является носителем устоявшегося смысла в результате многомиллиардной человеческой практики, пусть и не отражающего всех существенных признаков, но все же отражающего признаки определяющие»¹. «Естественно также провести и следующее различие между научным понятием и значением слова», — указывает он далее: «И то и другое складываются в результате практической деятельности, в результате многовековой практики человеческого ума». «Тут между значением слова и понятием различия нет. Поэтому вполне закономерно признать, что в основе значений лежат существенные признаки, поскольку и значения обладают устойчивостью при объективном содержании». Различие же между значением и понятием П. С. Попов видит в том, что «в научных понятиях мы уже оперируем существенными признаками вполне осознанно, отбираем их, обобщаем, сопоставляем, выбираем именно этот, а не другой существенный признак. В значениях же слов такой дифференциации не наблюдается, слово закрепляет суммарно в своем значении словоупотребление в практике ряда поколений»².

В этих рассуждениях вызывает возражение противопоставление научного понятия значению слова вместо необходимого противоположения научного понятия понятию общенародному или бытовому, общедному, понятию «в широком смысле», по терминологии самого П. С. Попова (возможно, что надо найти для этого явления другой, более точный термин). При таком противопоставлении стало бы ясным, что значение слова может выражать и научное понятие — тогда оно будет терминологическим, и бытовое или общенародное — тогда оно будет обычным значением общенародного языка. Понятие, выражаемое значением слова, не всегда является научным, однако всякое научное понятие, раз оно существует, выражается словом или сочетанием слов, употребляемых на правах термина.

Следует учесть, что в статьях, рассматривающих философскую сторону вопроса о соотношении понятия и значения слова, подобных работам Д. П. Горского и П. С. Попова, при противопоставлении значения слова научному понятию имеется в виду не только или вернее не столько понятие, относящееся к той или другой области научных знаний, сколько научное понятие как определенная стадия познания предметов реального мира. Естественно, что при изучении соответствия смыслового содержания слова содержанию понятия этот вопрос является одним из центральных.

Воспользуемся примерами Д. П. Горского, взявшего для анализа самые обыденные, бытовые слова — *кошка* и *лошадь*. Такие слова могли существовать в языке задолго до того, как у данного народа возникла зоология — наука, изучающая животный мир, либо какая-нибудь другая из наук, занимающихся вопросами разведения и использования животных человеком. Они отражали в своих значениях общественный опыт знакомства человека с этими животными. С появлением научного знания об этих классах животных сложилось научное понятие, которое выражается значениями все тех же называющих эти классы животных слов. Объем понятия остался тем же, содержание понятия стало научным. Слово приобрело способность выражать научные знания о данном классе предметов, и эта способность получает свою реализацию в сфере научной речи. Вместе с тем в сфере бытовой речи значение слова продолжает переда-

¹ П. С. Попов, указ. соч., стр. 77.

² Там же.

вать понятие, которое выдвигает в качестве общих и существенных признаков упомянутого класса животных те из них, которые наиболее важны для быта. Эти признаки не противоречат признакам, составляющим научное понятие, но они по составу могут быть иными и менее строго определенными. Можем ли мы в данном случае говорить о разновидностях одного и того же понятия или же о равнозначных понятиях, должны решить логики.

Сопоставим для иллюстрации высказанного положения определение значения слова *лошадь* в двух различных типах словаря: толковом и энциклопедическом.

Общие словари русского литературного языка удовлетворяются следующим толкованием его значения: «лошадь — крупное домашнее животное, ходящее в упряжи или под седлом», что вполне соответствует обычным, бытовым употреблением этого слова, когда для его понимания вовсе не требуется знать всех тех существенных признаков, которые характеризуют положение этого животного в биологической классификации. Раскрывая содержание значения слова как выразителя научного понятия о предмете, энциклопедический словарь дает о нем иные, гораздо более подробные сведения, чем толковый словарь общелитературного языка. Ср., например, статью на слово *лошади* в «Большой Советской Энциклопедии», где указывается на принадлежность этого животного к семейству Equidae, дается классификация пород домашней лошади, сведения о быстроаллюрности и медленноаллюрности лошадей; вместо приблизительного указания на крупные размеры этого животного, которые находим в толковом словаре, приводятся точные сведения о колебании роста лошади в зависимости от породы, сообщается о строении лошадиного копыта и т. п.¹

Употребленное в научных трудах по зоологии, животноводству, ветеринарии и пр. слово *лошадь* наполняется в них терминологическим содержанием, соответствующим научным знаниям об этом классе животных. Вместе с тем в ходе научного познания язык развивает все более подробную терминологию, связанную с названием различных пород лошади, хозяйственным ее использованием, строением тела лошади, ее болезней и пр.

Научное понятие, реализуемое значением слова, может отличаться от понятия, получившего распространение в общенародном быту, не только по своему содержанию, но и по объему. В этих случаях в общенародном употреблении слово оказывается соотношенным с классом предметов, который в той или другой мере не совпадает с классом предметов, получившим свое обобщение в научном понятии. Примером такого расхождения между научным и бытовым пониманием слова может служить термин *кора*. В статье, посвященной этому термину в «Большой Советской Энциклопедии», находим прямое указание на то, что это слово по-разному понимается в ботанике и в общежитии. В ботанике различают первичную и вторичную кору: в состав ее входят луб, первичная кора (если она сохранилась) и перидерма, или корка. В общежитии же корой называют лишь наружную часть стеблей и корней древеснистых растений². Согласно определению «Толкового словаря русского языка» под ред. проф. Д. Н. Ушакова, слово *кора* означает наружную, легко отделяющуюся оболочку древесных стволов и растений. Именно это основное значение слова *кора* в общелитературном языке дало развитие всем остальным его значениям и употреблением, производным от основного. Ср.: «На людях замерзала одежда, покрывалась ледяной корой» (А. Н. Толстой, Хожде-

¹ См. «БСЭ¹», т. 37, стр. 432—434.

² Там же, т. 34, стр. 246.

ние по мукам). Отсюда же образные и переносные применения этого слова: «Так надобно гораздо разбирать, как станешь грубости кору с людей сдирать, Чтоб с ней и добрых свойств У них не растерять» (Крылов, Червонец); «... каждый раз, когда я напишу что-либо особенно волнующее меня, — с души моей точно кора спадает, я вижу себя яснее и вижу, что я талантливее написанного мной» (М. Горький, Л. Андреев). Слово *кора* входит в состав терминов геологии — «земная кора» и анатомии или физиологии — «кора головного мозга», «кора больших полушарий», но и эти специальные его употребления основаны не на содержании ботанического термина *кора*, а на общелитературном значении этого слова.

Таким образом, мы наблюдаем, что при описании слова *кора* в толковом словаре и словаре энциклопедическом обнаруживается расхождение в определении его значения. Но значит ли это, что в толковом словаре объяснено значение слова, а в энциклопедическом определено понятие? Такой вывод был бы лишен всякого основания. Все дело в том, что в энциклопедии определено терминологическое значение слова *кора*, в толковом же словаре — общенародное его понимание. Специальное значение этого слова не нашло в литературном языке широкого распространения, оставшись, в основном, достоянием людей, профессионально связанных с ботаникой.

*

Как было показано выше, в некоторых философских работах в качестве аргумента, доказывающего тождественность логического содержания слова содержанию понятия, высказывается мнение, что слово не может полностью выразить научного понятия. В языковедческих работах, напротив, нередко утверждают, что только научные термины и обладают способностью к полному выражению понятия. «Если отождествлять понятие и значение слова, — пишет В. А. Звегинцев, — то это значит допустить, что в значении слова находит свое отражение все совокупность общих и существенных признаков определенного класса предметов во всей сложности связей и отношений этих признаков, познанных наукой на данном этапе ее развития. Если это до известной степени справедливо в отношении научных терминов, где словами, выступающими в данном случае на одних правах с математическими или химическими формулами, фиксируются результаты научного обобщения, то применительно к обычным словам это совершенно невозможно сделать»¹.

«Понятие вне слова не существует, но его существование в слове не имеет формы логически отработанной категории, четкой в своих границах», — пишет тот же автор и замечает далее, что «подобную отработанность понятия, совпадающего со „значением“ слова, можно обнаружить только в чистых терминах»². Указывая на то, что научные термины имеют ограниченную сферу употребления, В. А. Звегинцев подчеркивает, что «исследование взаимодействия понятия и значения слова надо строить отнюдь не на основании терминов»³.

¹ В. А. Звегинцев, О принципах семасиологических исследований. Докт. дисс., М., 1954, стр. 247 (рукопись). В. А. Звегинцев считает, что понятие шире значения слова (указ. дисс., стр. 249). Это утверждение он основывает на категорически формулируемом, хотя, по моему мнению, и не доказанном тезисе о том, что любое слово, и однозначное и многозначное, может быть связано только с одним понятием (указ. дисс., стр. 269). Вопрос о соответствии значения и понятия в многозначном слове — самостоятельная и сложная тема, требующая особого рассмотрения.

² В. А. Звегинцев, указ. дисс., стр. 260 и 261

³ Там же, стр. 247.

Такая точка зрения, основанная на противопоставлении термина «обычному» слову (причем подлинным объектом для языковедческого изучения объявляется лишь «обычное» слово), отличается односторонностью. Она ведет прежде всего к признанию, что в одном из разрядов слов — терминах — значение слова тождественно понятию, не имеет своей специфики и, следовательно, утрачивает признаки лингвистической категории. Между тем термины не только образуют бесспорно подлежащие лингвистическому изучению системы слов, соотносимые с системой понятий определенной науки, но и входят в общую систему языка, взаимодействуя с другими ее элементами. Известно, например, что терминологические системы находят в общенародном языке основной словообразовательный источник. Известно также, что, попадая из сферы научного употребления в общий язык, термины упрощают и видоизменяют свои значения, а терминологические значения слов нередко становятся базой для создания значений общенародных.

Что касается утверждения о том, что хотя понятие и не существует вне слова, но его существование в слове не имеет формы логически отработанной категории, то оно представляется нам по самому своему существу противоречивым. Ведь понятие и есть «логически отработанная категория», хотя степень отработанности понятия и характер его могут быть разными в зависимости от стадии процесса познания. Естественно, что точно так же различаются по своему характеру и значения выражающих эти понятия слов.

Вместе с тем необходимо отметить, что показанная П. С. Поповым близость научного понятия к тому типу понятий, который он назвал понятиями в «широком смысле», может быть легко обнаружена и при сопоставлении терминологических и нетерминологических значений слова. В смысловой структуре слова специальные и неспециальные значения находятся в тесном взаимодействии. Можно отметить многочисленные примеры, когда эти значения отличаются друг от друга лишь областью применения слова и более или менее четко выраженной определенностью, точнее — отграниченностью признаков реализуемого ими понятия.

Примерами ближайшей связи терминологического и нетерминологического значений слова могут служить слова *инстинкт* и *кризис*. Слово *инстинкт* является термином биологии, хорошо известным в общелитературном языке. Его основное значение реализует научное содержание понятия: «Врожденная способность совершать целесообразные действия по непосредственному побуждению». Ср.: «Я двинулся, подчинясь тому инстинкту, который приводит лошадь к жилию в метельное бездорожье» (Первенцев, Честь смолоду).

Наряду с этим специальным значением термина *инстинкт* и на его основе возникла возможность применения этого слова для выражения понятия, относящегося уже не к области биологических свойств организмов, а к области свойств человека и к сфере общественных отношений. Это понятие лишено специальной ограниченности, а значение, его реализующее, не относится к числу терминологических и может быть определено как «неосознанное, безотчетное влечение к чему-либо, прощупывание во что-либо, чутье». Ср.: «Гнедич не был поэтом в полном смысле этого слова, но он в замечательной степени обладал светлым поэтическим инстинктом...» (Дружинин, Письма ингородного подписчика); «Тем из них (девушек. — Л. К.), которых природа одарила вкусом и инстинктом красоты, эта легкая небрежность в одежде придает особую прелесть» (Чехов, Верочка).

Слово *кризис* имеет в основе своих значений идею: «резкое изменение, крутой перелом». Употребляемое в качестве термина в различных обла-

стях науки, это слово видоизменяет свое значение в зависимости от того, какие признаки оказываются наиболее существенными для того, чтобы охарактеризовать критический период в развитии определенного явления.

В качестве термина политической экономии *кризис* означает: «Периодически наступающее в капиталистической экономике явление перепроизводства товаров, ведущее к разорению мелких производителей, к сокращению производства и к усилению безработицы». Например: «В конце XIX столетия в Европе разразился промышленный кризис. Кризис этот вскоре захватил и Россию... На улицу было выброшено свыше 100 тысяч рабочих» (История ВКП[б], Краткий курс).

Употребленное в качестве политического термина, слово *кризис* выражает иное понятие: «обострение политического положения, влекущее за собой падение и смену кабинета министров в парламентских странах». Например: «Во время очередного правительственного кризиса, кому бы ни доверили составить кабинет, кандидат в премьеры первым делом советовался с Бедье...» (Эрвенбург, Девятый вал).

В качестве медицинского термина слово *кризис* имеет значение: «решающий, переломный момент в ходе болезни». Например: «Характер моей болезни не позволяет мне отваживаться ни на какой свободный резкий шаг, она же притом имеет неожиданные, но смертельные кризисы...» (Кольцов, Письмо Белинскому 23 октября 1841 г.).

Наряду с терминологическим использованием слова *кризис* в общелитературном языке существует и бытовое его применение. Значение этого слова в случаях таких употреблений, хотя и выражает по сути дела ту же идею: «Резкий перелом, крайнее обострение положения», однако лишено уже тех строгих границ, которые определяют специфику данного термина при параллельном употреблении его в различных областях знания. Ср.: «Многие уже стали над ним подсмеиваться как над будущим женихом; добрые приятели стали уговаривать его, отклонять от безрассудного поступка, который ему не входил и в голову. Из этого он заключил, что минута решительного кризиса наступила» (Лермонтов, Княгиня Литовская); «Я понимаю состояние вашего духа. Оно не так странно, как вы думаете. Это... переход; это переходное, так сказать, состояние, кризис» (Тургенев, Холостяк).

Ср. также случаи разговорного употребления этого слова для обозначения недостатка в чем-либо, затруднения с чем-либо: «Ждали — вот вот войдет Лухава для доклада о борьбе с разрухой и топливным кризисом» (Гладков, Цемент); «О водяном кризисе свидетельствовали мертвые очереди из пустых ведер, закручивавшиеся спиралью вокруг водоразборных будок» (Паустовский, Кара-Бугаз).

В лексической системе общелитературного русского языка есть немало и противоположных примеров соотношения терминологических и нетерминологических значений, когда специальное значение слова существует наряду с бытовым, занимая по отношению к нему подчиненное положение. Для иллюстрации можно назвать слова *обвинять*, *обвинение*. В глаголе *обвинять* обычное, неспециальное значение: «считать кого-либо неправым, осуждать за что-либо, упрекать». Например: «Я жестоко обвинял себя, просил прощенья у матери...» (С. Аксаков, Детские годы Багрова-внука); «Матвеев обвинял его в нечутком отношении к людям» (Лаптев, Заря). Это значение сосуществует в языке наряду с тем, которое делает слово *обвинять* юридическим термином: «возбуждать и поддерживать преследование по суду за какое-либо преступление». Например: «Его обвиняли в покушении на убийство» (Чехов, Остров Сахалин).

Приведенные примеры имели целью показать близость и однотипность терминологических и нетерминологических значений слова и подтвердить

неправомерность противопоставления терминов и «обычных» слов по их способности к адекватному выражению понятия¹. Отличие специальных значений слова от неспециальных заключается не в полноте или точности реализации ими понятия, а в особенностях самих понятий.

Необходимо иметь в виду особую судьбу терминов и терминологических значений слов, получивших общелитературное распространение. Восприятие значения такого термина людьми, профессионально связанными с той областью знаний, к которой он принадлежит, и людьми других специальностей не может быть одинаковым. Для первых значение термина будет значительно богаче и определенной, чем для вторых. Неодинаковой будет также степень усвоения различных терминов. Одни из них настолько вошли в быт и в общелитературный язык, что содержание их становится известным каждому грамотному человеку уже из средней школы; содержание других усваивается большинством говорящих не в деталях, а только в общих чертах. Филологические словари пытаются отразить эти особенности употребления терминологии в общелитературном языке, по возможности упрощая и сокращая определения их значений по сравнению со словарями специальными и энциклопедическими.

*

Несколько выводов, вытекающих из рассмотрения проблемы соотношения значения слова и понятия.

1. Неразрывная связь понятия и слова проявляется не только в том, что понятие не существует вне слова, но также и в том, что слово имеет в основе своего значения понятие (но не представление).

2. Значение слова — это реализация понятия средствами определенной языковой системы, поэтому значение слова отражает через понятие, лежащее в его основе, реальную действительность. В значении слова отражается вместе с тем и обогащение понятия в процессе познания.

3. Значением слова может быть реализовано не только научное понятие, но и понятие, сложившееся в общенародной практике, а также понятие общежитейское, в известном смысле противоречащее научному и искажающее его. Противопоставление терминов обычным словам по их способности к полному выражению понятия является неправомерным.

Рассматривая вопрос о соотношении понятия и значения слова с точки зрения языка как реальности мысли, мы не имеем никаких оснований сомневаться в адекватности значения слова понятию. Специфика значения слова, его отличие как категории языка от понятия как категории мысли проявляется в функционировании языка как средства общения.

Попытки выявить различия между значением слова и понятием с точки зрения их мыслительного содержания ведут к квалификации значения слова как особой формы отражения действительности. Такая постановка вопроса уводит значение слова — предмет семасиологии — из области языковедения в область логики или психологии. Именно при такой постановке вопроса разных наук происходит смешение их задач.

¹ Л. А. Булаховский, противопоставляя бытовое слово термину по точности выражаемого ими смысла, вообще высказывает сомнение в способности человеческой речи к адекватному выражению понятий. «...Точными, насколько это вообще возможно по свойствам человеческой речи, обработанными до прямой договоренности словами являются так называемые термины», — пишет он (указ. соч., стр. 22).

А. Н. БОЛДЫРЕВ

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПЕРСИДСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
ЯЗЫКА

Процесс становления и развития литературного языка в условиях феодального общества — литературного языка народности — исторически предваряет и подготавливает формирование литературного языка нации; именно этим определяется теоретический интерес изучения данного процесса в отдельных странах и у отдельных народов. Так, анализ фактов развития литературного языка в Китае и Японии позволил Н. И. Конраду сформулировать несколько выводов вполне принципиального характера: едва ли не важнейший из них заключается в выявлении общественного значения смены «средневекового литературного языка» нарождающимся национальным языком со складывавшейся в то же время его литературной нормой, в раскрытии антагонистического характера этой смены¹. В свете такого исторического понимания смены литературных языков обогащается наше представление о литературном языке как общественном явлении: литературный язык — это не только «язык народа, отшлифованный писателями» данного (в общераспространенном понимании — нового и новейшего) времени; в действительности литературный язык «шлифуется» еще и длительным, сложным процессом развития всего языка в целом, от языка племени к языку нации.

Путь развития китайского и японского, литературного языка характеризуется, как показал Н. И. Конрад, отказом от «старых языков» («вань-янь» и «бунго») в результате долгой и упорной общественной борьбы. Все же, несмотря на различия между «старыми» и «новыми» литературными «языками», в этом случае речь идет о смене двух «исторических форм» одного и того же языка, а не о смене разносистемных языков. Но, как свидетельствует история, наряду с этим существует и другое явление — замена чужого языка, занимавшего положение литературного, языком своим, языком народности, осуществляющей самостоятельное политическое развитие. Именно такая картина наблюдалась в средние века в Средней Азии и в Иране: там происходит отеснение арабского литературного языка так называемым «новоперсидским». Общим для обоих путей развития является то, что как в первом, так и во втором случае на место старого письменного языка становится один из диалектов народно-разговорной речи².

*

Становление «новоперсидского» языка в качестве языка литературного — в указанном историческом смысле этого слова — следует рассмат-

¹ См. Н. И. Конрад, О литературном языке в Китае и Японии, ВЯ, 1954, № 3, стр. 25; выводы на стр. 40.

² Для народов Средней Азии и Ирана здесь имеется в виду, конечно, только период после арабского завоевания.

ривать независимо от вопросов его формирования и предшествующего развития в качестве разговорного языка определенной народности в конкретных исторических условиях¹. Поэтому в нижеследующем изложении термином «персидский язык» обозначается тот литературный язык, который был распространен под названием «pārsiyyi dari» (также просто «pārsi» или «dari») в письменности народов Средней Азии, Забулистана, Северной Индии, Ирана и Азербайджана с конца IX до начала XVI вв. В течение этого периода на всей указанной территории, населенной разноязычными народами, персидский литературный язык не обнаруживает признаков какой-либо дифференциации локального характера в области морфологии, синтаксиса и словарного состава. Как отмечает Е. Э. Бертельс, «... до XV в. (включительно. — А. Б.) провести грань между литературами таджикской и персидской по языковому признаку невозможно»².

Среди многочисленных данных, имеющих в источниках, о месте и времени первых опытов письменного применения языка «pārsiyyi dari» наиболее правдоподобным, с точки зрения соответствия конкретным историческим условиям, представляется сообщение, которое мы находим в «Истории Систана» (часть, написанная около 1070 г.), приурочивающее выступления первых персоязычных поэтов к торжественному моменту победы антиарабского народного движения под руководством Якуба Саффари при воцарении его в Герате в 867 г.⁴ Военные успехи Якуба принудили халифатские власти санкционировать его права на управление областями Систан, Кабул, Керман и Фарс. Ниже приводим в точном переводе очень показательные строки:

«Якуб успокоился и, собираясь в обратный путь⁵, отправил письмо Усману, сыну Аффана, с приказанием читать на себя хутбу и намаз⁶, так что Усман провозглашал на него хутбу три пятницы подряд. Якуб вернулся [в Герат] и убил нескольких оставшихся там непокорных и забрал их имущество. Тогда поэты сочинили в его честь арабские стихи:

Аллах облагодетельствовал горожан и селян
Властью Якуба достойного и сильного...⁷

Когда огласили эти стихи, Якуб — а он был неуч — не понял их. При этом присутствовал Мухаммад, сын Васифа, который был дабиром⁸ и хорошо знал грамоту (adab). А в это время персидской письменности (nāmayi pārsi) не существовало. Тогда Якуб сказал: „Зачем говорить то, чего я не постигаю?“.

Тогда Мухаммад, сын Васифа, и начал сочинять персидские стихи (šī'ri pārsi guftan girift) и был первым человеком среди неарабов ('aĵam), сочинившим персидские стихи. До него никто не сочинял, ибо пока существовали домусульманские иранцы (pārsiyan), то у них стихи (suxan) распевали под арфу (rūd) на мелодию хусравани (ba tariqi xusravāni). Когда же персы ('aĵam) были исторгнуты и приняли арабы, то среди персов распро-

¹ О новой концепции происхождения «понаперсидского» языка см. Е. Э. Бертельс, Персидский—дари—таджикский, «Сов. этнография», 1950, № 4, стр. 55.

² Только так называли его, как известно, например, Фирдоуси и Насири Хосров.

³ Е. Э. Бертельс, указ. соч., стр. 65. Таким образом, перед нами явление временной одноязычности в литературной деятельности нескольких народов (таджиков, персов, азербайджанцев, индийцев и др.).

⁴ См. «Тарихи Систан», изд. М. Бехара, Тегеран, 1314/1935, стр. 209. Таким образом, в основу литературного языка «парси дари» легла народно-разговорная речь таджиков восточного Хорасана.

⁵ Т. е. собираясь вернуться из похода в захваченный ранее Герат. Упоминаемый дальше Усман, сын Аффана, — ставленник Якуба в Герате.

⁶ Прерогатива суверенного правителя.

⁷ В тексте два крайне примитивных арабских бейта.

⁸ Т. е. дьяком-письмоводителем.

стравнились стихи на арабском языке и все они знали арабские стихи. До Якуба среди персов не появлялось ни одного человека, который бы достиг того величия, чтобы в его честь сочиняли стихи, за исключением Хамзы, сына Абдаллаха аш-Шари, который был образован и знал арабский язык. Его поэты сочиняли на арабском языке, и воины его в большинстве были из арабов и газиями. Когда же Якуб убил Зембила и Эммарэ-мятежника и взял Герат и когда ему отдали в управление Систан, Керман и Фарс, то Мухаммад, сын Васифа, сочинил следующие стихи:

О эмир, которому эмиры мира, избранные и простые —
рабы, и слуги, и клиенты, и собаки, и вевольники!
На скрижалях начертаны предвечные письма:на
Царство отдайте Абу-Юсуфу Якубу, сыну Лейса, герою!.. 1]

Это длинное стихотворение, мы привели здесь лишь небольшую его часть. Бассам Курд принадлежал к тем мятежникам, которые вышли к Якубу с повинной. Когда он увидел то, что делает сын Васифа в отношении стихов, то он тоже стал сочинять стихи, и был он образован и так описывает в стихах эпизод уничтожения Эммарэ². Затем Мухаммад сын Мухаллада³, также систанец по происхождению, человек образованный и поэт, тоже взялся за персидские стихи⁴. Вслед за тем все стали сочинять [персидские] стихи, но первыми были они, [до них] никто не брался за стихи на персидском языке, кроме Абу-Нуаса⁵, который вводил в свои стихи персидские слова ради шутки (tanzağ)⁶.

*

Процесс дальнейшего распространения персидского литературного языка протекал очень интенсивно и хорошо известен науке. Нет никаких сомнений в том, что в Средней Азии и Хорасане арабский язык в начале X в. уже больше не занимал первенствующего положения в области поэзии, в том числе в придворной панегирической. Последнее обстоятельство объясняется прежде всего огромным политическим значением придворной поэзии в условиях феодального общества. Панегирик («касыда») с его синтетическим содержанием удовлетворял самым острым политическим злободневным потребностям господствующей верхушки, прежде всего потребностям борьбы за самостоятельность саффаридского и саманидского государств.

Насколько мне известно, до сих пор исследователи не обращали достаточного внимания на тот весьма примечательный факт, что начало вытеснения арабского языка из области прозы, прежде всего — внелитературной⁷, обозначилось почти на столетие позже, чем в области поэзии.

Одним из первых опытов применения персидского языка в прозаическом тексте является точно датированное и дошедшее до нас так называемое «Абумансуровское» предисловие к «Шах-намэ», написанное в Тусе в апреле 957 г., когда Рудаки уже не было в живых, а поэзия была предста-

¹ В тексте еще 4 двустишия в таком же духе.

² Далее в тексте 5 подобных же двустиший.

³ М. Бехар читает «Махлад» («Сабкшинаси», т. II, Тегеран, 1942, стр. 3 введения).

⁴ Далее в тексте 3 аналогичных двустишия.

⁵ Известный арабский поэт начала XI в. Правильно отмеченная автором «Тарихи Систан» особенность его поэтического языка носила, повидимому, цародийный («макаронический») характер и не имела никакого значения для становления персидского литературного языка в целом.

⁶ «Тарихи Систан», стр. 209 и сл.

⁷ Термином «нелитературная проза» мы здесь условно обозначаем язык научных сочинений, не рассчитанных на эмоциональное воздействие средствами художественной образности и художественного вымысла.

влена блестящей и многочисленной плеядой саманидских стихотворцев. Следующими прозаическими произведениями на персидском языке были, как известно, переводы «Истории» (963 г.) и «Тефсира»¹ Табари (около того же времени), «Фармакология» Моваффака Харави и т. д. Персидский язык постепенно завоевывал область научной, внелитературной прозы, на первоначальном этапе не имевшей того значения для идеологического воздействия, которое имела поэзия, и в связи с этим позже подвергшейся «переводу» на персидский язык. В этой области традиционное применение малопонятного (понятного для сравнительно гораздо более узкого круга лиц, особенно в Хорасане и Мавераннахре) арабского языка держалось дольше. Вытеснение арабского языка персидским проходило в результате очень упорной и длительной борьбы.

Приведем некоторое количество фактов из области этого весьма интересного с точки зрения смены литературных языков явления. Не подлежит сомнению, что питателью арабоязычной традиции являлась мусульманская богословская литература, и у нас нет никаких сведений о попытках внедрения персидского языка в эту область до середины X в.²

Первое известие об употреблении персидского языка в области мусульманской богословской литературы было найдено В. А. Жуковским³. Обнаруженный и опубликованный им текст содержит рассказ о том, как известный богослов саманидского Мавераннахра Абуль-Касим Хаким Самарканди (умерший в 342/953—54 г.)⁴ был избран для составления богословского сочинения, направленного против распространившейся в саманидских владениях шиитской ереси. Приводим следующие за тем строки в переводе Жуковского: «Тогда он сочинил эту книгу на арабском языке, и все улемы одобрили (ее). Потом саманидский эмир приказал перевести эту книгу на персидский язык, чтобы польза была и знатым, и черни⁵ и чтобы хорошо знали учение „сунны“ и были далеки от ересей с помощью великого и славного бога и его содействием».

«Итак, — пишет далее В. А. Жуковский, — мы имеем новое вполне определенное указание не только на то, с какою заботливостью Саманиды относились к духовным нуждам народа и с каким сознанием и настойчивостью вызывали к жизни временно заглохшую литературу на более понятном для народа персидском языке, но и указание на один из составленных по их приказанию литературных трудов».

Обратившие на себя особое внимание В. А. Жуковского и подчеркнутые им слова о том, что «саманидский эмир приказал перевести эту книгу на персидский язык, чтобы польза была и знатым, и черни», находят себе, как будет показано ниже, аналогию и продолжение в целом ряде других примеров. Через 10 лет после смерти Абуль-Касима Самарканди, первого известного нам автора персоязычного богословского (и даже вообще персоязычного прозаического) сочинения, в той же саманидской Бухаре имеет место второе известное нам и гораздо более значительное мероприятие по

¹ Комментарии к Корану

² Известные слова Наршахи, позволившие В. В. Бартольд у прийти к выводу о том, что в Мавераннахре «...новая вера с самого начала распространялась на народном языке...» («Ислам», Пг., 1918, стр. 77; см. также Е. Э. Бертельс, указ. соч., стр. 56), следует скорее понимать как указание на устную культовую практику, на случай своеобразного попустительства для облегчения первых шагов новой веры в завоеванных областях. Дальнейшее усиление ислама несомненно покоялось с подобными отступлениями.

³ В. [А.] Жуковский, К истории персидской литературы при Саманидах, «Записки Вост. отд-ния Русск. археолог. о-ва», т. XII, вып. 1, СПб., 1899, стр. 04; т. XVI, вып. IV, СПб., 1906, стр. 270.

⁴ О нем см. В. В. Бартольд, указ. соч., стр. 76.

⁵ Подчеркнуто В. А. Жуковским («tā xāss va 'zmmrā manfa'at buvad»).

внедрению персидского языка в мусульманское богословие. Это — перевод огромного «Тефсира» Табари. Такое нововведение должно было быть обставлено особенно торжественным образом и санкционировано высшей инстанцией, что самым наглядным образом засвидетельствовано в подлинном документе — в предисловии к переводу этого «Тефсира» на персидский язык, выполненному около 963 г. по приказанию эмира Мансура, сына Нуха Самани. Приводим перевод этого предисловия¹.

«Эта книга — великий тефсир, переведенный со слов Мухаммада, сына Джарира Табари, на язык парсии дари правильший (pārsiyi dariyi gāhi gāst). Эту книгу доставили из Багдада, сорок томов было там, написанных на арабском языке, и была она с длинными иснадами². Доставили ее эмиру сейиду победоносному Абу-Салиху Мансуру, сыну Нуха, сына Насра, сына Ахмада, сына Исмаила, да помилует их всех Аллах. И вот показалось ему трудным читать эту книгу и понимать ее на арабском языке и так пожелал он, чтобы перевели ее на персидский (парси) язык. Тогда собрали улемов Мавераннахра и спросил он у них фетву, будет ли дозвоительно нам эту книгу перевести на персидский [язык]? Сказали: „Читать и писать по-персидски (парси) тефсир корана для того человека, который не знает арабского, дозвоительно, на основании слов господа славного и великого, который сказал: я не послал ни одного пророка, кроме как на языке народа его“³. Кроме того, этот персидский язык был известен с древнейших времен, со времени Адама до времени пророка Исмаила, и все пророки и цари мира говорили на персидском языке, а первым человеком, говорившим по-арабски, был пророк Исмаил, а наш пророк (т. е. Мухаммад) вышел из арабов и этот коран был ему ниспослан на арабском языке. А здесь, в этой стране, языком является [язык] парси и цари этой страны — неарабские цари (mulūki 'alam and)».

Эти слова звучали в свое время как определенная политическая декларация, как своеобразный манифест. Внедрение персидского языка в новую, дотоле запретную для него область имело большое политическое значение, шло по прямому приказу свыше, выражая совершенно определенную установку господствующего слоя, и явно ощущалось современниками как необычайное новшество.

Как известно, в это же самое время в саманидской Бухаре был осуществлен перевод на персидский язык другого важного арабского научного сочинения — «История» Табари. Переводчик — известный саманидский политический деятель везир Абу-Али Бал'ами — подверг арабский оригинал значительной переработке. В предисловии на арабском языке Бал'ами говорит: «Перевел я [эту книгу] на язык парсии дари, чтобы приобщались к чтению ее и к познанию ее подданные и властители (ar-ḡa' uyat va s-sultān) и была бы она доступной для того, кто будет смотреть на нее»⁴.

¹ По тексту, впервые полностью публикуемому М. Бехаром («Сабкишнаси» т. II, стр. 15). См. также А. А. Ромаскевич, Персидский «Тефсир» Табари, «Записки Коллегии востоковедов», т. V, Л., 1930, стр. 801. Более полное описание рукописи помещено в «Nameyi Farhangistān», I, 4, стр. 37.

² Иснад — ссылка на источник предания.

³ Коран, 4, 14. В тексте сразу идет перевод цитаты на персидский язык.

⁴ Подлинное предисловие Бал'ами к переводу «История» приводится в трех старейших списках перевода: 1) P e r t s c h, Gotha, I, 46, P 24 и 25, два тома, переписанные, повидимому, в 713/1313 г. в Исфахане, 2) R i e u, I, 68, Add., 7622, переписан в 734/1334 г. и 3) P e r t s c h, Berlin, IV, 381, рук. 363, без даты. Текст предисловия по готскому списку неудовлетворительно издан Розегартом (см. Rosegarten, (Taberistanensis ... annales regum atque legatorum dei, vol. 1, p. XI, 1831). Хорошо известное персоязычное предисловие в большинстве списков перевода представляет собой выполненный позднейшим редактором сокращенный пересказ арабского. Последнее, в частности, содержит дату начала работы над переводом «История» — 352/963 г., что осталось неизвестным М. Бехару (см. «Сабкишнаси», т. II, стр. 8).

*

Процесс активного внедрения персидского языка в область внелитературной прозы разворачивался аналогичным образом и на западе, собственно в Иране, в глубоко арабизованном буидском политическом и культурном кругу X — XI вв. В этом кругу подвизался знаменитый Авиценна, написавший, как известно, преобладающую часть своих произведений на арабском языке. Однако Авиценне принадлежит несколько небольших популярных научных сочинений на персидском языке. В предисловиях к двум таким сочинениям мы также находим показательные высказывания на интересующую нас тему. Эти сочинения — «Данишнамеи Алаи» и «Куразат ат-табийат», они написаны между 1022 и 1037 г. (т. е. годом смерти Авиценны) в Исфахане для представителя династии Какуйе Алааддаулэ Мухаммада, сына Душманзиара, при дворе которого некоторое время находился Авиценна¹. В предисловии Авиценны к первому сочинению читаем следующее:

«Пришел приказ великого господина нашего [Алааддаулэ... Абу-Джафара Мухаммада сына Душманзиара] мне, рабу и служителю его престола..., что должно мне составить для служителей его престола книгу [на языке] парсийи дари, в которой должен я собрать основы и тонкости пяти наук философии древних, в очень сжатом изложении»².

В предисловии Авиценны ко второй работе сказано: «Когда на его³ высоком собрании зашла речь о явлениях природы и о книгах Аристотеля о них, приказал он сему служителю составить книгу по вопросам физическим, в форме вопросов и ответов, на языке парси, чтобы польза от этой книги была всеобщей (tā fayidayi ān' amm bāšad)»⁴.

Интересное добавление к приведенным словам Авиценны об обстоятельствах написания «Данишнамеи Алаи» содержится в другом сочинении, связанном с какуйидским двором, — «Нузхатнамеи Алаи», принадлежащем перу малоизвестного естествоиспытателя XII в. по имени Шахмардан, сын Абиль-Хейра⁵:

«И слышал я, что покойный господин Алааддаулэ сказал ходже раису Абу-Али, сыну Сины: „Если бы наука древних была изложена на персидском [языке], я сумел бы постичь ее“. По этой причине, на основании приказа, составил [Абу-Али] „Даништаннамеи Алаи“, но когда окончил и преподнес, [Алааддаулэ] ничего не смог [в ней] понять».

(Va šunīdam ki xudāvandi māzi 'Alā ad-davla qaddasa llahu rūhahu... Xāja Ra'īs Abū 'Alī ibn Sinārā guft: — Agar 'ilmi avāyil ba 'ibāratī pārsī būdi, man bitavānistāmī dānistan! Badīn sabab ba hukmi farmān «Dānistan-nāmayi 'Alāyi» sāxt va čūn bipardāxt va 'arza kard az ān hič dar natavānist yāftan).

¹ Этот Алааддаулэ правил с 1007 по 1041 г. и приходился прадедом тому самому Алааддаулэ Абу-Калинджару Гершаспу, которому посвящено «Нузхатнамеи Алаи» (см. ниже). Об этих двух сочинениях Авиценны см., в частности, у М. Бехара (указ. соч., т. II, стр. 37 и сл.). В этой же работе М. Бехара находятся тексты, перевод которых здесь привожу.

² См. также рукопись № 1676 Собрания Академии наук Тадж. ССР, л. 112 (переписана в 1266/1849—50 г.); текст совпадает. Точками обозначаем здесь и ниже пропуски панегрических формул.

³ Имеется в виду тот же Алааддаулэ.

⁴ Последние слова будут иметь значение для нашего дальнейшего изложения.

⁵ Написано между 1117 и 1120 гг. н. э. Рукописи: Pertsch, Gotha, P. 10; Sachau — E t h é, Bodl., I, 1480; Iwanow, ASB, стр. 650 (фрагмент). См. также «Сабкшнаси», т. II, стр. 52 и 161. Об этом любопытном сочинении мною подготовлена специальная работа. Здесь и ниже цитируются переводы по первому из перечисленных списков.

Причину этого досадного для Авиценны недоразумения Шахмардан видит в том, что материал книги не был расположен по степени возрастающей трудности. Как бы то ни было, в словах какуидского князька выражено важное для нас мнение о «переводе» наук с арабского на персидский язык, как о первом условии получения доступа к ним необразованного человека в Иране (подробнее см. ниже).

Мы располагаем еще одним определенным свидетельством о вытеснении арабского языка персидским в XII в. не только в Хорасане и Средней Азии, но и собственно в Иране. Это свидетельство относится к 1126 г. и принадлежит анонимному автору весьма любопытного исторического труда «Муджмаль ат-таварих», исследованного М. Казвини и Бехаром и изданного тем же Бехаром¹. «Муджмаль ат-таварих» написан в Асадабаде (Хамадан) и автор его является хамаданцем, коренным представителем местных культурных сил. Во вводных замечаниях к началу книги автор «Муджмаль ат-таварих» говорит о том, как он использовал свои источники: «... я ничего не опустил, только [ограничился] пересказыванием и данным порядком и переводом некоторых вещей с арабского на персидский так, как это принято словесностью нашего времени» (ba'z az tāzī ba pārsī tarjuma kardan ki 'ādātī nutqi vaqt ast)².

Таким образом, мы видим, как начавшийся в X в. в саманидском государстве процесс «перевода» арабоязычной образованности на персидский (т. е. значительно более доступный) язык продолжал развиваться и в последующее время, в других областях ираноязычного мира, захватывая новые области письменности. Однако, в отличие от поэзии, в которой к началу XI в. персидский язык приобрел уже значительную сложность и выразительность, применение персидского языка для изложения научного (внелитературного) прозаического текста встречало, с точки зрения авторов-современников, даже в конце XI — начале XII в. большие трудности.

Приведем несколько очень выразительных высказываний:

1. Из «Тарихи Систан»³. Автор здесь говорит, что он не хочет перегружать изложения арабскими поэтическими цитатами по следующей причине:

«Однако мы поставили себе условием [пользоваться] в этой книге только персидским [языком], разве что попадется такое место, для которого и персидского выражения не найдется».

(*Ammā šarti mā andarīn kitāb pārsī ast, magar jāyī ki andar mānīm va pārsī yāfta našavad*)⁴.

2. Из предисловия Исмаила Джурджани к его медицинскому сочинению «Захирей Хорезмшахи». Написано через несколько лет после 1110 г. в Хорезме⁵.

¹ «Муджмаль ат-таварих», Тегеран, 1318 г.х. (там же перепечатано предисловие М. Казвини, которое, кроме того, имеется в сборнике его статей М. Бист магале, т. II, Тегеран, 1313 г.х.).

² Там же, стр. 8; разрядка моя. — А. В.

³ Это та часть сочинения, которая, согласно исследованию М. Бехара (см. «Предисловие»), написана при Тогруле, до 1072 г.

⁴ «Тарихи Систан», стр. 324.

⁵ Текст сведен по рукописи № 385 Восточной библиотеки Ленингр. ун-та, л. 4 дата переписки 1075/1664—65 г., переписчик Хафиз Махди и по рукописи № 2398 Академии наук Тадж. ССР (список XIII—XIV вв.), л. 26.

«Постарался я так выполнить эту службу¹, чтобы [мое сочинение] можно было бы поднести со всей достоверностью и чтобы оно было достойно сокровищницы господина. Хотя сия служба выполнена на [языке] парси, но те арабские слова, которые известны и значение которых известно большинству людей и применение их по-арабски легче, — так вот такие слова приводятся по-арабски, дабы избежать высокопарности² и чтобы языкам было легче. Большинство же таких слов будет приведено и по-персидски, чтобы ничто не осталось скрытым³».

(*Jahd kard tā in xidmat čunān sāzad ki bar čunīn mahāllī arza tavān kard va xazānai in xudāvandrā bišāyad va agar čī in xidmat ba pārsī sāxta āmad, lafzhāyi tāzi ki ma'rūf ast va pīštari hardumān ma'niyi ān dānand va ba tāzi guftan sabuktar bāšad — ān lafz ham ba tāzi yād kardā āmad tā az takalluf dūrtar bāšad va bar zufānhā ravāntar va az in lafzhā bištārīrā pārsī nīz gufta āyad tā hič pūšida namānad*).

3. Из «Раузат аль-мунаджжимин» Шахмардана, сына Абиль-Хейра. Это еще одно, на этот раз астрономическое, сочинение уже цитированного нами выше автора «Пузхатнамен Алаи» написано в 1073 г.

«Удивительнее всего, что когда делают книгу на персидском [языке], заявляют, что это мы сделали для того, чтобы тот, кто не знает арабского [языка], не остался бы обездоленным, а затем пишут на таком заправском дари (*dariyi vīžayi mutlaq*), который трудней арабского. Легче же всего понимать написанное употребительными словами».

(*Va az hama turfatar ān ast ki čun kitābī ba pārsī kunand gūyand az bahri ān badīn 'ibārat nihādīm tā ān kas ki tāzi nadānad bībāhra namānad. Pas suxanhāyi hamīgūyand darī vīžayi mutlaq ki az tāzi dušvārtar ast va agar suxanhāyi mutadāvil gūvand dānistan āsāntar buvad*)⁴.

Приведенные цитаты ясно говорят о том, что основная трудность, с которой встречались авторы первых персидских прозаических научных сочинений, заключалась в отсутствии в персидском языке лексических средств, необходимых для адекватного выражения специального круга понятий всех областей научного знания. Очевидно, процесс внедрения персидского языка в область научного прозаического текста развивался настолько медленно, что даже к началу XII в. еще не существовало полного общепринятого арабизированного научного словаря. Более того, как ясно показывает третья цитата, первые попытки создать адекватный персидский словарь шли вовсе не по пути простого заимствования из арабской литературы, а по пути создания искусственной персидской лексики, вероятно — либо восстановлением к тому времени утраченных, либо введением нарочито создаваемых, персидских же слов⁵.

Современники хорошо ощущали порочность этой тенденции. Автор «Раузат аль-мунаджжимин» (третья цитата) осуждает ее в совершенно ясных выражениях. Вместо того чтобы создать язык более доступный, чем арабский, она приводила к обратному результату. Автор «Захирии хорезмшахи» (вторая цитата) сознательно стремится избежать применения искусственных и непонятных персидских слов, предпочитая вводить более-

¹ Т. е., как явствует из предшествующего, составить такое авторитетное сочинение, которое бы помогало хорезмшаху Мухаммаду, сыну Ануштегина, заниматься изучением медицины.

² Или: «пятиуности, неестественности».

³ В данном предположив имеется еще одно примечательное высказывание автора относительно персидского языка, которое использовано ниже.

⁴ Цитируемый отрывок приведен М. Бехаром (см. «Сабкшинаси», т. II, стр. 160, где также дана дата написания).

⁵ Т. е. теми же средствами, которые применялись на наших глазах в современном Иране.

употребительные арабские заимствования. Ту же тенденцию мы находим и у Кайкауса Унсур аль-меали Зияри, автора замечательного «персидского Домостроя» — «Кабус-намэ», написанного в 1082 г. Поучая своего сына правилам эпистолярного стиля, Кайкаус говорит:

«Если письмо будет по-персидски, не пиши таким персидским языком, что люди не поймут, нехорошо это, особенно такие персидские слова, которые не [всем] известны»¹.

Можно предположить, что «ультрашуубитская» тенденция в языке персидской научной прозы была изжита на рубеже XI—XII вв. и что дальнейшее развитие этой области языка пошло по пути естественной арабизации словаря, как это делал автор «Захирей Хорезмшахи».

*

Внедрение персидского языка в область внелитературной прозы встречало, естественно, сильное противодействие со стороны представителей арабоязычной традиции. Основным их аргументом служило, повидимому, общее мнение о недостаточности, неприспособленности средств персидского языка к адекватному выражению предмета. Это мнение наиболее полно отразилось в словах корифея средневековой арабоязычной науки — хорезмийца Бируни. В последнем своем труде «Китаб ас-саидана фи-т-тыбб», написанном в Газне, в сороковых годах XI в., Бируни говорит следующее:

«На язык арабов переложены науки из всех стран мира; они украсились и стали приятны сердцам, а красоты языка от них распространились по артериям и венам, хотя каждый народ считает красивым свой диалект. Он привык к нему, пользуется им для своих нужд с привычными к нему и подобными ему. Я вывожу эту аналогию по самому себе: природным для меня является такой язык, что если бы увековечить на нем какую-нибудь науку, она чувствовала бы себя такой же чужой, как верблюд на дождевом стоке дома или жирафа среди арабских рысаков. Затем я перешел к арабскому и персидскому; в каждом из них я пришелец, с трудом им владеющий, но поношение по-арабски милее мне, чем похвала по-персидски. Правдивость моих слов узнает тот, кто рассмотрит какую-нибудь научную книгу, переложенную на персидский, как исчез блеск её; затмился смысл и потемнел лик, а польза от нее исчезла, так как этот диалект годится только для хосроевских повестей и ночных сказок»².

Можно ли предположить, что Бируни в данном случае выражал какое-то существовавшее мнение о непригодности персидского языка и для светской придворной поэзии? Этот вопрос требует дальнейших разысканий.

Конечно, и в XII в. позиции арабского языка были еще довольно сильны не только в Иране, но и в Средней Азии³. Мы опять-таки располагаем очень авторитетным свидетельством современника как о силе этих позиций,

¹ «Кабус-намэ», перевод Е. Э. Бертельса, М., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 168. Э. Браун, пересказывая содержание «Кабус-намэ», пишет: «If letters be written in Persian, they should be written with an admixture of Arabic, for unmixed Persian is distasteful» (E. G. Brown, A literary history of Persia, II, London, 1920, стр. 285). Последние (в кавычках) слова являются, вероятно, переводом, тогда как предыдущие — пересказом. Аналогичного места в переводе Е. Э. Бертельса не нахожу, что объясняется, повидимому, большими расхождениями в последних до нас текстах «Кабус-намэ», о чем подробно говорит Е. Э. Бертельс в предисловии к своему переводу.

² И. Ю. Крачковский, Бируни и его роль в истории восточной географии, сб. «Бируни», М.—Л., 1950, стр. 65.

³ В частности, в области историографии, как говорит В. В. Бартольд, «употребление персидского языка в исторической литературе западной Персии в эту эпоху еще не вполне упрочилось...» («Иран. Исторический обзор», Ташкент, 1926, стр. 69).

так и о том, с какой агрессивностью и действенностью велось на них наступление, выражавшееся в некоторых случаях, повидимому, в мероприятиях чисто практического характера, например, даже в виде запрещения изучения и преподавания арабского языка. Это свидетельство принадлежит другому знаменитому арабоязычному хорезмийцу — Замахшари и находится в предисловии к его грамматическому труду «Аль-муфассаль фи-нахв», написанному между 1117 и 1121 гг. Привожу перевод соответствующего места предисловия Замахшари:

«А ведь на этом (т. е. на арабском. — А. Б.) языке происходит их¹ научное общение и их собеседования и на нем преподавание их и прения, и на нем пишут их перья в свитках, и на нем пишут грамоты и указы правители их. Они имеют дело с арабским языком, куда бы ни отправились, не отрываясь от него, куда бы ни двинулись, они неразлучное бремя на нем, куда бы ни поехали. Затем они, в добавок к тому, отрицают его достоинство, отвергают его превосходство, уклоняются от почитания и уважения его, заурещают изучать и преподавать его и разрывают в клочья кожу его, жуют его мясо и в этом отношении они поступают по ходячей пословице: „ячмень едят и поругивают“, а в то же время завяляют, что они могут обойтись и без него и что они не имеют к нему никакого отношения. А если это так, то почему же они не разойдутся начисто с лексикой и флексией и не прервут все отношения между ними и собой, чтобы стереть с тefsира корана следы их обоих и стряхнуть с принципов права прах их обоих?... Ведь не говорят же они на [своем] варварском языке на лекциях и в кружках на диспутах с тем, чтобы потом убедиться, что не оставили они знанию красоты и приглядности и что избранные оказались подобными черни и что обратились они в посмешище для шутников и для смотрящих на это»².

М. Бехар³ приводит и другое аналогичное высказывание Замахшари в предисловии к другому его грамматическому труду — «Мукаддама ат-нахв», который был доступен Бехару в рукописи библиотеки медресиса. К сожалению, Бехар дает эти слова Замахшари не в подлиннике, а в собственном персидском пересказе, перевод которого привожу: «Джараллах Замахшари в предисловии к одному из своих грамматических сочинений выражается следующим образом: я написал эту книгу на зло шуубитам, не сочувствующим распространению арабского языка, с тем чтобы угодить богу и уткнуть в землю носы противников арабского языка».

Однако усилия арабоязычной тенденции в Иране и Средней Азии были обречены на неудачу. Движение сторонников распространения персидского языка на все области письменности являлось прогрессивной исторической закономерностью, отражало народную борьбу в ряде государств Ирана и Средней Азии против политической и идейной гегемонии арабского халифата. Многочисленные социальные слои, конечно, прежде всего бурно разрастающегося в предмонгольский период городского населения (ремесленники, торговцы, чиновничество и мелкое духовенство и пр.), властно требовали приобщения к образованности, как ее понимали в то время. Эти слои, как правило, не знали и не хотели знать арабского языка. «Поскольку в целом влечение людей к чтению арабских книг уменьшилось (qāsir gardid), — писал около 1145 г. Абуль-Маали Насраллах, переводчик «Калилы и Димны» с арабского

¹ Как явствует из предыдущих слов, имеются в виду «те, что пренебрегают арабским языком и унижают его и стремятся опустить светоч его, подвигнуть аллахом».

² См. изд. J. V g o s h (Christianiae, MDCCCLIX), стр. 2—3. В переводе этого довольно трудного текста мне любезно оказали помощь В. И. Веляев и А. Т. Тагирджанов, которым приношу большую благодарность. (Многоточие соответствует некоторому сокращению при переводе.)

³ М. Б е х а р, «Сабкшинаси», т. I, Тегеран, 1942, стр. 149, прим. 1.

языка на персидский, — те мудрые изречения и поствления были заброшены, а в некоторых случаях и совсем исчезли»¹. Та же причина — широкий социальный отказ от арабского языка — заставила в 1128 г. Кубави перевести на персидский язык известное сочинение Наршахи «История Бухары». «Поскольку большинство людей, — пишет Кубави, — не проявляет влечения к чтению арабских книг, друзья потребовали от меня, чтобы я перевел эту книгу на персидский язык»².

*

Как мы видели выше, переводчики и авторы научных сочинений X—XI вв. объясняли свое обращение к персидскому прежде всего потребностью приобщить к знанию тех простых людей, которым оно было недоступно ввиду незнакомства их с арабским языком. Так, перевод «Тэфсира» Табари был сделан, очевидно, не только для самого саманида Мансура, сына Нуха, но также и для прочих, не знающих арабского языка обитателей «той страны, где языком является язык парси». Оба других саманидских перевода с арабского (антишиитского сочинения и «Истории» Табари), видимо, тоже были рассчитаны не только на «знатную», но и на «простую» персоязычную аудиторию («чернь», по выражению В. А. Жуковского). «Даниш-намеи Алаи» Авиценны рассчитана, по его словам, на «служителей престола» какуида Мухаммада, сына Душманзиара, и для удовлетворения стремления последнего к постижению «науки древних». Второе сочинение Авиценны написано на персидском языке для того, чтобы польза от этой книги была «всеобщей»³.

Приведем еще ряд очень показательных высказываний. Первое из них принадлежит известному уже нам Шахмардану и содержится в его предисловии к неоднократно упомянутому сочинению «Нузхатунамеи Алаи». Автор рассказывает о том, что он, будучи в Астрабаде, «для отдохновения и для препровождения времени составил несколько книг, в том числе [книгу] «Китаб аль-бадаи» о свойствах, пользах и природах и о разных других науках, которые были выбраны мною из большого количества книг». Непосредственно за тем идут интересующие нас слова:

«Затем, поскольку эта книга была на арабском языке, захотел я, чтобы польза от нее распространилась и стала бы она всеобщей среди знатных и простых, [и] сделал я [на основе этой книги другую] книгу на [языке] парсийи дари, кое-что добавив и кое-что сократив, как должно, и систематизировал».

(Pas az bahri ān ki ba tāzī būd xāstam tā fāyidati ān mutadāvil va muntašir gardad va miyāni xavās va 'avām'amm bašad. Kitābi sāxtaam ba pārsiyi darī va bar ān ziyādat va nuqsān kardam čunān ki bāyist va tartīb gardānīdam).

*

Как было показано выше, во втором своем — астрономическом — сочинении Шахмардан еще явнее говорит о том, что «когда делают книгу на персидском [языке], заявляют, что это мы сделали для того, чтобы тот, кто не знает арабского [языка], не остался бы обездоленным», т. е.

¹ См. М. Бехар, указ. соч., т. I, стр. 231. Как отмечает М. Бехар, знание арабского языка, процветавшее в III—V вв. х. (IX—XI в. н. э.), в VI в. х. (XII в. н. э.) пришло в упадок. В противоположность мнению Бехара, это явление, как мы видели выше, не ограничившись одним Хорасаном, постепенно распространилось и на территорию собственно Ирана.

² Текст в изд. Шефера, стр. 2.

³ Деятельность этого какуида по переводу научных сочинений на персидский язык была очень энергичной. Позже по его же приказу был переведен трактат Авиценны «Хави, сын Якзана» (см. М. Бехар, указ. соч., т. II, 38).

смог бы удовлетворить свое стремление к приобретению знаний и образования.

Следующее высказывание принадлежит Газали. Оно содержится в его предисловии к выполненной им самим между 1097 и 1105 гг. персидской переработке его известного сочинения «Ихья улум ад-дин», названной им «Камия саадат»¹.

«Эти четыре раздела и сорок принципов изложим мы в этой книге для персоязычных людей и удержим перо от высокопарных и недоступных выражений и от темных и трудных мыслей, чтобы понимание простых людей могло их постичь. Если же кто-нибудь захочет изучить то, что за пределами этого, то надлежит ему обратиться к книгам на арабском языке, как, например, к книге „Ихья улум ад-дин“ или „Джавахир аль-куран“ и к другим сочинениям, которые написаны на эту же тему на арабском языке, ибо эта книга предназначена для простых людей народа, которые просили [у меня] изложить эту тему на персидском [языке], и нельзя выпускать слова за пределы их понимания. Господь всевышний да очистит их устремление в просьбе и наше устремление в исполнении...».

(Va mā andarīn kitāb jumlayi īn šahār'unvān [va čihil] asl šarh kunīm barāyi pārsīgūyān va qalam (л. 4а) nigāh dārim az'ibārati baland va muṭlaq va ma'niyi tārik va dušvār tā fahmi'avām ānrā daryābad čī agar kāširā raḡbati tahqīqī va tadqīqī bāšad va varāyi īn buvad, bāyad ki az kutubi tāzi talab kunad čun kitābi «Ihyā'ulūm ad-din» va kitābi «Ĵavāhir al-qur'ān» va tasānifi dīgar ki dar in ma'nī ba tāzi karda āmada ast ki maqsūdi īn kitāb'avāmi xalq ast ki īn ma'ānī ba pārsī iltimās kardand va suxan az haddi fahmi īšān dar natavān guzašt, īzadi subhāna va ta'ālā niyyati īšān dar iltimās va niyyati mā dar ijābat pāk gardānād).

Приведенные слова Газали очень показательны. Знаменитый богослов и организатор официальной церкви в молодом тюркском сельджукском государстве несомненно был особенно заинтересован в распространении своей доктрины среди широких кругов населения. В этих целях он вводил персидский язык в ранее запретное для этого языка богословие, снесьа использовать в интересах церкви новое могучее орудие идеологического воздействия на народ, лишь недавно вновь получивший письменность на родном языке.

С такой же целью обращается к персидскому языку младший современник Газали, автор упомянутого выше медицинского сочинения «Захирей Хорезмшахи», также озабоченный возможно более широким распространением своего труда: «Так [я] составил эту книгу.... и сделал [ее] на персидском языке, чтобы... польза от этой книги дошла бы до всякого человека и пользовался бы [ею] знатный и простой»².

Необходимость пользоваться персидским языком как средством для удовлетворения запросов широких неподготовленных кругов ощущал в начале XIII в. и знаменитый астроном Насираддин Туси при составлении своего столь популярного впоследствии сочинения «Ахлаки Насири». Вот что говорит Насираддин Туси в предисловии к этой работе, написанной им около 1225 г. в Кахистапе при дворе исмаилитского правителя (хакима) этой области Насираддина Абдаррахмана, сына АбуМансура³:

¹ См. М. Бехар, указ. соч., т. II, стр. 163. Текст привожу, сравнив три рукописи Института востоковедения АН СССР: 1) В-928 — экземпляр, переписанный в шабана 800 г. х. (апреле 1398 г.), 2) В-930 — переписан в 957 г. х. (1550 г.) и 3) А-314 — переписан в 1000 г. х. (1591—92 г.). В основу положен текст рукописи В-928, л. 36.

² Цитированное выше предисловие к «Захирей Хорезмшахи». Многоточие обозначает пропуск некоторых риторических оборотов.

³ Цитирую в переводе по единственно доступному мне здесь тексту индийской литографии 1913 г., стр. 8 и сл.

«Во время пребывания моего в Кахистане на службе хакима этой области, когда зашел однажды на меджлисе Насираддина Абдаррахмана, сына Абу-Мансура, разговор о книге Ибн-Мушкуйе «Китаб ат-тахарат», приказал он (т. е. хаким. — А. Б.) составителю этой книги то драгоценное сочинение обновить сменной словесной одеждой — переводом с арабского на персидский, ибо, если люди нашего времени, в большинстве своем лишенные образованности (адаб), от чтения этой книги приобретут знания, то будет это наиболее совершенным оживлением доброго дела».

Мы располагаем и другим свидетельством, относящимся к этому времени, т. е. к началу XIII в., и к такому значительному центру культурной жизни Ирана, как салгуридский Шираз. Здесь, как известно, около 1230 г. было закончено составление наиболее полного трактата по персидской поэтике — «Аль-му'джам фи ма'аир аш'ар аль-'аджам» Шамси Кайса Рази¹. Рассказывая в предисловии об обстоятельствах написания своей работы, Шамси Кайс сообщает, что трактат в первой редакции был им написан на арабском языке с примерами из арабских поэтов. Вслед за тем, прибыв в Шираз и восстановив в первоначальном виде ту часть работы, которая погибла во время столкновения с монголами, он представил свое сочинение на рассмотрение ширазских «фузала». Часть из них работу одобрила, однако «другие острословы и поэты, творившие чудеса в области стихов парси и образов дари, стали возражать против того, что сочинение основано на арабском языке, говоря, что не следует соединять два [разных] сочинения в одно и давать одно разъяснение для двух [разных] языков таким образом, что польза от этого будет ограничена только одним народом и ни одному из людей тех двух языков не будет возможно извлечь из этого пользу для себя. Общепринято, что авторы вводят в персидские сочинения арабские стихи или арабские отрывки, в которых есть надобность, но никто не вводит персидских стихов или толкований лексики дари (šarh va naqdī luḡati dārī) в арабские произведения. Именно по этой причине ходжа имам Рашид Катиб, вознамерившись разъяснить тонкость искусства [писания] арабских и персидских стихов и составить сочинение о правилах для них, построил свою книгу „Хадаик ас-сихр фи дакаиш аш-ши'р“ на основе языка дари и изложил стихотворные приемы и объяснил словесные фигуры на языке дари, ибо знал, что польза от этого будет более распространенной (ʿāmmatar bašad) и удовлетворение от чтения этой книги увеличится у большинства людей. Ведь всякий арабизованный (mustaʿrib) человек сумеет понять персидский стих, но не всякому персоязычному поэту (zāʿirī pārsīgīyū) доступно понимание арабского языка»².

Таким образом, и в данном случае перед нами свидетельство современника о разделении культурного слоя общества на две части — двуязычную и только персоязычную; для удовлетворения интересов последней и был написан на персидском языке лучший в истории персидской литературы научный трактат о поэтике.

Вышеприведенные наблюдения касались, как было указано, прежде всего языка впеелитературных — научных, прозаических текстов. Первым образцом светской художественной прозы на персидском языке был, возможно, не дошедший до нас перевод со среднеперсидского языка «Синдбад-нам» — древнего сборника рассказов «о женском коварстве», выполненный в саманидской Бухаре³.

Насколько нам известно, эта попытка была единственной. Другими

¹ Издание GMS, X, 1909, с предисловием М. Казвини.

² Там же, стр. 7—8 предисловия автора.

³ См. Е. Э. Бертедьс, Образец таджикской художественной прозы XII века, «Краткие сообщения Ин-та востоковедения», IX, М., 1953, стр. 38. Датировка этого перевода 950-м годом все же сомнительна.

словами, арабский язык, вытесненный в X в. из области поэзии и научной прозы, продолжал сохранять свои позиции в области прозы художественной («Макамы», «Калила и Димна», «1001 ночь» и др.). В течение X и первой половины XI в. в Средней Азии и Иране возникло более 20 прозаических произведений на персидском языке в различных отраслях науки, в том числе в историографии, а также в области суфизма¹, но первый достоверный образец светской художественной прозы², после упомянутого выше неясного для нас перевода «Синдбад-намэ», появился только примерно через 250 лет после внедрения персидского языка в область поэзии. Этим первым образцом был упомянутый выше перевод знаменитого цикла древних басен «Калила и Димна», выполненный около 1145 г. в Газне. Рассказывая о своих предшественниках, переводчик Абуль-Маали Насраллах говорит, что он перевел с арабского и обработал старый сюжет, «... дабы воскресить эту книгу, которая была тысячелетним трупом, чтобы люди не остались в стороне от пользы ее»³.

По собственному определению Насраллаха, его обработка выразилась в «отделке слога» путем «распространения слов и раскрытия намеков». Следующее произведение этого рода появилось уже через 11—12 лет. Это «Макамы» Хамидаддина Абу-Бекра Махмуди — произведение, написанное в Балхе в 1156—1157 гг. и представляющее собой сильно авторизованную переделку знаменитых арабских «Макам» Хамадани и Харири⁴.

В пространном предисловии к своему сочинению автор совершенно определенно говорит о причинах, которые привели его к созданию персоязычного варианта столь популярных «Макам», написанных на арабском языке его предшественниками (первый из них был по происхождению персом). Причины эти — те же, что и в отмеченных выше случаях: приобщение к арабоязычной образованности более широкого круга людей, лишенных дотоле возможности пользоваться ею ввиду незнания арабского языка.

«Во время сего собрания и приобретения⁵, — пишет Махмуди, — сказал мне тот, повиновение приказу которого было для души моей сущностью обязательности и заповедью очей и исполнение повеления которого [было] для чести моей долгом и верой: обе сии прежние соединенные макамы, составленные в арабских выражениях и хиджазских словах, хотя и совершенны, однако нет от них пользы для всех неарабов. Если бы мускус и алоэ этого благоволия насытились еще амброй, то обоняние ума наполнилось бы благовонием такой тройственной смеси и если бы эта двойная чаша стала тройной, то драгоценное ее ожерелье отменило бы [надобность] в драгоценных камнях рудников. Хотя каждая из этих [макам] по красноречию — рудник и по прелести — душа, однако обе они составлены арабскими словами и мясное яство и халва их — в хиджазской тесде. Неарабы лишены тех удивительных тонкостей и персы не владеют теми поразительными словами. Сказки балхцев не хороши в словах керхийцев, а рассказы

¹ См. М. Бехар, указ. соч., т. II, разделы 1, 2 и 3.

² Мы не считаем такой художественной прозой суфийские рифмованные молитвы Ансари (†1088 г.).

³ М. Бехар, указ. соч., т. I, стр. 231, примечание.

⁴ По свидетельству самого Махмуди (в предисловии к его сочинению), оно начато в конце месяца джумада II 551 г. х. (в августе 1156 г.). Об авторе и его произведении см. подробнее Э. Браун, указ. соч., II, стр. 328 и сл., а также М. Бехар, указ. соч., т. II, стр. 328 и сл., где дан подробный стилистический разбор произведения.

⁵ Имеется в виду испытанное автором наслаждение при чтении «Макам» Хамадани и Харири.

рейцев не привлекательны в выражениях арабов. Четверостишие:

Если с новым другом надлежит говорить о старом горе,
То говорить нужно обязательно на его языке.
La taf'al и if'al¹ не принесет особенной пользы,
Когда нужно сказать персу kun и shakun.

В следующей части предисловия Махмуди говорит о том, как он подошел к обработке своих арабских образцов и как обходился со стихотворными цитатами. Непосредственно затем заканчивает он предисловие следующими словами:

«Таким образом, смешал я арабское с персидским и продел в уши слов арабские украшения и дарийские жемчуга, дабы читатели знали, что в осанненности нет упущения и в состоянии нет слабости, а помощь и содействие от Аллаха...»².

Так обнажаются перед нами самые корни риторического стиля персоязычной художественной прозы—последнего участка средневековой письменности, оставшегося во власти арабского языка в Средней Азии и в Иране. В этом нашел свое завершение первый период формирования того литературного языка феодального общества, который впоследствии лег в основу нарождающихся национальных языков—языка иранской буржуазной нации, с одной стороны, и таджикской социалистической нации, с другой.

Приведенные факты из истории развития персидского языка вполне подтверждают некоторые принципиальные выводы, сделанные, как было указано в начале этой статьи, П. И. Коппом на материале истории литературных языков Японии и Китая. Выводы, подкрепленные и проверенные материалом из смежной области, приобретают характер положений, определяющих некоторые общие закономерности развития литературных языков. Эти положения таковы:

1. Сложение национального литературного языка является лишь заключительным этапом длительного и сложного подготовительного процесса в виде развития литературного языка народности в недрах докапиталистической формации.

2. В процессе своего развития литературный язык народности может пройти через «несколько различных по времени исторических форм»³ в пределах одного языка.

3. В определенных исторических условиях смене подвергается не предшествующая «историческая форма» данного языка, а господствовавший ранее по тем или иным причинам язык другой народности—прежнего политического гегемона.

4. Противоречие между одним литературным языком и другим, идущим ему на смену, носит ярко выраженный антагонистический характер и отражает глубокие общественно-политические противоречия процесса образования и жизни отдельных народностей.

5. Новый литературный язык, идущий на смену старому, есть всегда язык исторически прогрессивный, более совершенный, т. е. отвечающий требованиям значительно более широкой социальной базы. Победа нового литературного языка есть исторически неизбежная закономерность.

¹ «Не делай» и «делай» по-арабски и то же по-персидски соответственно в 4-й строке.

² Перевод текста, сведенного по литографированным изданиям: Тегеран, 1290/1873, стр. 4 и Кауялур, 1296/1879, стр. 4—5.

³ П. И. Копп, указ. соч., стр. 40.

Э. Г. ТУМАНЯН

ПРЕВРАЩЕНИЕ АРТИКЛЯ В ФЛЕКСИЮ ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА
В НОВОАРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Вопрос о путях и средствах образования грамматических форм и их значений представляет большой научный интерес. Грамматический строй языка, правда, медленно, но все же меняется, совершенствуется, одни формы сменяются другими, старые формы получают новое значение, осмысливаются по-новому.

Благодаря тому, что грамматический строй языка изменяется очень медленно, процесс образования тех или иных грамматических форм и их значений с трудом поддается изучению. Этим объясняется и тот факт, что грамматический строй языка лишь на первый взгляд кажется сформировавшимся и завершенным. При более же детальном изучении грамматического строя того или иного языка обнаруживается, что в ряде случаев образование грамматических форм и их значений представляет собой процесс незавершенный — процесс, находящийся в стадии своего становления. Именно такие случаи являются наиболее интересными для исследования. К одним из таких незавершенных, находящихся в стадии своего становления процессов можно отнести в новоармянском языке процесс превращения определенного постпозитивного артикля в флексию дательного падежа.

В армянском языке существует развитая категория постпозитивных артиклей. Определенный артикль (или член) армянского языка *n* (или *ə*, что по значению одно и то же) произошел из указательного местоимения *ayn* «тот» (лат. *ille*). Он представляет собой частицу, которая присоединяется к концу имени и определяет его. (В этом отношении некоторую аналогию представляют постпозитивные члены в болгарском языке). При склонении имен в армянском языке определенный артикль присоединяется к падежной флексии: *mard* «человек вообще», *mard-n* «определенный человек», *mard-u-n* «определенному человеку». В употреблении определенного артикля в армянском языке есть много общего с употреблением артиклей в других индоевропейских языках, однако существуют и некоторые различия.

Уже древнеармянский язык обладал развитой категорией постпозитивных артиклей. Эти артикли употребляются и в многочисленных живых диалектах армянского языка. Но употребление определенного артикля в новоармянском литературном языке имеет ту особенность, что этот артикль никогда не присоединяется к имени существительному, стоящему в родительном падеже¹. Между тем в древнеармянском языке существительное в родительном падеже, будучи определенным, могло получить определен-

¹ Исключения составляют те случаи, когда имя в родительном падеже принимает два определенных артикля, например, *kho-n-ə* (нем. *der deine*).

ный артикль: *Bayc darjçukh andrën i ver, patmelov yaçags paterazmin Vaçarşakay and pontaçis* «Но вернемся снова и расскажем о войне Вагаршака с понтийцами»¹.

Определенный артикль сохранен в родительном падеже и во многих диалектах армянского языка. «Одной из особенностей склонения существительных (в армянском языке. — Э. Т.) является еще и то, — пишет проф. А. С. Гәрибян, — что родительный падеж некоторых диалектов получает определенный артикль, в то время как литературный язык его не имеет. Например, в константинопольском и других западных диалектах — *cařin tak* (буквально: «пиз дерева»), в карабахском диалекте — *cařin takə* «низ дерева» или «под деревом»². Да и в литературном языке еще в конце XIX в. можно было найти отдельные случаи употребления определенного артикля в родительном падеже: *aleworin patiwa* «честь старика», *Xikarin hayrə* «отец Хикара»³.

Возникает вопрос, почему определенный артикль у существительных в родительном падеже новоармянского литературного языка полностью исчез? Проблема его исчезновения не являлась темой специального исследования, хотя отдельные авторы и высказывались по этому поводу, о чем будет сказано ниже. В процессе изучения категории артиклем армянского языка мы натолкнулись на ряд фактов, которые помогли нам установить определенную точку зрения на этот вопрос.

Остановимся прежде всего на морфологии самих падежей новоармянского языка. В последнем существует семь падежей: именительный, родительный, дательный, винительный, отложительный, творительный и местный. Как и в латинском языке, типы склонений имен определяются по окончаниям родительного падежа. Именительный падеж особых окончаний не имеет. Винительный падеж сходен или с именительным, или с дательным. Отложительный, творительный и местный падежи каждый имеет свою особую флексию, что же касается родительного и дательного, то они по форме абсолютно тождественны.

Единственное число

Им. пад. *matit* «карандаш»

Род. пад. *matit-i*

Дат. пад. *matit-i*

Вин. пад. *matit* (или *matiti*)

Отложит. пад. *matit-iç*

Творит. пад. *matit-ov*

Местн. пад. *matit-um*

Абсолютная тождественность двух форм для разных значений, которые выражают родительный и дательный падежи в именном склонении, существовала и в древнеармянском языке, а также может быть отмечена и в диалектах армянского языка⁴. Оставляя в стороне вопрос о генезисе этого формального совпадения родительного и дательного падежей в армянском

¹ Моисей Хоренский, История Армении, Тифлис, 1913, стр. 105 [на древнеарм. языке].

² А. Гәрибян, Методика преподавания армянского языка, Ереван, 1947, стр. 368 [на арм. языке].

³ А. Багагрезянц, Книга басен, Шуша, 1886, стр. 8, 9 [на арм. языке].

⁴ Факт вытеснения дательного падежа и замены его родительным известен и в древнеперсидском языке (см. F. Müller, Beiträge zur Declination des armenischen Nomens, Wien, 1864, стр. 4 («Sitzungsberichte der philosoph.-hist. Cl. der Akad. der Wissenschaften», Wien, 1863, Dec.), а также и в новогреческом. Любопытно, что С. Бутге это наличие падежносинкретизма в древнеармянском языке рассматривал в качестве одного из доказательств родства армянского языка с этрусским (см. S. Bugge, Etruskisch und Armenisch, стр. 16—17).

языке, отметим только, что явление это относится, повидимому, еще к эпохе задолго до появления армянской письменности, поскольку оно касается как древнеармянского языка, так и диалектов¹.

Новоармянский литературный язык (так называемый «восточный ашхарабар») ² унаследовал, как было сказано выше, эту особенность падежей. Однако совпадение форм родительного и дательного падежей, сопряженное с рядом неудобств, постепенно привело в новоармянском литературном языке к тенденции каким-то образом сделать их, во избежание двусмысленности, так или иначе отличными друг от друга. Для удовлетворения этой потребности был использован определенный артикль *л* в качестве своеобразной флексии дательного падежа, чему способствовало и то обстоятельство, что определенный артикль в армянском языке присоединяется к концу имени, после падежных флексий.

Произошло некоторое переосмысление, вернее, расширение функции определенного артикля, в результате чего в новоармянском литературном языке родительный падеж полностью потерял определенный артикль, а в дательном падеже, наоборот, его употребление участилось настолько, что он ставится даже тогда, когда существительное заведомо неопределенно по своему значению. Например: *Seṅani vra ph'vac'èr makhur sph'oç ew nra vra, mec vazi mef ... karmir u mec xñjernerin xařə çor mger* «Стол был накрыт чистой скатертью и на нем в большой вазе лежали смешанные с большими красными яблоками сухие фрукты» (Ночар, Времена). В этом примере существительное *яблоки* стоит в дательном падеже и употреблено с определенным артиклем, хотя заведомо ясно, что оно неопределенно, точно так же, как и существительные *скатерть* и *фрукты*, которые стоят в других падежах и без определенного артикля.

Так постепенно в новоармянском языке определенный артикль *л* начинает закрепляться за дательным падежом в качестве падежной флексии, с одной стороны, с другой же стороны, он совершенно перестает употребляться с родительным падежом. Процессу закрепления определенного артикля за дательным падежом в качестве падежной флексии способствует еще и то обстоятельство, что в новоармянском литературном языке определенный артикль стали терять и последние три падежа, а именно: отложительный, творительный и местный, каждый из которых имеет отдельную, собственную падежную флексию (см. парадигму на стр. 95). В настоящее время эти три падежа в литературном языке уже очень редко употребляются с определенным артиклем. (В диалектах, однако, определенный артикль в отложительном, творительном и местном падежах употребителен.)

Таким образом, фактически определенный артикль в новоармянском литературном языке употребляется с тремя падежами, а именно: с именительным, винительным и дательным. Это дает возможность ярче оттенить его значение в качестве флексии для дательного падежа, тем более, что остальные падежи оказываются так или иначе оформленными (см. парадигму на стр. 95).

Факты эти не остались незамеченными исследователями армянского языка, однако более или менее серьезных попыток осветить данное чрезвычайно любопытное явление на основании фактического материала до сих пор не было сделано. Интересное замечание делает проф. М. Абегиан по во-

¹ Отдельные слова, а также местоимения в родительном-дательном падежах древнеармянского языка имели разные формы, а местоимения и сейчас отличаются по форме в этих падежах.

² Существует еще и «западный ашхарабар», под которым подразумевается литературный язык, сформировавшийся на основе другого диалекта. В западном ашхарабаре родительный падеж может принять определенный артикль.

просу о родительном-дательном падежах новоармянского языка: «... Формальное различие родительного и дательного падежей, которое еще есть в старом языке (грабаре. — Э. Т.) для определенного количества слов, в ашхарабаре¹ совершенно исчезло, и образовался один общий родительно-дательный падеж, фактически один дательный падеж, употребление которого расширено функцией родительного падежа, т. е. падеж этот б е з а р т и к л я (разрядка моя. — Э. Т.) употребляется также и в качестве определения в родительном падеже»².

Проф. М. Абегиан считает, что в новоармянском языке нет родительного падежа, а его функцию выполняет дательный падеж. Однако при этом он делает весьма существенную оговорку, а именно, что дательный падеж может иметь значение родительного падежа только тогда, когда он употребляется без определенного артикля. А из этого мы можем сделать вывод, что дательный падеж без определенного артикля осознается как родительный, и, наоборот, если к родительному падежу прибавить определенный артикль, то он воспринимается как дательный. Проф. М. Абегиан, отвергая наличие родительного падежа в новоармянском литературном языке по той причине, что он формально не отличается от дательного, упустил из вида тот факт, что определенный артикль, который часто присоединяется к дательному падежу (и, наоборот, как правило, отсутствует в родительном падеже), сам же и является формальным признаком, дифференцирующим эти два падежа.

Действительно, без определенного артикля существительное в дательном падеже употребляется только в особых фразеологических сочетаниях, в застывших выражениях и в некоторых иных функциях, как, например, в функции дательного падежа направления, цели: *gnal jri, gnal haci* «идти за водой, за хлебом» и пр. Сюда же можно отнести и случаи, когда существительное в дательном падеже употреблено с неопределенным артиклем *mi* (*ein, un*) и неопределенными местоимениями. Во всех остальных случаях его употребление с определенным артиклем является почти закономерностью. Частое употребление дательного падежа новоармянского языка с определенным артиклем было отмечено и Финком: «Дательный падеж имен существительных употребляется почти всегда с одним из указательных суффиксов *s, d, n* (э)»³.

Некоторые авторы грамматик новоармянского языка даже полагали, что артикль *n* есть окончание дательного падежа. Так, Дагбашян, описывая в своей грамматике новоармянского языка дательный падеж, пишет, что последний отвечает на вопросы кому? чему? и оканчивается на *n*. Далее он, однако, добавляет: «Когда речь идет о неопределенном предмете, то окончание *n* дательного падежа отпадает» — и приводит пример: *Ays gir-khø es tvi mi aşakerti*⁴. «Эту книгу я дал (одному, некоему) ученику», где существительное *ученик* употребляется с неопределенным артиклем *mi* «один» (*ein*).

Этот факт использования определенного артикля в качестве окончания для дательного падежа был отмечен и Л. Мсерянцем, который пишет следующее: «Армянская народная, живая речь, унаследовав из общепармянского языка утрату формального различия между родительным и дательным, пашла, однако, способ, благодаря которому формы, имевшие

¹ Термином «ашхарабар» именуется современный армянский язык в отличие от «грабара» — древнеармянского языка.

² М. А б е г и а н, Теория армянского языка, Ереван, 1931, стр. 352.

³ F. N. F i n c k, Lehrbuch der neuostarmenischen Literatursprache, Vagarschapat—Marburg, 1902, стр. 40.

⁴ А. С. Д а г б а ш я н, Грамматика восточноармянского ашхарабара, ч. I, Тифлис, 1913, стр. 40.

значение дательного, дифференцировались известным образом. В общих чертах это различие может быть объяснено на примерах из „восточного“ новоармянского литературного языка. Здесь дательный отличается от родительного тем, что замыкается посредством *n* (одна из старых указательных частиц), за исключением тех случаев, когда стоящее в дательном падеже слово имеет неопределенный характер...»¹.

Так определенный артикль *n* стал постепенно осознаваться как своеобразная флексия дательного падежа, как формальный признак, отличающий его от родительного. И действительно, стоит только к форме родительного падежа новоармянского языка прибавить определенный артикль, как он воспринимается как дательный. Например, в предложении *Zoravari hratan ekav* «Пришел приказ командира» существительное *zoravari* «командир» стоит в родительном падеже без определенного артикля. Но если мы к этому существительному прибавим определенный артикль, то смысл всего предложения изменится: *Zoravarin hratan ekav* «Пришел приказ к о м а н д и р у». Здесь существительное *zoravarin* «командир», благодаря наличию у него определенного артикля *n*, воспринимается как стоящее в дательном падеже, в результате чего меняется и все значение этого предложения.

Приведем другие примеры. В современном армянском языке сохранились целые выражения (отрывки из народных песен, сказок), где у существительных в родительном падеже реликтивно сохранился определенный артикль. Например: *Es jin em javorin, voski athot em thagavorin*. Первоначально это предложение имело значение «Я лошадь наездника, я золотой трон царя». Существительные *наездник* и *царь*, которые являются определениями в родительном падеже, употреблены здесь с определенным артиклем. Это выражение в таком виде дошло до нас с тех времен, когда родительный падеж еще употреблялся с определенным артиклем². Однако родительный падеж с определенным артиклем на данном этапе развития языка уже осмысливается как дательный, поэтому все предложение теперь получило значение ипосе, а именно: «Я лошадь наезднику (кому?), я золотой трон царю (кому?)». Эти и подобные примеры могут служить доказательством выдвинутого положения о превращении определенного артикля новоармянского языка *n* в формальную частицу, служащую для дифференциации дательного падежа и родительного.

Можно привести и другие факты, которые показывают, как появление определенного артикля у существительного в родительном падеже переосмысливает все предложение, а в некоторых случаях образует и устойчивые словосочетания, качественно отличающиеся от таких же сочетаний слов, в которых существительное употреблено без определенного артикля. В новоармянском языке существует послелог *pes* «наподобие, подобно, как», который управляет родительным падежом³. Имя существительное после этого послелога, как правило, стоит в родительном падеже и поэтому без определенного артикля. Например: *mardu pes* «наподобие человека». Могут быть и случаи, когда с послелогом *pes* употребляется неопределенная форма глагола (инфинитив), которая в армянском языке может склоняться, а также получить определенный артикль. При употреблении с послелогом *pes* инфинитив не получает определенного артикля по той причине,

¹ П. Мсерянц, Этюды по армянской диалектологии, часть II, вып. 1, М., 1901, стр. 119—120.

² Случаи употребления родительного падежа с определенным артиклем в новоармянском литературном языке, как показали примеры, встречались еще в конце XIX в.

³ Первоначально он являлся именем существительным. В грабаре это слово означало «подобие».

что стоит в родительном падеже. Например: *grelu pes* (буквально: «наподобие писания»). В некоторых случаях инфинитив с послелогом *pes* все же получает определенный артикль. Но как только он получает определенный артикль, он тотчас же перестает осмысляться как родительный падеж и теряет свое обычное значение «наподобие чего-то». Получив определенный артикль, сочетание послелога *pes* с инфинитивом образует специфическую конструкцию, выражающую непосредственную последовательность двух действий. Значение это оно получает именно благодаря появлению определенного артикля *n*. Например: *Tun galun pes skseci patrastvel* «Как только пришел домой, стал готовиться...». *Ergə verjačnelun pes caphaharuthyunner lsvəcin* «Как только кончил песню, слышались аплодисменты».

В этих предложениях инфинитивы употреблены с определенным артиклем *n*, в результате чего послелог уже не выражает обычного значения «наподобие чего-то», а образует в сочетании с инфинитивом оборот, означающий «как только». Такое значение эти выражения получили потому, что определенный артикль дифференцировал форму родительного падежа, обычную для послелога *pes*, и дательного, благодаря чему обычное сочетание слов, каким являлось сочетание послелога *pes* с родительным падежом, превратилось в словосочетание *pes* с дательным падежом. В тех же случаях, где отсутствует определенный артикль, послелог *pes* во всех своих сочетаниях с родительным падежом означает просто «наподобие чего-то». Например: *Aprum ē thagavori pes* «Живет как царь». Значения последовательности двух действий здесь уже нет. Можно привести и другие доказательства, подтверждающие то положение, что определенный артикль *n* является, кроме всего прочего, еще и своего рода флексией для дательного падежа.

Выше было сказано, что в родительном и дательном падежах разные формы имели главным образом местоимения. Так, например, указательные анафорические местоимения *sa, da, na* в древнеармянском языке для родительного падежа имели формы *sora, dora, nora*, а для дательного — *sma, dma, nma*. В дальнейшем формы дательного падежа *sma, dma, nma* исчезли, остались только формы родительного падежа, которые одновременно выражали и значение дательного падежа. Таким образом, произошла унификация форм дательного и родительного падежей. Однако процесс развития языка шел дальше, в результате чего появилась новая тенденция противоположного характера, а именно, тенденция распада форм этих двух падежей. И вот, уже в новоармянском языке, формы родительного падежа *sora, dora, nora* (подвергшиеся стяжению и превратившиеся в *sra, dra, nra*) стали снова выражать только значение родительного падежа, т. е. получили свою первоначальную функцию, а для дательного падежа стали употребляться формы *sran, dran, nran*, поскольку *n* стал восприниматься как флексия, показатель дательного падежа. Таким образом, и в этом случае произошла дифференциация дательного падежа и родительного и опять-таки при помощи артикля *n*. По мнению М. Абеяна, это конечное *n* в местоимениях *sran, dran, nran* не является в сущности своей определенным артиклем, который обычно прибавляется к дательному падежу имен существительных для отличия от родительного, а является своего рода именной падежной флексией этих местоимений. Это *n* в местоимениях *sran, dran, nran* сохраняется и в других падежах. Например: отложительный *sranic*, творительный *sranov*, местный *sranum* и т. д.

«Следовательно, надо считать, — пишет М. Абеян, — что конечное *an* в формах *sran, dran, nran* является именной флексией, которая прибавлена

к древнейшим формам родительного падежа *sor, dor, nor*¹. Далее М. Абегиан делает вывод, что хотя это конечное *n* само по себе не является определенным артиклем, но на современном этапе языкового мышления уже воспринимается как определенный артикль и выполняет роль артикля, а для дательного падежа — тем самым и роль своеобразной флексии. Точно так же и ряд имен существительных, имеющих в родительном и тождественном с ним дательном падежах окончание *an*, в результате процесса дифференциации этих падежей посредством определенного артикля *n* стали в родительном падеже постепенно терять это окончание, а в дательном, наоборот, прочно удерживать его. Например, известно, что конечное *n* у существительных *aġkan, orvan, tarvan* (формы родительного-дательного падежей существительных *aġik* «девушка», *or* «день», *tari* «год») не является определенным артиклем, однако когда эти существительные сейчас употребляются в родительном падеже, то это конечное *n* отпадает: *Es vereri ays aġka girkhə* «Я взял книгу этой девушки». Здесь существительное *aġka* «девушка» стоит в родительном падеже и теряет свое конечное *n*. Но в предложении *Es tvi girkhə ays aġkan* «Я дал книгу этой девушке» существительное *aġkan* «девушка» стоит в дательном падеже и сохраняет свое конечное *n*. Таким образом, если формы *aġkan, orvan, tarvan* раньше осмыслились как формы родительного-дательного падежей, то на данном этапе языкового развития для родительного падежа употребительны формы *aġka, orva, tarva*, а для дательного — *aġkan, orvan, tarvan*.

Из всего вышеизложенного можно сделать следующий предварительный вывод. Когда в процессе развития языка появляется необходимость выражения определенного грамматического значения, язык обычно прибегает к мобилизации внутренних средств, а не к созданию новых форм, хотя и эта возможность вовсе не исключена. Большей частью в языке наличествует тенденция использования старых форм, их переосмысление для выражения нового значения.

Употребление определенного постпозитивного артикля в новоармянском языке в качестве флексии для дательного падежа является одним из случаев такой мобилизации внутренних средств языка для создания новой формы. Здесь фактически имеет место раздвоение функции одной и той же грамматической формы, поскольку старое значение сохраняется при одновременном употреблении этой формы в новом значении. Действительно, определенный артикль *n*, превращаясь в флексию дательного падежа, не потерял своего основного значения — определенности. Об этом свидетельствует, во-первых, его употребление в значении определенного артикля в других падежах и, во-вторых, его отсутствие в дательном падеже в тех случаях, когда существительное в дательном падеже неопределенно, например, имеет неопределенный артикль или неопределенные местоимения. Все это позволяет нам прийти к выводу, что превращение определенного артикля в новоармянском языке в флексию дательного падежа в целях его отличия от родительного падежа находится в стадии своего оформления.

¹ М. Абегиан, указ. соч., стр. 351.

В. В. ВИНОГРАДОВ

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ

Полномочный и правомочный

В русском литературно-книжном языке есть два составных слова, в которых второй частью сложения является прилагательное *мочный* — восточнославянский эквивалент старославянизма *моцный*. Это слова *полномочный* и *правомочный*. С ними связаны отглагольные существительные *полномочие*, *правомочие*. От слова *полномочие* произведен глагол *уполномочить*, причастие страдательное — *уполномоченный*, существительное — *уполномочие*. В современном русском языке слова *правомочие* (беспорное, полное обладание каким-нибудь правом) и *правомочный* (обладающий правом на что-нибудь, какими-нибудь правами, полномочиями) являются терминами государственного права. Книжные же слова *полномочие*, *полномочный* и особенно *уполномочить*, *уполномоченный* имеют более широкое употребление, хотя и на них лежит густой налет официально-письменного, государственно-правового стиля.

Полномочие — власть или права, предоставленные кому-нибудь (*Депутатские полномочия*. *Полномочия дипломатических представителей*. *Комиссия, обладающая неограниченными полномочиями*).

Полномочный — обладающий какими-нибудь полномочиями¹ (*Полномочный посол*. *Полномочный министр*. *Полномочный представитель*. *Полномочное представительство*; ср. советские сокращенные новообразования: *полпред*, *полпредство*).

Уполномочить — снабдить полномочиями на что-нибудь, доверить сделать что-нибудь от своего имени.

Уполномоченный — сверх значения страдательного причастия от *уполномочить* — также доверенное лицо, действующее на основании каких-нибудь полномочий. Слово *уполномочие* употребляется только в официальном-канцелярском языке — в предложном сочетании: *по уполномочию* кого-чего — по доверенности, по предоставленному кем-нибудь полномочию («подписать договор за кого-нибудь по уполномочию»).

Слово *полномочный* является калькированным переводом латинского *plenipotens*, так же, как *полномочие* — *plenipotentia*. Соответствующие польские заимствования были у нас в ходу в официальном языке Петровской эпохи. Это слова:

«*Пленипотенциар*, пол. *plenipoten-cyaryusz*, полномочный министр. Для трактования император своих пленипотенциаров послать соизволяет. Поли. собр. зак., т. V, № 3014.

¹ В народных говорах слово *полномочный* (*полномошный*) иногда употребляется в значении: «состоятельный, богатый» (ср.: В. И. Чернышев, Сведения о народных говорах некоторых селений Московского уезда, СПб., 1900, стр. 142; В. Г. Боровцов, Областной словарь колымского русского наречия, СПб., 1901, стр. 112).

Пленипотенция, пол. *plenipotencja*, полномочие. Дабы господа конфедераты своих пленипотенциаров с пленипотенциями туда назначили. Полн. собр. зак., т. V, № 3014»¹.

Ср.: «*Высокомочный*, пол. *wysokomocny*, могущественный. (Его величество) высокомочным господам статам генеральным предлагать повелел... Шафиров. Рассуждения о войне с Карлом XII, стр. 32»².

Ср. в письме протоиерея П. Алексеева к Ф. Дубянскому (1763): «...не допустить до крайней бедности, но отвратить оную ими же вѣсте способности и далече от нас своим многомочным ходатайством прогнать находящую мрачную тму горестей...»³.

Лежащие в основе всей этой цепи терминов слова *полномочие*, *правомочие* (*полномочный*, *правомочный*) кажутся типичными книжными словосложениями на «славенский лад» (ср. *глубокомыслие*, *православие*, *полнокровие*, *малодушие*, *великодушие* и т. п.). И значение их не возбуждает больших недоумений и вопросов. Неясно лишь время их образования: когда эти слова могли быть произведены? Правда, можно повернуть вопрос и в другую сторону: что раньше возникло — *полномочный* и *правомочный*, а затем уже к ним образованы отвлеченные существительные на *-ие*: *полномочие* и *правомочие*, или, наоборот, сначала появились слова *полномочие* и *правомочие*, а позднее образованы к ним имена прилагательные? Кроме того, спрашивается: появились ли оба ряда слов: *полномочие* — *полномочный* и *правомочие* — *правомочный* в одно время или в разные периоды истории русского литературного языка? Удобнее всего начать исторический анализ со слов *правомочие*, *правомочный*. Слово *право* в общеевропейском значении *ius*, *das Recht* укоренилось в русском языке не ранее XVI—XVII вв. Следовательно, и слова *правомочие*, *правомочный* могли возникнуть не ранее этого времени. Однако они не зарегистрированы даже в академическом «Словаре церковнославянского русского языка» 1847 г. и в «Толковом словаре» В. И. Даля. Следовательно, можно предполагать, что эти слова сложились и вполне укоренились как правовые термины лишь во второй половине XIX в. Любопытно, что польские соответствия — *prawomocny*, *prawomocność* имеют более давнюю и глубокую историю. Проф. Н. С. Трубецкой в своей книге «К проблеме русского самосознания» (1928) считал польское *prawomocny* калькой немецкого *rechtskräftig* (*Rechtskräftigkeit*) и ставил русское *правомочный* в непосредственную генетическую зависимость от польского слова *prawomocny*. При этой гипотезе образование русских слов *правомочный*, *правомочие* пришлось бы отнести к периоду сильного польского влияния на русский язык, ко второй половине XVII — к началу XVIII в. Но для такого утверждения нет никаких оснований. Показательно, что в «Полном немецко-русском лексиконе, из большого грамматично-критического словаря господина Аделунга составленном», ч. 2 (СПб., 1798, стр. 274), нем. *rechtskräftig* переводится не через *правомочный*, а описательно: «действительный, достоверный, законный, на законах утверждённый» (*Ein rechtskräftiges Urtheil* — «приговор по закону»). Но ср. тут же: *Rechtswissenschaft* — «правоведение», *rechtsverständlich*, *rechtsgelehrt* — «правоведущий» (стр. 275).

Все эти факты ведут к выводу, что слова *правомочие*, *правомочный* могли сложиться и независимо от влияния нем. *rechtskräftig* в русском литературном языке XIX в. по образцу *полномочие*, *полномочный*. Ориентация на польские образцы *prawomocny* и *prawomocność* не исключается.

¹ Н. А. Смирнов, Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху, СПб., 1910, стр. 228.

² Там же, стр. 76.

³ «Русский архив», М., 1882, кн. 2, стр. 70.

Слова *правомочие* и *правомочный* не включены в число «Дополнений и заметок» к «Толковому словарю» В. И. Даля ни одним из его критиков — ни П. Шейном (СПб., 1873), ни И. Ф. Наумовым (СПб., 1874), ни акад. Я. К. Гротом (СПб., 1870). Это говорит о том, что в 60—70-е годы XIX в. эти слова еще не были в широком употреблении. Они были внесены в «Толковый словарь» В. И. Даля проф. И. А. Бодуэном де Куртене, (4-изд., т. III, стр. 991):

«*Правомочие*, ср.: „Бюрократия, конечно, не могла предоставить земству таких прав, которые наделяли бы представителей земства правомочиями, превышающими объем обывательских правомочий“.

Правомочный, имеющий право, удовлетворяющий требованиям закона. „В Полтаве числится правомочных избирателей в Государственную думу по имущественному цензу 463, кучеческого сословия 200, квартирантанимателей 6“».

Итак, слова *правомочие*, *правомочный* появились в русском литературном языке в последней трети XIX в., во всяком случае не ранее 60-х годов XIX в. Соответствующие понятия в западноевропейских языках выражаются словами: во французском — *compétence* (ср. рус. «компетенция, в пределах чьей-нибудь компетенции»), *compétent*; в английском — *competence*, *competent*; в немецком — *Machtbefugnis*, *machtbefugt*. Ср. чеш. *pravomoc*, *pravomocny*; польск. *prawomocny*, *prawomocnie*. Подозреваю влияние нем. *rechtskräftig*, *Rechtskräftigkeit* на процесс формирования этих слов возможно, но не нужно, и придавать ему решающую силу при наличии русских образований *полномочие*, *полномочный* и западнославянских *pravomocny* (польск.), *pravomocny* (чеш.) нет оснований.

Слова *полномочный*, *полномочие*, *уполномочить* приводятся во всех русских словарях, начиная со «Словаря Академии российской» (ч. IV, СПб., 1822, стр. 1435—1436): «*Полномочие* — полновластие, полная власть в чем. *Дать кому в чем полномочие*. «*Полномочный*, -ная, -ное и ус. *полномочен*, чпа, чпо, прил. Полновластный; полную, совершенную власть, мочь в чем имеющий. *Полномочный посол*».

Слова *полномочие*, *полномочный*, *уполномочить* образовались в русском литературном языке первой трети XVIII в. В этом процессе нельзя не видеть влияния польского и других западноевропейских языков. Прежде всего необходимо вспомнить польск. *pełnomocny*, *pełnomocność*, которые сами могли сформироваться по образцу лат. *plenipotens*, *plenipotencia*, нем. *Vollmacht*, *vollmächtig*; ср. франц. *plénipotentiaire*.

На ближайшую связь с польским языком может указывать и слово *высокомочный*, которое вошло в русский литературный язык петровского времени из польского языка¹. Правда, слово *мочный* (ср. *мочь*), утраченное русским литературным языком в начале XIX в., было очень употребительно в государственно-деловом языке предшествующей эпохи. Особенно широко распространено было безличное *мочно* в значении «можно». Например: «А и то было тебе, милостивый королю, мочно разумети...» («Памятники смутного времени», 2-е изд., стр. 23). Ср. в «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского (т. II, стр. 180): «Со мною дружиною безъ страха мочно пройти. Дан. и.г.»; «Толико бо бог прославил святя мѣста, еже не мочно разстатися. Стеф. новг. 1347 г.».

Любопытно, что в «Немецко-латинском и русском лексиконе» (СПб., 1731) встречается слово *полномочие*. Нем. *Vollmacht*, *hab'ich hierinnen*, лат. *hoc arbitrio meo permissum est* переводятся фразой: «я в сем полномочии, полную власть имею» (стр. 723). Здесь *полномочие* возникает как калька, как славянизированный перевод нем. *Vollmacht*.

¹ См. мой «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.», М., 1938, стр. 57.

Искусственность этого образования очевидна (ср. отсутствие других аналогичных образований от старославянского *моць* вроде: *всемоцше, високомоцше, безмоцше* и т. п.). Напротив, если допустить первичность образования *полномоцный* (ср. *моцный*), то и *полномоцше* получит некоторое морфологическое оправдание. Однако под влиянием таких слов, как *высокомочный*, и здесь быстро устанавливается форма *полномочный*, а вслед за нею и *полномочие*.

Слово *моцный* как живое отмечалось словарями Академии российской. Даже в академическом «Словаре церковнославянского и русского языка» (т. II, СПб., 1867, стр. 687) оно приведено без всяких стилистических помет. Здесь читаем: «*Мочный*, ая, ое, — чен, чна, о пр. 1. Имеющий большую мочь, крепкий телесными силами; дюжий, моцный. *Мочный богатырь*. 2. Сильный властью, богатством. *Временщики мочны не надолго*»¹. Последний пример явно восходит к живой разговорной речи второй половины XVIII в.

Таким образом, все материалы для образования слова *полномочный* и живые модели для образования отвлеченного существительного *полномочие* в русском языке конца XVII — начала XVIII в. были налицо. Но толчок к этому образованию мог, действительно, исходить из польского и латинского языков.

В «*Полном немецко-русском лексиконе*», ч. 2 (стр. 856), нем. *die Vollmacht* передается так: «1) полномочие, полная мочь. *Jemanden Vollmacht zu etwas ertheilen* — уполномочить кого к чему. *Vollmacht zu etwas haben* — полномочие к чему иметь; 2) полномочие, кредитивная грамота, верующее письмо, доверенность. *Seine Vollmacht aufweisen* — показать свою верующую грамоту».

Косвенное доказательство возникновения слов *правомочный, правомочие* во второй половине XIX в. можно извлечь из истории слов *правоспособный* и *правоспособность*. Слова *правоспособность* и *правоспособный* являются терминами науки о праве. *Правоспособность* — это способность быть носителем прав и обязанностей, быть субъектом права. *Правоспособный*, -ая, -ое; -бен, -бна, -бно — являющийся субъектом права, обладающий правоспособностью.

Присматриваясь к морфологической структуре этих слов, легко заметить, что они входят в ряд сложных правовых терминов позднего происхождения, возникших в русском языке во всяком случае не ранее середины XIX в. и содержащих в первой своей части слово *право*. Таковы: *правомочие, правомочный, правомерность, правомерный, правопорядок* и некоторые другие (ср. *правонарушение*, нем. *Rechtsverletzung, правонарушитель, правопоражение* и т. п.). С другой стороны, вторая часть в составе словосложения у *правоспособность, правоспособный* является общей, однородной с такими словами, как *дееспособность, дееспособный, трудоспособность, трудоспособный, работоспособность, работоспособный*. Слово *дееспособность* в современном русском языке обозначает: 1) право на совершение действий юридического характера, определяемых положительным законодательством; 2) вообще способность к деятельности. *Дееспособный* как правовой термин также значит: имеющий право на совершение действий юридического характера и несущий ответственность за свои поступки. Кроме того, *дееспособный* имеет и общее значение в книжном языке: способный к деятельности.

Слова *дееспособность* и *дееспособный* образованы около середины XIX в.

¹ Ср. в «Толковом словаре» В. И. Даля: «*Мочный*. *моцный*, сильный, крепкий, дюжий, ражий, дебелий, плотный, здоровый; //могучий, могучной, властный, многомогущий. *Мочность*, ж. *моцность*, мочь, мочуга, мочугство; сила, крепость, коренность; власть» (2-е изд., т. II, СПб.—М., 1881, стр. 362).

Они еще не зарегистрированы в академическом «Словаре церковнославянского и русского языка» 1847 г. Но слово *дееспособность* уже вошло в «Толковый словарь» В. И. Даля. Следовательно, слово *дееспособность* сложилось в русском литературном языке в 50—60-е годы XIX в. Можно думать, что на процесс его образования повлияло нем. *Handlungsfähigkeit* (ср. *handlungsfähig*). Это влияние сказывалось на общей модели словосложения (*дееспособность*; ср. *Handlungs-fähigkeit*), но самый выбор морфемы *дее* (*дее-причастие*), а также соотношение и связь частей (ср. *деяние*, *дееписание* и т. п.) совершенно оригинальны и крепко спаяны с морфологической и семантической системой русского литературного языка.

Слова *трудопособность* и *трудопособный*, *работоспособность* и *работоспособный* не помещены даже в «Толковом словаре живого великорусского языка». Они сложились в русском литературном языке XX в. (ср. нем. *Arbeitsfähigkeit* — *arbeitsfähig*). На фоне этих сопоставлений становится ясным, что слова *правоспособность* и *правоспособный* могли появиться в русском литературном языке лишь во второй половине XIX в.

Ив. Желтов в своих «Кратких грамматических заметках» писал о «новоизмышленных словах»: «За последние 30 лет наплодилось у нас немало выражений, в прежнюю пору вовсе не встречававшихся. Говорят, что с новыми понятиями образуются или заимствуются и новые слова. Но действительно ли это так, еще очень сомнительно. По крайней мере, не знаем, чтобы иные из этих слов обозначали новые понятия. Напротив, понятия-то и прежде были, только понадобились, видно, новомодные слова, зачастую страдающие отсутствием всякого смысла. Что такое, напр., введенные в наш судебный язык выражения: *правомерность*, *правоспособность*, *судоговорение*. Не мудрствующий лукаво русский человек будет соединять с ними понятия о *правой мере*, о *правой способности*, о *говорении суда* (т. е. судебного присутствия).

Первые два слова суть буквальные, но по-русски просто непонятные сколки с немецких: *Rechtmässigkeit*, *Rechtsfähigkeit*; последнее же — неуклюжая переделка немецкого *Rechtsprechung*, т. е. отправление правосудия, причем составители его затруднились перевести буквально *правоговорение*, потому что под этим можно было бы понимать, подобно правописанию, отдел грамматики об искусстве правильно говорить¹.

Даль не отметил слов *правоспособность*, *правоспособный* в первом издании своего «Толкового словаря». Объясняется это тем, что эти слова образовались и стали распространяться лишь в русском литературном языке 60-х годов. На пропуск слов *правоспособность*, *правоспособный* у В. И. Даля указал И. Ф. Наумов в своих «Дополнениях и заметках к „Толковому словарю“ Даля» (СПб., 1874, стр. 29). Здесь подчеркивается, что «правоспособность требуется судебным уставом 20 ноября 1864 г. при совершении актов».

Повидимому, *правоспособность* и *правоспособный* формировались как кальки нем. *Rechtsfähigkeit*, *rechtsfähig*.

Самоуправление

При исследовании генезиса и семантической эволюции научных, общественно-политических и технических терминов необходимо сочетать историко-морфологический анализ слов с культурно-историческим изучением самих соответствующих предметов, явлений или понятий. Если

¹ И. Желтов, Краткие грамматические заметки, ФЗ, 1890, вып. IV—V, стр. 8—9.

взять, например, слово *самоуправление*, то по своей морфологической структуре оно представляется древним славянизмом. В самом деле, слово *управление* известно из древнейших русских памятников — как гражданских, так и церковных. Оно отмечено и в поучении Владимира Мономаха, и в поучениях Григория Назианзина (по рукописи XI в.), и в Изборнике 1073 г., и в Житии Феодосия, и в Рязанской Кормчей (по списку 1283 г.), и в Псковской летописи. В слове *управление* здесь сочетаются и старославянские и народные русские значения — соответственно значениям глаголов *управить* — *управлять* и *управиться* — *управляться* в древнерусском языке¹. В смысле «действие», «дело», «подвиг» слово *управление* (в форме мн. числа) встречается в древнеболгарском «Богословии» Иоанна Экзарха Болгарского.

Сложение с местоимением *само* отвлеченных имен действия и состояния также принадлежит к числу старославянских моделей словосложения. Ср. *самобытие*, *самосластие*, *самовольство*, *самодержавство*, *самозаконие*, *самолюбие*, *самоменьшие*, *самособие* (неделимость, единство), *самототие*, *самохотыние* и т. п.².

Любопытно, что среди старославянских сложных имен прилагательных отмечено слово *самоправный* (греч. *autostoichos* в Пандектах Антноха XI в.). Все это делает вероятным предположение, что слово *самоуправление* могло сложиться в древнейший период истории старославянского или русского литературного языка. И все же такое образование не отмечено в русских литературных текстах до середины XIX в. Надо заметить, что сложные имена существительные отвлеченного значения с *само-* в первой части после первой широкой волны их в XI—XII вв. вновь начали активизироваться и производиться в значительном количестве в XVI—XVII вв.

К этому периоду относится образование таких слов, как *самонадеянность*, *самоуправство*, *самохвальство*, *самочиние* и т. п. В русском литературном языке XVIII в. сложные слова этого типа получили новое подкрепление и пополнение под влиянием немецких образований вроде *Selbstgefühl* (самочувствие) и т. п.

Слово *самоуправление* входит в широкий оборот литературного употребления, особенно в кругу журнально-публицистической прозы, с 60-х годов XIX в. Например, у Н. Г. Чернышевского (в статьях, относящихся к 1862—1863 гг., — из цикла «Современника»): «Если мы представим себе общественную жизнь, развитую вполне из начал самоуправления, то, разумеется, и связать литературу с жизнью будет очень легко»³. У Н. П. Огарева (в статье «Расчистка некоторых вопросов»): «Дело пошло не на развитие свободного народного самоуправления, а на создание сильного государственного единства посредством насилия»⁴. В статье Д. И. Писарева «Меттерних»: «Он думал, что разогнать представительное собрание — значит уничтожить в народе стремление к самоуправлению»⁵. У М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Первую роль играло слово „самоуправление“. Произнесенное рядом со словом „земство“, оно должно было оказать магическое действие» («Письма о провинции», VIII)⁶.

Если подойти к слову *самоуправление* с точки зрения истории того общественно-политического понятия, которое в настоящее время связывает-

¹ См. И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, т. III, СПб., 1912, стр. 1243—1247.

² Там же, стр. 245—254.

³ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. IX, СПб., 1906, стр. 172.

⁴ Н. П. Огарев, Избр. соц.-полит. и философ. произведения, т. I, Госполитиздат, 1952, стр. 633.

⁵ Д. И. Писарев, Полное собр. в шести томах, т. I, СПб., 1894, стр. 603.

⁶ Ср. также А. И. Ефимов, История русского литературного языка, [М.], 1954, стр. 344, 345.

ся с этим термином, то едва ли можно генезис его возводить ко времени более раннему, чем середина XIX в. В самом деле, слово *самоуправление* в современном русском языке выражает два таких значения, тесно связанных одно с другим:

«1. Узаконенный порядок, по которому какие-нибудь общественные учреждения осуществляют через свои выборные органы некоторые функции центральной власти. *Местное самоуправление. Земское самоуправление* (дореволюц.). *Органы местного самоуправления.*

2. Право какой-нибудь государственной единицы, области самостоятельно решать дела внутреннего управления и иметь свои правительственные органы, автономия»¹.

Русский термин *самоуправление* — при всей своей национальной самобытности — отражает и интернациональные черты этого правового понятия. Соответствующее понятие в английском языке выражается словом *self-government*, во французском — *self-gouvernement* (т. е. термином, заимствованным с английского); ср. также *autonomie*; в немецком — *Selbstverwaltung* (т. е. термином, который представляется калькированным переводом англ. *self-government*).

Можно предполагать, что толчком, ускорившим образование русского слова *самоуправление*, было также влияние английского языка. К. Н. Лебедев, один из деятелей 50—60-х годов, в своем дневнике в 1863 г. писал: «У нас, по западной моде, теперь в ходу мысли о с а м о у п р а в л е н и и. Англичане не выходят из моды, *selfgovernment*. Оно нигде не удалось в той мере, как действует в метрополии и как желали бы привить его подражатели и поклонники. Причину неудачи я вижу в одном: в недостатке публичной жизни, а причину ее отсутствия в недостатке гласности... Самоуправление есть право, возможное и действительное при известном развитии общества»². Показательно, что слово *самоуправление* не попало в академический словарь 1847 г. Да и в «Толковом словаре» В. И. Даля у этого слова отмечено лишь одно прямое этимологическое значение: «управа самим собою, знание и строгое исполнение долга своего». Это значение могло относиться только к области индивидуального словоупотребления. Лишь И. А. Бодуэн де Куртэн добавил к толкованию Даля: «Независимое от центра государства, автономное, через выборных представителей, управление местными делами данной административной единицы: общины, округа, области и т. п.» (4-е изд., т. IV, стр. 26).

Акад. Я. К. Грот в своих «Дополнениях и заметках к „Толковому словарю“ Даля» также отметил пропуск слова *самоуправление* в коллекции Даля (стр. 17).

¹ См. «Толковый словарь русского языка», под ред. Д. Н. Ушакова, т. IV, М., 1940, стр. 43.

² «Из записок сенатора К. Н. Лебедева», «Русский архив», 1911, 4, стр. 551.

А. В. СУПЕРАНСКАЯ
СВОДНЫЕ АЛФАВИТЫ

Недавно в Институте научной информации АН СССР были составлены сводные алфавиты, в которые вошли образцы написания букв наиболее распространенных языков, пользующихся письменностью на русской и на латинской основе. Их отличительной особенностью по сравнению с подобными алфавитами, имеющимися в лингвистической литературе (Н. В. Юшманов, *Определитель языков*, М.—Л., 1941; венгерская инструкция по транскрибированию некоторых славянских названий — «*Cirilbetűs címek átírása könyvtári és dokumentációs célokra*», [Budapest], 1951 и т. п.), является то, что буквы в них объединены в небольшое количество основных типов, каждый из которых занимает отдельный ряд. Так, 79 разновидностей написания букв на русской основе объединены в 34 основных типа (количество букв русского алфавита + *j* и буквы ряда *i*), 98 разновидностей написания букв на латинской основе сведены к 26 основным типам (по количеству букв латинского алфавита). Сведение к основным типам производилось по графическому принципу без учета произношения, поэтому, например, сербское *ч* попало в один ряд с русским *ч*, а «кавказская палочка» — в ряд *i*, перевернутая буква *э* помещена в один ряд с неперевернутым *е*. Буква *h* (башкирский, азербайджанский алфавиты) помещена в ряд букв *ч*, с перевернутым начертанием которой *h* имеет сходство.

Порядок рядов букв сводных алфавитов — это порядок букв обыкновенного русского и латинского алфавита, поэтому скандинавские *å, ä, ö, ф*, стоящие в конце их национальных алфавитов, помещены здесь в ряды *а* и *о*. Порядок букв внутри ряда следующий: основной вариант написания буквы, затем — буквы с надстрочными диакритическими значками, буквы с подстрочными диакритическими значками, буквы с отклонением от обычного написания (*ŋ*), перечеркнутые буквы (*φ*), лигатуры (*љ*), перевернутые буквы. Все буквы, входящие в один ряд, считаются равноценными вариантами одной единицы, поэтому при расстановке по алфавиту слов и фамилий не следует обращать внимания на диакритику.

В сводные алфавиты не вошли буквы *ъ* и *ѣ*, так как их нет в современном болгарском алфавите. Не вошли в алфавиты и латинские лигатуры *æ, œ* и осетинская лигатура *æ*, поскольку их принято расценивать как две, написанные слитно буквы *а* и *е*, *о* и *е*; слова, содержащие эти лигатуры, расставляются по алфавиту так же, как если бы они содержали сочетания *ае* и *ое*. Не вошли в сводные алфавиты и буквосочетания, выделяемые в некоторых национальных алфавитах в отдельные единицы: чешское *ch*, испанское *ll*, осетинские *дж* и *дз*. Слова, содержащие эти и подобные буквосочетания, расставляются по алфавиту так же, как и слова других языков с этими буквами.

Сводные алфавиты находят себе применение в библиотечном деле при каталогизировании, при составлении больших многоязычных справочников и указателей; знакомство с ними поможет также специалистам-языковедам скорее и легче находить нужные им материалы.

Ниже приводятся оба алфавита.

АЛФАВИТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ АВТОРСКИХ УКАЗАТЕЛЕЙ
(ЛАТИНСКАЯ ОСНОВА)

A a Ā ā Á á Â â Ã ã Ä ä Å å Æ æ
B b
C c Ć ć Č č Ç ç
D d Ď ě Đ đ
E e Ê ê É é Ě ě Ê ê Ë ë È è Ę ę
F f
G g Ğ ğ Ĝ ĝ
H h
I i Ĩ ĩ Í í Î î Ï ï Ī ī Ĭ ĭ
J j
K k Ķ ķ
L l Ĺ ľ Ľ ľ
M m
N n Ń ń Ņ ņ Ñ ñ Ŋ ŋ
O o Ò ò Ó ó Ô ô Õ õ Ö ö Ó ó Ø ø
P p Þ þ
Q q
R r Ř ř Ŕ ŕ R r
S s Ś ś Š š Ş ş
T t Ţ ţ Ŧ ŧ
U u Û û Ú ú Û û Ü ü Ú ú U u
V v
W w
X x
Y y Ý ý Ÿ ý
Z z Ź ź Ż ż Ź ź Z z

АЛФАВИТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ АВТОРСКИХ УКАЗАТЕЛЕЙ
(РУССКАЯ ОСНОВА)

А а Ă а Ǻ а	П п
Б б	Р р
В в	С с Ś с
Г г Ğ ğ Ģ ģ Ĕ ĕ	Т т Ĥ ĥ Ħ ħ Ī į
Д д	У у Ū ū Ÿ Ź ź ź Ż ż Ž ſ
Е е Ę ę Ě ě Ė ė Ę ě	Ф ф
Ж ж Ĵ ĵ Ķ ģ	Х х Ķ ħ
З з Ʒ Ʒ Ʒ	Ц ц Ć ċ
И и Й й	Ч ч Ć ċ Ч ч ч ч
Й й	Ш ш
І і Ĭ ĭ І і	Щ щ
Ј ј	Ъ ъ
К к Ķ ķ К к К к	Ы ы
Л л Ľ ľ Љ љ	Ь ь
М м	Э э
Н н Ń ń Ņ ņ Ŧ ŧ Ũ ů	Ю ю
О о Ō ō Ө ө	Я я

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

ПРЕПОДАВАНИЕ ФОНЕТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА ЛИТОВЦАМ

В настоящих заметках дано описание некоторых моментов сопоставительного анализа фонетической системы литовского и русского языков. Приемы сопоставительного анализа выработаны на основе преподавания русского языка литовцам.

Как известно, литовский язык, который находится в исконном родстве и близости со славянскими языками, обнаруживает много сходных черт с русским языком. Это касается и фонетической системы. Близость фонетических систем русского и литовского языков охватывает и состав фонем в их вариантах и, что не менее важно, соотношения фонем, наиболее ярко проявляющиеся в действующих фонетических процессах.

Практика преподавательской работы свидетельствует о том, что трудности овладения русским произношением литовцами заключаются не только в различиях звукового состава, в усвоении тех русских звуков, которые отсутствуют в литовском языке. Подлинные трудности обнаруживаются при всестороннем анализе сравниваемых фонетических систем, когда раскрываются различия в фонетических процессах, обуславливающие и неправильное произношение отдельных слов, и общий акцент.

В нижеследующих иллюстрациях внимание привлекается не только к резким, разительным отличиям, но и к таким отклонениям, которые кажутся несущественными и, однако, приводят в одних случаях к искажениям, в других — к сохранению акцента.

Фонема и присущие ей живые чередования

В литовском языке, как и в русском, различаются два ряда согласных — твердые и мягкие. Здесь наблюдаются и сходства с русским языком и, разумеется, свои различия, что можно проследить на примере усвоения литовцами произношения звуков [л] — [ль]. Твердый (веляризованный) [l] и мягкий [l'] произносятся в литовском литературном языке практически так же, как и в русском. В данном случае важно, как воспринимается произношение этих литовских звуков русскими. Твердое [l] в таких словах, как *lašas* «капля», *šluota* «метла», *lūšis* «рысь», легко отождествляется русскими с твердым [л], например, в словах *слава*, *ложка*, *лужа*. Мягкое литовское [l'] в словах *ledas* «лед», *lentà* «доска», *lieta* «липа», *lydys* «щука» и т. д. воспринимается русскими как мягкое [ль] в словах *ледной*, *лента*, *липа*, *Луда* и т. д.

Преподавателям русского языка в литовской школе не приходится прилагать особых усилий, чтобы добиться правильного произношения русских звуков [л], [ль], так как аналогичные звуки (фонемы) имеются в родном языке учащихся¹.

Прекрасно различая звуки [л], [ль], учащиеся тем не менее допускают ошибки в произношении слов с этими же звуками, заменяя в словах то твердое [л] мягким, то мягкое [ль] твердым. Например, произносит ошибочно, с мягким [ль], слова *наполнит*, *алгебра*, *волнение*, *мелкий*, *волчий* и т. д., а в словах *полага*, *национальная*, *правительство*, *культура* и т. д. заменяют мягкое [ль] твердым.

Во всех таких случаях ошибочного произношения слов обычно говорят, что литовские учащиеся плохо различают и «смешивают» звуки [л], [ль]. В действительности, литовские учащиеся никак не могут смешивать [л], [ль], потому что аналогичные звуки, как уже было сказано, являются фонемам литовского языка. Причина же неправильного произношения обусловлена в данном случае другим обстоятельством.

Как известно, в литовском языке действует фонетический процесс регрессивной ассимиляции согласных по твердости — мягкости, который распространяется и на звуки [l], [l']. Этот процесс заключается в том, что группа согласных, предшествую-

¹ Ср. [l] твердое и [l'] мягкое в словах: *laužas* «костер» — *liūdis* «народ»; *lōva* «крОВАТЬ» — *liūvėsi* «прекратил»; *lūkstas* «скорлупа» — *liūdininkas* «свидетель».

щая гласному, всегда является однородной — либо твердой, либо мягкой, так как последующий твердый или мягкий согласный уподобляет себе предыдущий и, таким образом, делает его соответственно твердым или мягким. В отношении звуков [l], [l'] обий процесс ассимиляции по твердости — мягкости отражается таким образом, что перед твердыми согласными произносится только твердое [l], а перед мягкими согласными — только мягкое [l']. Вследствие этого в литовском языке твердое [l] не встречается перед мягкими согласными, а мягкое [l'] не встречается перед твердыми согласными (если не считать некоторых заимствованных слов)¹.

Это легко заметить на следующих примерах: 1) твердое [l] перед твердыми согласными: *kalbà* «язык», *kálnas* «гора», *kaĩtas* «виноватый», *pułkas* «полк», *smulkiús* «мелкий», *galvà* «голова», *vilna* «шерсть», *báltas* «белый»; 2) мягкое [l'] перед мягкими согласными: *kálvis* «кузнец», *valstýbė* «государство», *šálti* «мерзнуть», *bálsis* «гласный (звук)», *žaltýs* «уж», *pálmė* «пальма». Особенно показательным является, конечно, чередование [l] — [l'] в словах одного и того же корня: *álkanas* «голодный», *álkis* «голод»; *kálnas* «гора», *kálnėlis* «пригорок»; *kaĩtas* «виновный», *kaĩtė* «вина»; *kalbà* «язык», *kabėti* «говорить»; *šáltia* «холодно», *šálti* «мерзнуть» и др.

Таким образом, становится ясным, что ошибки в произношении русских слов с [л], [ль] возникают только тогда, когда в словах встречаются непривычные для литовцев сочетания твердого [l] с последующим мягким согласным (например, *полáви*) или мягкого [ль] с последующим твердым согласным (например, *полáга*). Что касается причины ошибки, то она в данном случае кроется не в различии артикуляции [l], [l'] в русском и литовском языках, а в различии, по широте охвата и характеру действия, фонетических процессов в этих языках.

Приведенный разбор касается одного из моментов системы соотношения твердых и мягких согласных в литовском языке, осложненной процессом ассимиляции по твердости — мягкости. Он дает нам представление о формах отражения этой системы в процессе усвоения литовцами русского произношения и выдвигает ряд методических соображений².

В плане же теоретическом при сопоставлении фонетических систем важно учитывать не только состав и абсолютные характеристики фонем в сравниваемых языках, но и собственные фонематические чередования, являющиеся следствием действия соответствующих живых фонетических процессов. В связи с этим полная характеристика фонемы должна обязательно включать как необходимый момент указание на присущие ей жи и вье чередования.

Живые чередования группируют фонемы в ряды объективно подобных звуков (например, твердые и мягкие согласные, свистящие и шипящие согласные, звонкие и глухие согласные в русском и литовском языках; гласные [o] — [a] в русском языке и др.). Анализ таких рядов выявляет наиболее общие объективные связи и соотношения звуков в сравниваемых фонетических системах.

Фонема и присущие ей позиционные варианты

В предыдущем разделе речь шла об ошибке произношения, которая резко выделяется. Всякий заметит неправомерность произношения *культура*, *результат*, *молчѣя*, *польней* и, если не сумеет объяснить причину такой ошибки, то во всяком случае точно определит, в чем она заключается.

В этом разделе затрагивается такая особенность произношения некоторых русских слов литовцами, которая не всякому заметна, потому что она не приводит к замене одних фонем другими и, следовательно, не нарушает понимания. Тем не менее описываемая ниже фонетическая особенность все же создает ошибку произношения.

В отличие от русского языка, где [н] не имеет сколько-нибудь заметных позиционных вариантов³, в литовском языке [n] обладает устойчивым заднеязычным вариантом в положении перед [k], [g]. Различие между переднеязычным [n] и заднеязычным [ŋ] выступает особенно четко при сопоставлении слов с одинаковым типом ударения и интонации, например: *ántakis* «бровь» — *laĩkas* «дуга»; *iĩtakas* «шпроток» —

¹ Ср., например, слова *álgebra*, *albùmas*, *almanàchas*, *válsas*, *páltas* и др., которые в литературной речи произносятся литовцами, вопреки общему правилу, с твердым [l] перед мягким согласным: [algebra] — и с мягким [l'] перед твердым согласным: [al'bumas], [al'manachas], [val'sas], [pal'tas].

² Например, относительно характера соответствующих фонетических упражнений. Нет надобности специально «отрабатывать» звуки [л], [ль]. Следует сосредоточить внимание на произношении слов типа 1) *волнение*, *полдень*; 2) *молчи*, *жельч*; 3) *пальма*, *полька*; 4) *Польша*, *больше*; 5) *силный*, *цельный* и т. д.

³ Если не считать, разумеется, позиционных фонематических чередований [н] твердого с [н'] мягким.

inkaras «якорь»; *kanda* «кусает» — *langas* «окно»; *antaĩ* «вон там» — *menkaĩ* «незначительно»; *lenià* «доска» — *pažangà* «прогресс».

Ошибка заключается в данном случае в том, что литовские учащиеся сохраняют свой заднеязычный вариант [ŋ] при произношении таких русских слов, как *банка*, *танк*, *стенка*, *картинка* и т. п. Эта фонетическая особенность обладает большой устойчивостью, и, так как в школе на нее совершенно не обращают внимания, редко можно встретить литовца, который, хорошо владея русским языком, не сохранял бы этой особенности акцента и произносил бы слова *банк*, *лошаденка* и т. п. с переднеязычным [n].

Еще сложнее обстоит дело с произношением [n] перед мягкими [к'], [г']. Процесс ассимиляции по мягкости в литовском языке, повидимому, в той или иной степени распространяется и на звук [n] перед мягкими [к'], [г']¹. Однако в этом случае возникает своеобразная ситуация. С одной стороны, заднеязычный характер артикуляции [k], [g] тянет [n] назад, с другой стороны, палатализованность, т. е. среднеязычная артикуляция, продвигает [n] вперед. Наблюдение показывает, что литовские учащиеся склонны читать в русских словах твердое *n* перед мягкими *к*, *г* в одних случаях как заднеязычный подумсмягченный [ŋ'], в других случаях — просто как переднеязычный смягченный [нь]: *на стенке*, *на таньке*. В последнем случае нарушаются фонемные различия в русском языке (ср. *в банке* — *в баньке* и т. п.).

На приведенных наблюдениях основаны соответствующие методические указания². Но вместе с тем здесь напрашивается определенный вывод и теоретического порядка. При сопоставительном изучении фонетики важно сравнивать фонемы соприкасающихся языков во всех их вариантах. В определение фонемы обязательно должны входить все ее позиционные варианты, в особенности те из них, которые являются следствием действия фонетических процессов, приводящих к широким артикуляционным колебаниям (ср. [n — ŋ] в литовском языке; [a — ʌ] — в русском языке и т. п.).

Об артикуляционных различиях звуков, воспринимаемых как тождественные

Наблюдая практику языкового контакта в процессе усвоения неродного языка, нельзя не заметить, что при этом одни из звуков усваиваемого языка представляются тождественными звукам родного языка, другие — в той или иной мере отличными или даже чуждыми. Так, например, русские согласные [п], [б], [м], [в] представляются литовцу тождественными литовским согласным [p], [b], [m], [v], а, скажем, согласный [x] или гласный [ы] — несвойственными родной речи.

Однако во всех случаях учащихся прежде всего стремится подставить взамен каждого звука неродного языка «свой» звук, и, что особенно примечательно, такая замена носит характер не случайный, а закономерный. Закономерность в данном случае сказывается, во-первых, в том, что в общем все учащиеся подбирают для замены одни и те же звуки родного языка, и, во-вторых, в том, что замена осуществляется посредством *п о д о б н ы х з в у к о в*, т. е. звуков, имеющих наряду с разными характеристиками и общие черты. Так, русское [x] закономерно замещается литовским [k], отличающимся от [x] только смычностью, а русское [ы] замещается литовским кратким [i] вместе со старательно подчеркнутой твердостью предшествующего согласного (ср. произношение [dip'a] вместо [dyp'a] и т. п.). При этом остается в пренебрежении различие в рядах между смешанным русским [ы] и передним литовским [i], хотя литовскому языку вообще свойственна смешанная артикуляция гласных (ср. первую часть дифтонга в *labai* «очень», диалект. [labyĩ]).

Несомненно, что закономерность процесса субституции обусловлена объективными чертами сходства и различия находящихся в контакте языков. Именно поэтому изучение этого процесса, в особенности того, как он протекает на первых порах усвоения неродного языка, представляет для сопоставительной фонетики значительный интерес. Примечательны условия и основания замены далеких звуков³, но не менее полезен сопоставительный анализ звуков, которые представляются учащимся как тождественные. В настоящих заметках в качестве примера взяты литовские согласные *š*, *ž* в сравнении с русскими *ш*, *ж*.

¹ По моему мнению, литовцы произносят мягкие *k*, *g* неодинаково. Представители одних диалектов употребляют палатализованные [к'], [г'], других — палатальные (т. е. среднеязычные) *k*, *g* [ʃ, ʒ].

² О различии в артикуляции [n] и [ŋ]; о способах преодоления привычки произносить [ŋ] перед [к], [г]; о постановке упражнений на произношение слов типа: 1) *горожанка*, *крестьянка*; 2) *горожанке*, *крестьянке*; 3) *яблонька*, *ноженька* и т. д.

³ Такой материал удобнее всего почерпнуть из анализа процесса соприкосновения языков с глубоко различными фонетическими системами, например, русского и китайского, русского и якутского и т. п.

Основное отличие русских *ш, ж* в сравнении с литовскими *s, ž* заключается прежде всего в том, что русские *ш, ж* не имеют соотносительных мягких пар в виде [ш'], [ж'], в то время как в литовском языке наличествуют соотносительные пары [š — š'], [ž — ž']. В данном случае, однако, мы обращаем внимание не на это различие, а на те особенности произношения русских [ш], [ж], которые отличают их от твердых литовских [š], [ž].

Литовские звуки не исследованы с такой глубиной и тщательностью, как это сделано для русского языка. Однако и педфетист, если внимательно прислушается к произношению русского [ш] в слове *шар* и литовского [š] в слове *šarka* «сорочка», заметит, что литовское твердое [š] произносится несколько иначе, именно «мягче», чем русское (не говоря, разумеется, о литовском мягком [š'] в таких словах, как *šidurė* «север», *šeši* «шесть» и т. д.). Точно так же и литовское твердое [ž] в слове *žarė* «зарев» произносится несколько мягче, чем русское [ж] в слове *жара* (не говоря о литовском мягком [ž'] в таких словах, как *žiaurūs* «жестокый», *žemė* «земля» и т. д.).

Акустическое своеобразие литовских твердых [š], [ž] в сравнении с русскими [ш], [ж] (поскольку это можно определить по слуховому впечатлению) обусловлено характером переднего фокуса литовских [š], [ž]. Как известно, при произношении русских [ш], [ж] кончик языка загнут вверх, в связи с чем передняя часть спинки языка вогнута. Язык принимает ложкообразную форму, форму впадины, которая и придает ш-образному (= ж-образному) шуму его твердость. При образовании же литовских [š], [ž] кончик языка вверх не загибается, а вместе с передней частью спинки языка плоско поднят к передней части неба. Впадина образуется самая незначительная или, может быть, вовсе отсутствует; тем самым š-образный (= ž-образный) шум лишается той твердости, которая присуща русским [ш], [ж].

Русские [ш], [ж] относятся, по определению Л. В. Щербы, к каккуминальным переднеязычным согласным, в то время как литовские [š], [ž] являются, по его же терминологии, апикальными и переднеязычными согласными.

Из сказанного вытекает тот вывод, что при обучении произношению русских [ш], [ж] не следует ограничиваться простым указанием на то, что в русском языке имеются только твердые [ш], [ж] в отличие от литовского языка, где наличествуют и твердые [š], [ž], и мягкие [š'], [ž']. Необходимо еще обратить внимание учащихся на особенности произношения русских [ш], [ж] в сравнении с литовскими твердыми [š], [ž], как об этом было сказано выше.

В плане сопоставительной фонетики литовского и русского языков важно еще отметить, что такое произношение литовских твердых [š], [ž] не является изолированным, а связано с общей установкой переднеязычных литовских согласных. Это особенно заметно при сравнении произношения литовского [r] (апикального) с русским [р] (каккуминальным). Литовское [r] твердое тоже производит впечатление более «мягкого», чем русское [р] твердое. Ср. произношение русских слов *рак, красный* и литовских слов *raktas* «ключ», *kraštas* «страна».

Разумеется, что и такие малозаметные различия должны учитываться сопоставительной фонетикой, так как при ближайшем их изучении оказывается, что они тоже носят систематический характер.

О различии понятий «ошибка произношения» и «ошибка чтения» и о соотношении графических систем

В практике преподавания фонетики неродного языка очень важно различать ошибки, которые обусловлены трудностями произношения, и ошибки, которые не связаны с трудностями произношения, а целиком проистекают от незнания правил чтения изучаемого языка. В первом случае ошибки уходят своими корнями в объективные различия фонетических систем и артикуляционных навыков соприкасающихся языков, во втором случае артикуляционная база родного языка не препятствует правильному произношению, а ошибка вызвана «внешними» обстоятельствами: незнанием правил чтения усваиваемого языка или механическим перенесением принципов чтения родного языка на изучаемый язык.

Каждый литовец умеет произносить мягкое [č'] перед [a], [o], [u] [ā], так как соответствующие сочетания звуков являются обычными в литовском языке: ср. *svičias* [č'a] «гость», *šionā'* [č'o] «сюда», *jaudū* [č'u] «чувствую» и т. п. И вместе с тем очень распространено ошибочное произношение твердого [č] (вместо правильного мягкого [č']) в русских словах *час, чай, плечо, горячо, чудо, чувство* и т. д. Совершенно ясно, что неумение произносить мягкое [ч'] тут ни при чем, а ошибка вызвана механическим перенесением литовского правила чтения (буква č перед буквами *a, o, u* читается как [č] твердое) на русский язык, где действует другое правило: буква *ч*

читается как мягкое [ч'] перед всеми гласными буквами, в том числе и перед а, о, у¹.

Литовские учащиеся, овладевающие русским языком прежде всего путем чтения, легко усваивают значение буквы ё, обозначающей гласный [о] плюс смягчение предыдущего согласного в таких словах, как *рѣёт, берѣт, мѣт* и т. п., в отличие от буквы о, обозначающей «чистый» гласный, без смягчения предшествующего согласного, в словах *от, рот, нож* и т. п. Аналогию они находят в своем родном языке в произношении и написании таких слов, как *brolio* [l'о] «брата», *kirvio* [v'о] «топора», *bėrio* [r'о] «гнедого», *žėnio* [n'о] «горошки», с одной стороны, и слов *kailo* «кости», *laivo* «корабля», *vūgo* «мука», *kilno* «горы», с другой стороны. Когда же учащиеся встречаются с написаниями *иёл, дешёвый, лииён*, в отличие от *шов, карандашом, мешок* и т. д., они естественно склонны применить и здесь раа усвоенное правило и ошибочно читать *иё, жё* как [ш'о], [ж'о]. Они просто следуют прежде установленной аналогии с правилами чтения в литовском языке: ср. (*iki*) *šiol* «до сих пор» — *šonas* «бок»; *žibogas* «кузнечик» — *žodis* «слово» и т. п. Таким образом, через чтение усваивается и ошибочное произношение слов с *иё, жё* как [ш'о], [ж'о]. Преподаватели хорошо знают, что и в вузе эта ошибка является всеобщей и типичной. Причина ее ясна. Дело, разумеется, вовсе не в том, что литовцы не умеют или что им трудно произносить сочетания [ш'о], [ж'о], а в том, что не было усвоено или не было закреплено соответствующее правило чтения: сочетания букв *иё, жё* читаются как [š], [ž].

В литовском и русском языках действуют аналогичные процессы регрессивной ассимиляции последующим шипящим согласным предшествующего свистящего. В связи с этим, например, буква *s* перед буквой *š* читается в литовском языке как [š], точно так же как буква *s* перед буквой *č* читается в русском языке как [ш]; ср. лит. *rešėdas* [š'ė'] «неший», русск. *рапсодчик* [ш'ч']. Между тем литовские учащиеся в подобных случаях в русских словах пытаются сохранить свистящий перед шипящими, вопреки своим же навыкам артикуляции и чтения, произносить непривычное для них звуко сочетание [сч = сэ]. Совершенно очевидно, что препятствует правильному произношению не трудность артикуляции, а незнание значения буквосочетания *сч* в таких словах, как *счастие, счет, считать, исчезает* и т. п.

Типичной ошибкой чтения является также опущение начального [й = j] в русских словах, начинающихся в буквы *e*: *Европа, ему, если, еще* и т. д., т. е. чтение *Европа, эму* и т. д. Эта ошибка встречается очень часто, хотя в литовском языке имеется ряд слов с начальным сонантом [j]. Ср. *jėigu* «если», *jėknos* «печень», *iėškoti* «искать», *iėtis* «копье» и т. д. Поводом к ошибке послужило то, что начальнoслоговая буква *e* обозначает в литовском письме «чистый» гласный, без сонанта [j].

Методическое значение этих фактов очевидно. Необходимо тщательно анализировать причину ошибочного произношения. Поскольку ошибка не вызвана различиями в артикуляционной базе, нет надобности ставить соответствующие фонетические упражнения (например, на произношение слов типа *час, иёл, счастье, если* и т. п.). Целесообразно в данном случае привлечь внимание учащихся к особенностям русского чтения в сравнении с соответствующими правилами в литовском языке.

В пользу упражнений на чтение свидетельствует еще и следующее обстоятельство. Нельзя не признать (об этом говорит анализ письменных работ), что часто вместе с неправильным чтением закрепляется и правильное написание слов. Так, если учащийся усвоил неправильное произношение русского слова *иёл* как [ш'олк], он тем самым закрепил правильное написание этого слова через *ё*, но не через *о*. Точно так же при неправильном произношении исчезает омонимия, например, таких пар, как *ожёг* (глагол) — *оже* (существительное), так как в первом случае учащиеся произносят [ž'о], а во втором [о].

Отсюда вопрос: не сбиваем ли мы с толку литовского учащегося, добываясь в подобных случаях правильного произношения, и не страим ли мы усвоенные им, пусть неточные, превратно понятые, по дающие нужный эффект правила орфографии? Такая опасность была бы вполне реальной, если бы мы обучали в таких случаях учащихся произношению независимо от написания. А для того чтобы эту опасность свести к минимуму, следует, как мы полагаем, в случаях, когда правильное написание стоит в противоречии с произношением, обучать произношению через чтение, добываясь ясного понимания учащимися сложности соотношения произношения и письма. Имея постоянно перед собой написание, учащиеся свыкаются с на-

¹ Разумеется, что возможность произносить твердое [č] обусловлена наличием такого звука в литовском языке, но, с другой стороны, ничто в литовском языке не препятствует и произношению мягкого [č'] перед [a], [o], [u], не говоря о том, что твердое [č] встречается в литовском языке очень редко и большей частью на стыке морфем; ср. *ginčas* «спор».

личием в определенных случаях сложных, противоречивых отношений между произношением и письмом, и таким образом ослабляется обычное противоречие между задачами усвоения произношения веродного языка и его же орфографии.

Имеют место и ошибки смешанного порядка, простирающиеся, с одной стороны, от различия артикуляции в соприкасающихся языках, с другой стороны, от неправильного чтения, которое иногда называют «буквенным чтением».

В качестве примера сошлемся на ю, как отражаются особенности процесса ассимиляции по глухости — звонкости родного языка в русском произношении литовских учащихся. В литовском языке ассимиляция по глухости — звонкости обладает своими чертами, из которых отметим следующие.

Оглушение звонких перед глухими осуществляется не полностью, а наполовину. Так, например, в форме *dbr[h]ti* (ср. *dbrba* «работать») звук [b] оглушается только во второй своей части (т. е. только взрыв [b] является глухим), в то время как первая часть [b] (смычка) остается звонкой. То же в *dē[g]ti — dega* «гореть»; *grī[ž]ti — grīžo* «возвращаться»; *v[ž]ti — veža* «везти»; *lū[ž]ti — lūžo* «ломаться» и т. д.

Точно так же и озвончение глухих не является полным: озвончается только вторая половина согласного, примыкающая к последующему звонкому, в то время как первая половина остается глухой. Ср. *i[s]didus* «гордый», *i[š]gerti* «вышить», *a[p]daras* «одежда», *a[p]gaulė* «обман», *v[š]dar* «все еще» и т. д.

Оглушение звонких согласных в конце слова в литовском языке тоже не является полным, хотя этот процесс вообще трудно проследить, так как формы литовских знаменательных слов обычно получают в исходе гласный, глухой согласный или сонант.

Так, повидимому, происходит ассимиляция по глухости — звонкости в литературном языке и, во всяком случае, в некоторых диалектах¹. В других же диалектах нам приходилось наблюдать стремление избежать ассимиляции и сохранить, например, звонкость конечного согласного путем присоединения к нему гласного призвука; ср. в слове *i[dʰ]* «итак» и т. п. Наконец, многие литовцы осуществляют полную ассимиляцию, как это имеет место в русском языке.

В русском произношении литовцев все эти диалектные различия, разумеется, находят свое отражение, но они часто осложняются неправильным чтением. Обычной является венодайна ассимиляция, как это свойственно, повидимому, некоторой части литовских диалектов и литературной речи, т. е. произношение русских слов: *мод[д]ка*, *[с]делати*, *берег[г]* (с конечно-глухими [д], [т] и конечно-звонким [с]). Однако очень часто (и притом независимо от диалектной принадлежности) наблюдается также стремление избежать уподобления и сохранить, например, звонкость согласного, произнося *дуб[б]*, *са[дʰ]*, *ро[гʰ]*, *но[жʰ]*, *во[зʰ]* и т. д. Разумеется, что и в таких случаях следует обратить внимание учащихся не только на особенности русского произношения, но и на особенности чтения. И в этих случаях, имея в виду задачи усвоения правильного письма, предпочтительно обучение правильному произношению осуществлять через чтение.

Подобные вопросы соотношения произношения и письма неминуемо всплывают в теоретической сопоставительной фонетике, когда дело касается сравнительного анализа графических систем соприкасающихся языков. Произносительная система является независимой до тех пор, пока она не вышла соответствующего графического выражения. Как известно, после того как звуки языка нашли свое символическое отражение в письме, письмо, в свою очередь, оказывает, хотя и ограниченное, но достаточно ощутимое обратное влияние на произношение.

Весьма полезно установить, в каких графических формах нашли свое систематическое отражение фонетические процессы сравнительных языков. Приведем следующий пример.

Как уже было отмечено, в литовском языке наличествует сходная с русской система противопоставления твердых и мягких согласных. Литовская система твердых и мягких согласных имеет, однако, ряд своеобразных черт, что нашло свое отражение и в соответствующих особенностях системы графики литовского языка (если даже отвлекаться от различия латинских и русских знаков в сравнительных языках).

1. В литовском языке каждому твердому согласному фонематически противопоставлен соответствующий мягкий согласный, в то время как в русском языке шипящие согласные и [ц] в эту систему не входят или особым образом соприкасаются с ней. В связи с этим литовская система графического обозначения мягкости имеет единый, «сквозной» характер, охватывая и шипящие, и [с], тогда как в русском языке связь этих согласных с гласными отражена сложным, противоречивым образом; ср. лит. *mašīnā* [s'i], русск. *машина* [шы].

¹ Однако оглушение звонких и озвончение глухих фонематически все же представляется полным.

2. В литовском языке ассимиляция по мягкости охватывает, в основном, всю систему твердых — мягких согласных, в то время как в русском языке этот тип ассимиляции имеет ограниченный характер. В связи с этим литовское письмо не нуждается в особом «мягком знаке», подобном русскому *ь*, для обозначения мягкости согласного, стоящего перед другим согласным; ср. лит. *Melnikaitė* [l'n'i], русск. *Мел[ь]никайте* — в литовском языке достаточно обозначить мягкость согласного, непосредственно стоящего перед гласным, так как предшествующий согласный всегда подобен последующему.

3. В литовском языке всякий согласный, стоящий в конце слова, является твердым, следовательно, и здесь нет надобности в особом «мягком знаке».

Нет сомнения в том, что и анализ графических систем, поскольку в них нашли свое отражение фонетические процессы языков, является важным моментом в сопоставительном языкознании.

Таковы некоторые из линий сопоставительной фонетики, намечаемые в порядке изучения практики языкового контакта. Вопросы теории сопоставительного анализа языков выдвигаются практикой, их разрешение тоже должно быть практически целесообразным.

И. И. Цукерман

О ПОСОБИЯХ К КУРСУ «ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

1

На страницах журнала «Вопросы языкознания» уже почти два года (1953—1955) обсуждаются вопросы о постановке преподавания в наших вузах общелингвистических дисциплин: «Введение в языкознание», «Общее языкознание» и «История языкознания». Почти все авторитетные специалисты высказались по ряду возникающих при этом больших проблем и множеству частных вопросов.

Если Ф. Ф. Кузьмину и удалось подвести некоторые итоги обсуждения преподавания курса «Введение в языкознание» и до известной степени твердо установить профиль курса как введения в марксистское языкознание¹, то гораздо труднее оказывается вопрос о двух других курсах, в особенности — «Истории языкознания».

Разногласий между авторами статей, напечатанных на эту тему, очень много, причем не только в деталях, но и в очень существенных узловых вопросах. Все трудности, обнаруживающиеся при размежевании названных трех дисциплин общелингвистического характера, объясняются, на наш взгляд, особенностями исторического развития самой лингвистической науки. Общеизвестно, что, например, в древней Греции языкознание, с одной стороны, возникает в виде элементарной грамматики, необходимой в практике общественной и государственной жизни страны для установления общих норм устной и письменной общенародной речи, с другой стороны, там уже в довольно раннюю эпоху появляется и иное, претендующее на научность, направление в языкознании в виде спекулятивно-философских попыток познания и столкновения фактов языка в их отношении к мышлению и к действительности. Можно сказать, что эта философия языка в те отдаленные от нас времена (2500 лет назад) представляла собой зачатки дисциплины, принявшей потом название «Общее языкознание». В своем дальнейшем развитии языкознание неоднократно испытывало «вторжения» философии и логики. Характеризовать их нет надобности, так как они общеизвестны. Кроме того, они и теперь имеют место. Не случайно поэтому и в новейшее время «Общее языкознание» носит часто название «Философия языка»². И не случайно уже в

¹ См. Ф. Ф. Кузьмин, К итогам обсуждения курса «Введение в языкознание», ВЯ, 1954, № 4.

² См., например, A. D a u z a t, La philosophie du langage, Paris, 1912; ср. также: e g o ж е, La vie du langage, Paris, 1922; A. M a r t y, Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie, Bd. I, Halle a/S., 1908; E. C a s s i g e r, Philosophie der symbolischen Formen, T. I—Die Sprache, Berlin, 1923; O. J e s p e r s e n, Sprogets logik, København, 1913; e g o ж е, The philosophy of grammar, New York, 1924. В середине и в конце XIX в. большую роль в развитии общего языкознания играет также физиология и психология. Если физиология является вспомогательной наукой в области фонетики, то в области грамматики и лексикосемантической стороны языка большое значение в объяснении языковых явлений, особенно изменений языка, приобретает психология (см. труды Г. фон Габеленца, Ж. Вав-Гвинекена, О. Дитриха и др.). В своем двухтомном труде «Язык»

первом параграфе программы курса «Общее языкознание» ставится вопрос о коренном отличии общего языкознания от идеалистической философии языка (по объему проблематики, точке зрения и методу).

Программы по истории языкознания пока нет, но из объяснительной записки к программе курса «Общее языкознание» 1952 г. можно понять, что курс «История языкознания» мыслится составителями указанной объяснительной записки как «история развития лингвистических воззрений», или лингвистических учений (стр. 4), или иначе как «обзор исторического развития общелингвистической мысли» (стр. 5). Там же подчеркивается, что «Общее языкознание» ни в коей мере не может претендовать на решение задач курса «История языкознания» вообще и «История отечественного языкознания», в частности. «Общее языкознание», которое должно читаться на IV курсе после «Истории языкознания» (на III курсе), как дисциплина обобщающего и подытоживающего характера должно осветить основные проблемы марксистской науки о языке — специальные методы и структуру языка. Предварительно должны быть охарактеризованы основные идеалистические течения общего языкознания: натурализм, психологизм, психологический социологизм, крайний индивидуализм¹ и подвергнуты основательной принципиальной критике с позиций марксистско-ленинского понимания указанных проблем.

2

С таким разграничением интересующих нас трех общелингвистических дисциплин нельзя не согласиться. Оно, безусловно, вносит ясность в этот вопрос. Но программа по «Истории языкознания» пока не составлена, и не так легко ее составить. Еще труднее написать необходимый учебник, который, очевидно, должен историю лингвистических учений преподнести учащимся не просто как хронологически последовательный обзор этих учений, а раскрыть их историческую связь и их взаимоотношение, показать условия возникновения каждого учения на почве определенной идеологии соответствующей эпохи.

Трудность построения этих дисциплин усугубляется тем обстоятельством, что вообще историческая наука на основе марксизма — завоевание новейшего времени, эпохи после Великого Октября.

Понимание исторического процесса в период зарождения сравнительного языкознания было, конечно, идеалистическим. Но и созданная К. Марксом и Ф. Энгельсом марксистская, диалектико-материалистическая концепция истории человеческого общества осталась неизвестной лингвистам. Только Ф. Энгельс² и П. Лафарг³ впервые пытались осветить вопросы языкознания на основе марксистской теории. Специалисты же по пидеологическим языкам, по сравнительно-исторической грамматике сознательно или бессознательно обходили эти важные труды.

Неудивительно, что историки языкознания большей частью строили историю своей науки как историю изучения лингвистических фактов, не выходя за пределы явлений, относящихся главным образом к фонетике и морфологии, реже к синтаксису. История науки о языке или сводилась в сущности к хронологически последовательному обзору результатов исследований какой-либо семьи или группы языков, или состояла из характеристик научно-лингвистической деятельности ряда ученых, внесших более или менее значительный вклад в науку и способствовавших ее прогрессу. Часто такие очерки критико-библиографического характера концентрировались вокруг истории решения важнейших лингвистических проблем, превращаясь в историю лингвистических учений, если эти проблемы имели общее принципиальное значение в науке о языке.

В. Вундт делает попытку раскрыть этнопсихологическую природу языка и языковых явлений (W. W u n d t, *Völkerverpsychologie*, Bd. 1 — *Die Sprache*, Leipzig, 1900). Вождь младограмматиков Герман Пауль (H. P a u l, *Prinzipien der Sprachgeschichte*, Halle, 1880, 5-e Aufl. — 1920), провозглашая историзм основой языкознания, все развитие языка толкует психологически.

¹ По этим вопросам А. С. Чикобава еще в 1941 г. опубликовал в «Известиях Ин-та языка, истории и матер. культуры [АН Груз. ССР]», т. X статью «Проблема языка как предмета лингвистики в свете основных задач советского языковедения». В более развернутом виде критика этих течений лингвистики дана А. С. Чикобава в его книге «Общее языкознание», т. II (Тбилиси, 1945) [на груз. яз.]. О структуре даме см. его статью «Структурализм как течения современной лингвистики на Западе» («Труды Тбил. гос. ун-та им. Сталина», XXVI б, 1944 [на груз. яз.; резюме — на русск. яз.]).

² См. Ф. Э н г е л ь с, Франкский диалект, Партиздат ЦК ВКП(б), 1935.

³ П. Л а ф а р г, Язык и революция, перевод с франц., М.—Л., «Academia», 1930. О его ошибках в понимании развития языка см.: И. С т а л и н, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1954, стр. 28.

Передко эти два типа построения истории языкознания, скрещиваясь и переплетаясь, сливались в единую лингвистическую теорию, охватывающую целую семью языков или какую-либо из ее основных групп. Такова классическая для своего времени книга Б. Дельбрюка «Введение в изучение индо-германских языков», определяемая автором как очерк истории и методики сравнительного исследования языка. Сравнительное и общее языкознание, таким образом, не разграничивались между собой.

Возникновение истории языкознания можно отнести лишь к концу 60-х — началу 70-х годов XIX в. Не малую роль в создании истории языкознания сыграли работы по истории востоковедения, или ориенталистики, а также классической филологии, по типу которых в пемедской науке создавались затем различные «грундрисы» и «хяндбухи» романской, кельтской, германской, славянской, индийской, иранской филологии. Так было за рубежом.

В России дооктябрьского периода положение было в значительной мере аналогичное. Ф. Ф. Фортунатов впервые стал читать в Московском университете курс лекций, который, сначала именуясь «Сравнительным языковедением» (1890—1891 гг.), представлял собой по существу «Введение в языковедение», где излагались не столько вопросы «Сравнительной грамматики», сколько основы «Общего языкознания». В следующем учебном году этот курс уже и назывался «Введением в языковедение». См. приводимую ниже сопоставительную таблицу.

«Сравнительное языковедение» 1890—1891 гг.	Стр.	«Введение в языковедение» 1891—1892 гг.	Стр.
1. Введение	3—10	1. Предмет языковедения	3—12
2. Индоевропейская семья языков	10—40	2. Генетологическая классификация языков	12—54
3. Генетологическая классификация языков, по принадлежностям к индоевропейской семье	41—56	3. Язык и наречие	54—66
4. Язык и наречие	56—67	4. Общее изложение фактов языка	66—163
5. Общее изложение фактов языка и их история			
а) слова и их классификация	67—73	1) язык и мышление	
б) простые слова	73—78	2) слова отдельные	
в) словосочетания и предложения	78—100	3) словосочетания и предложения	
г) формы слов	100—122	4) формы слов	
д) морфологическая классификация языков	123—130	5) морфологическая классификация языков	
е) грамматика	131—132		
ж) лексикология (и этимология)	132		
6. Физиология звуков речи	132—159	6) физиология звуков речи	

История языкознания здесь нет. Этот пробел был восполнен В. К. Поржеянским, учеником Ф. Ф. Фортунатова. В книге В. К. Поржеянского «Введение в языковедение», за короткое время выдержавшей 4 издания, во II главе «Важнейшие моменты в истории науки о языке» (стр. 15—50) после беглого обзора попыток изучения языка на более древних этапах излагается краткая история отечественного и зарубежного языкознания от истоки его зарождения в первой четверти XIX в. до начала XX в. Немало интересно и поучительно по истории языкознания читатель найдет и в других главах книги и ссылки, например, с вопросами классификации языков, особенно генетологической (гл. III и IV), а также и в главах X и XI. Но характерно, что и в книге В. К. Поржеянского, как и у Фортунатова в его лекциях, наряду с вопросами сравнительно-исторического языкознания и сравнительно-исторического изучения индо-

европейских языков, рассматриваются также общелингвистические проблемы, например, происхождение языка, природа языка, взаимоотношения языка и мышления и т. д. Поэтому разбирается и вопрос о взаимоотношении языкознания, логики и психологии, а в разделе «Физиология звуков речи» (см. особенно главу X, стр. 206—214) привлекаются данные анатомо-физиологического характера.

3

В советский период история языкознания, вследствие продолжительного господства марризма, не могла развиваться нормально: Н. Я. Марр отрицательно относился к сравнительно-историческому языкознанию и не признавал значения как отечественной, так и в еще большей степени иностранной науки о языке.

И тем не менее в этот период (1917—1950 гг., до дискуссии по вопросам языкознания) появились в отечественном языкознании произведения, внесшие значительный вклад в науку о языке и, в частности, в историю языкознания, а также переводы ряда работ зарубежных ученых. В области истории отечественного языкознания в первую очередь следует отметить ряд ценных работ В. В. Виноградова: «Современный русский язык. Вып. 1—Введение в грамматическое учение о слове», (М., 1938); Вводная глава к книге «Русский язык. (Грамматическое учение о слове)» (М.—Л., 1947); «Русская наука о русском литературном языке» («Ученые записки МГУ», вып. 106, 1946, стр. 22—447).

Краткий обзор истории русского языкознания дан также в статье С. П. Обнорского «Итоги научного изучения русского языка» («Ученые записки МГУ», вып. 106) и в книге Л. А. Булаховского «Курс русского литературного языка», том II (Исторический комментарий) (4-е изд., Киев, 1953, стр. 40—70, особенно стр. 40—47, 48—52 и 59—70)¹.

Из зарубежной лингвистической литературы специально по истории языкознания следует отметить две книги известных датских лингвистов: Вилгельма Томсена (1842—1927), переведенную на русский язык², и Хольгера Педерсена (Копенгаген, 1924), еще не переведенную³. Эти книги имеют между собой много общего: обе они излагают историю языкознания в XIX в. на Западе, совсем игнорируя русскую науку⁴; в центре внимания авторов стоит сравнительно-историческое изучение индоевропейских языков, особенно младограмматиками; в этих книгах «Грундри» К. Брунтмана и Б. Дельбрюка представлен как высшее достижение лингвистики итог результатов работы лингвистов в XIX в.

От маленькой книги В. Томсена большая книга Х. Педерсена выгодно отличается введенным в изложение большого иллюстративного материала: рукописного, эпиграфического и т. д., анализ которого — дешифровка и филологическая обработка — послужил успешному развешиванию лингвистической науки. Глава VI книги Х. Педерсена (стр. 128—219) специально выделена с этой целью под заглавием: «Надписи и археологические находки. Исследования по истории письма». Жаль, что за пределами книги остались новейшие лингвистические открытия XX в.⁵

Очень сжатый, но весьма содержательный очерк истории изучения индоевропейских языков, четко и ясно написанный А. Мефе, имеется в его книге «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков» (русский перевод—М.—Л., 1938).

В заключение укажем еще одно полезное своим материалами по истории языкознания издание — немецкую серию «История индоевропейского языкознания», основан-

¹ Нормативно-описательная грамматика русского языка в разработке русских лингвистов и писателей первой половины XIX в., изложенная в книгах Л. А. Булаховского («Русский литературный язык первой половины XIX века»: т. I — Лексика и общие замечания о слове, Киев, 1941; т. II — Фонетика. Морфология. Ударение. Синтаксис, Киев, 1948 и 2-е сокращенное издание в одном томе — М., 1954), дает также материал по истории русской грамматики и лексики в указанный период.

² В. Томсен, История языкознания до конца XIX века, М., 1938.

³ Имеется английский перевод: Н. Pedersen, Linguistic science in the nineteenth century, Cambridge, 1931.

⁴ Этот пробел в книге В. Томсена восполняют дополнения в тексте (в квадратных скобках) и в особенности «Послесловие» редактора Р. О. Шор, к сожалению, в значительной мере обезличенное отголосками марризма, восхваляемого ошибочно как марксистское лингвистическое учение.

⁵ Краткие сведения по этому вопросу дает статья П. Кречмера «Язык» (P. Kretschmer, Sprache («Einleitung in die Altertumswissenschaft», Bd. I, Heft 6, Leipzig—Berlin, 1923, стр. 1—64). Новый и более подробный материал содержат многочисленные работы акад. В. Георгиева (Болгария), основные положения которых освещены им в статье «Вопросы родства средиземноморских языков» (ВЯ, 1954, № 4), а также в других статьях, опубликованных автором в том же журнале и в ВДИ, и ряд статей русских ученых (ВЯ и ВДИ).

ную еще К. Бругманом и А. Тумбом. Среди очерков по различным индоевропейским языкам или языковым группам (изданным в 1916—1931 гг.) мы уже находим — и это весьма показательно для данного времени — выпуски, посвященные хеттскому и малоазийскому языкам (автор П. Фридрих), тохарскому языку (автор Зиг), фракийско-фригийскому и иллирийскому языку (автор Йокль) и этрусскому языку (автор Е. Физель).

4

Зачем автору настоящей статьи понадобилось предложить читателю обзор перечисленных книг по «Истории языкознания»? А вот зачем. В известной автору программе по курсу «Общее языкознание» (МГУ, 1952)¹ указаны только марксистские работы, да и то всего две: И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания и сб. «Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина» (1952). Безусловно, твердое усвоение этих книг студентами совершенно необходимо. И объяснительной записке к указанной программе правильно подчеркивается, что «в Программе» предусматривается критический, систематический анализ сущности и логического взаимоотношения главнейших идеалистических и вульгарно материалистических пониманий природы языка с позиций материалистической науки о языке» (стр. 4—5). Это полностью относится и к программе по «Истории языкознания», которой еще нет. О ней высказались крупнейшие специалисты, и некоторые из них представили свои проекты этой программы².

Но мало иметь программу, хотя бы самую удачную по содержанию. Не смогут и объяснительные записки, если они ограничиваются теоретическими указаниями. Чтобы осуществить программу, нужно иметь необходимые материалы. Конечно, специалисты, занимавшиеся проблемами истории языкознания, знают, где найти такие материалы. Но ведь часто, в особенности в периферийных вузах, в том числе и в университетах, эти курсы поручаются молодым, несмысленным преподавателям, иногда аспирантам.

Если нет учебника по данной дисциплине, необходимо снабдить молодых преподавателей соответствующими материалами; по крайней мере в программах, в объяснительных записках к ним дать соответствующие указания и указать хотя бы избранную, наиболее подходящую литературу (библиографию в кратких аннотациях). Только в этом случае, в особенности при отсутствии учебника, может быть обеспечено преподавание курса «История языкознания» на высоком научно-теоретическом и идейно-политическом уровне.

Наша статья — попытка дать в руки нашей научной молодежи нечто вроде краткого «Введения в источниковедение» для курса «История языкознания». Я желал поделиться своим многолетним опытом преподавания этого курса с товарищами по специальности и новыми кадрами, нашей смелой.

М. И. Пелировский

О КУРСЕ «СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК» *

Давно уже назрел вопрос о месте курса «Современный русский литературный язык» в системе филологического образования и в кругу дисциплин русского языковедческого цикла, о содержании этого курса и методах его изложения в университетах и в педагогических институтах, о соотношении лекционного курса со спецкурсами и семинарами по этой же дисциплине.

Задача настоящей статьи — осветить некоторые из перечисленных вопросов преимущественно главным образом к педагогическим институтам.

¹ Ряд справедливых критических замечаний по «Программе» курса «Общее языкознание» дан в статье А. А. Беленцкого «О курсах общего языкознания в государственных университетах» (ВЯ, 1953, № 5).

² См.: А. М. Финкель, О содержании и построении курса «История языкознания», ВЯ, 1954, № 6; Г. С. Ахведиаши, К вопросу о преподавании курса «История языкознания», ВЯ, 1955, № 2.

* Этим заглавием объединены три статьи о постановке курса «Современный русский литературный язык» — в русских педагогических институтах (Ю. Р. Гепнер) и в национальных педвузах (Н. Я. Лойфман и З. Ф. Барцева; С. М. Бурдин).

Задачи курса и его место среди других лингвистических дисциплин

В вузах, готовящих учителей русского языка и литературы, курс «Современный русский литературный язык» — дисциплина профилирующая, поэтому она, естественно, должна занимать центральное место среди всех других дисциплин русского языковедческого цикла. Методологической базой этого курса является общее языкознание, построенное на марксистской основе.

Однако новые учебные планы филологических факультетов педвузов составлены так, что курс «Современный русский литературный язык» по сути лишен этой базы. Во-первых, спят курс «Общее языкознание». Во-вторых, «Введение в языкознание» читается одновременно с курсом «Современный русский литературный язык». Таким образом, преподаватель фактически лишен возможности опираться на те общеметодологические положения, с которыми студент знакомится в элементарном курсе «Общее языкознание».

В самом деле, вопросы лексикологии, с которых начинается курс «Современный русский литературный язык», в курсе «Введение в языкознание» освещаются значительно позднее. Лектор по русскому языку вынужден сам излагать то, что должен был бы сделать преподаватель «Введения».

Дело не изменится и тогда, когда курс русского языка будет открываться фонетикой, так как общие сведения о языке, без которых нелегко начинать «Введение», требуют такого количества часов, что согласование во времени соответствующих разделов обоих курсов совершенно исключено. В итоге получается недопустимое дублирование: одни и те же положения повторяются в курсах «Введение в языкознание» и «Современный русский литературный язык».

Между тем последний курс призван углублять те знания, которые студент получает в курсе «Введение в языкознание», но на недостаточно широкой для обобщения базе, ввиду отсутствия соответствующей подготовки у первокурсников. Отсюда ясно, что «Современный русский литературный язык» должен читаться после того, как студенты прослушали «Введение в языкознание». Следует тут же предостеречь против тенденции превратить элементарный курс «Общее языкознание» в методологическое вступление к курсу «Современный русский литературный язык».

Такое сужение задач «Введения» немыслимо привело бы не только к узаконенному дублированию курса русского языка, но и к снижению общетеоретического уровня элементарного курса «Общее языкознание», к выхолащиванию сущности общего языкознания как науки, в которой суммируются выводы научного изучения не одного, а многих языков, к уничтожению общезначимости основных положений этой науки.

Разумеется, преподаватель «Введения в языкознание» использует в первую очередь факты русского языка, но это отнюдь не означает, что этот курс сводится к «предвступке» курса «Современный русский литературный язык».

До сих пор считалось неизбежным такое соотношение языковедческих дисциплин, при котором в курсе «Современный русский литературный язык» раскрываются на конкретном материале принципиальные методологические положения общего языкознания.

Так, в теории русского языка на конкретных фактах показывается взаимоотношение основного словарного фонда и словарного состава языка, причем преподаватель не только опирается на те общие сведения, которые студенты вынесли из элементарного курса общего языкознания, но обязательно углубляет эти сведения. Равным образом, и вопросы о взаимодействии морфологии и синтаксиса в грамматике русского языка, о связи грамматических категорий, о системе частей речи в русском языке, о словосочетании и его типах, о природе сложного предложения в русском языке и т. п. должны освещаться с тех общетеоретических позиций, которыми овладели студенты в курсе «Введение». В то же время конкретный языковой материал, излагаемый с марксистских общеметодологических установок, «возвращает» студентов к этим установкам, способствует более высокой степени осознания и усвоения студентами общих теоретических принципов марксистского языкознания.

Если же курс «Современный русский литературный язык» читается параллельно с «Введением в языкознание», то, кроме отмеченного нами дублирования материала, неизбежны упрощение и схематизм: в лекциях по русскому языку придется излагать важнейшие общеметодологические положения, что потребует такого количества часов, которое не может не отразиться на изложении самого курса русского языка. Преподаватель этой дисциплины, естественно, жертвует материалом по общему языкознанию в пользу программы по русскому языку, содержание которой излагается, таким образом, без должной общетеоретической базы.

Разграничение материала обоих курсов абсолютно необходимо. Все вопросы общеметодологического характера должны быть сосредоточены во «Введении в языкознание». Курс «Современный русский литературный язык» опирается на эти положения, «аплирует» к ним в соответствующих разделах. Поэтому нет надобности оставлять в этом курсе материал, трактующий о признаках основного словарного фонда (по-

скольким признакам эти общи всем языкам), о предмете морфологии и синтаксиса, о взаимоотношении лексических и грамматических значений слова, о предложении или синтаксической единице, о соотношении предложения и суждения и т. п. (поскольку все перечисленные вопросы изучаются в общетеоретическом плане во «Введении в языкознание»). В курсе «Современный русский литературный язык» все это концентрируется на соответствующем материале.

•

Центральное место курса современного русского языка определяет и его связь с курсами исторической грамматики и истории русского литературного языка. Задача этих последних — помочь более глубокому пониманию законов развития современного русского языка. Но можно ли дать научное объяснение того, каким был древнерусский язык, как сложился современный русский язык, если студент имеет знания о звуковой системе, лексическом составе и грамматическом строе этого языка в объеме только школьной грамматики? Нельзя забывать, что учащиеся по сути заканчивают ее изучение в VII классе — в 14-летнем возрасте, не всегда хорошо усвоив те основы науки о языке, которые призвана дать, по часто еще не даст школа. А без глубоких знаний того, что в языке имеется с о й ч а с, нельзя глубоко изучить то, что в нем б ы л о.

Историк языка не может не обращаться к современному его состоянию, ибо только таким путем можно выяснить подлинную сущность тех изменений, которые происходили в древнерусском языке и в результате которых сложился современный русский язык. Мы уже не говорим о таких фактах истории языка, которые нашли свое отражение в современном русском языке (изменение *е* старого из *ь* в сильном положении в *о*, следы утраты двойственного числа, следы употребления различных падежных форм с предлогами и без предлогов, изменения в употреблении этих форм и т. п.) и которые требуют соответствующей ориентации студентов в категориях морфологии и синтаксиса. Трудно представить себе, как будет выглядеть, например, общая характеристика морфологического и синтаксического строя древнерусского языка без сравнений с современным русским языком.

В вузе, готовящем учителей, курс истории языка не может иметь самодовлеющего значения, он должен быть подчинен основной цели — глубокому изучению современного русского языка. Привлечение исторических фактов в процессе этого изучения абсолютно необходимо, но только таких, которые характеризуют лишь основные моменты истории языка.

Так, историко-генетический принцип должен быть последовательно применен при изучении частей речи и присущих им грамматических категорий. Идет ли речь, например, о категории одушевленности и неодушевленности, о категории собирательности, отвлеченности, об употреблении (и правописании) числительных, о категориях вида и наклона, об их соотношении с категорией времени, о морфологических группах наречий, о значениях и употреблении союзов или о структуре и типах подчинительной связи, о типологии сложных предложений и т. п., преподаватель не может пройти мимо исторического анализа основной тенденции развития неречисленных категорий и фактов, приведшей к преобразованию обобщенных лексических значений в абстрактные грамматические значения. Было бы неправильно сводить такой анализ к исторической справке или к «выкладкам» из исторической грамматики: это неизбежно приведет к тому, что студенты не получат представления о целостной системе современного русского языка.

Рассматривать исторически основные факты этого языка — значит не воспроизводить его историю, а показывать в обобщенной форме ведущую тенденцию развития отдельных элементов системы языка. Исторический принцип изучения в к л ю ч а е т в себя показ отживающих, непродуктивных и продуктивных, нарождающихся явлений, но не сводится к этому покалу: принцип историзма предполагает конкретно-исторический подход к явлениям языка, безотносительно к тому, укладываются ли они в рамки продуктивности, непродуктивности и т. п.

Более того, отнесение того или иного явления к разряду продуктивных, отживающих и т. п. должно быть следствием, а неводом из конкретно-исторического изучения системы языка, а не предпосылкой такого изучения. Само понятие продуктивности, непродуктивности и т. д. не есть нечто неизменное, раз навсегда данное, а связано с определенным этапом развития языка. Например, словообразовательные типы, продуктивные в одну эпоху, могут с течением времени стать малопродуктивными или совсем непродуктивными. Для выяснения этого совершенно не требуется проследить все течение данного процесса, а достаточно понять его общую направленность. Равным образом, нет надобности воспроизводить, например, всю историю числительных в русском языке, чтобы показать их развитие в самостоятельную часть речи. При характеристике новообразований в русском языке важно сопоставить их со словами, восходящими к древнерусской основе; но это отнюдь не означает изучения лексики древнерусского языка.

Таким образом, историзм в курсе «Современный русский литературный язык» — это не что-то внешнее, дополнительно вносимое в материал, а метод изложения, единственно обеспечивающий выработку «точных и глубоких знаний о современном русском литературном языке, как об исторически сложившейся и развивающейся системе...»¹

Когда же такие знания студентами усвоены, история русского языка воспроизводится во всем конкретном многообразии, во всей целостности фактов, объединенных в единую систему. Вот почему нам представляется, что историческая грамматика и история русского литературного языка должны читаться после того как прочитаны, по крайней мере, такие разделы курса «Современный русский литературный язык», как «Лексика», «Фонетика», большая часть «Морфологии». Завершающим должен быть курс «Общее языкознание», который обобщает весь материал, полученный студентами по отдельным лингвистическим дисциплинам, в том числе и по спецкурсам и спецсеминарам по русскому языку. Без такого обобщения внутренняя связь курсов друг с другом, принципы отбора материала в отдельных курсах останутся непонятными для студентов.

Абсолютно ненормальным следует признать исключение из программы по современному русскому языку для педвузов раздела «Из истории отечественного языкознания» при отступлении курса «История лингвистических учений». Надо ли доказывать, что критическое усвоение нашего лингвистического наследия является необходимым условием подготовки образованного учителя русского языка?

В лекциях по современному русскому языку в педагогических институтах наблюдается калейдоскопический перечень имен: Буслаев, Потебня, Шахматов, Богородицкий, Щерба, Пешковский. Говоря о системе частей речи в русском языке, о типологии предложений, о категориях имени и глагола и т. п., преподаватель приводит различные точки зрения выдающихся представителей русского языкознания, сопровождая эти высказывания иногда общими критическими замечаниями. Иногда — указанием на их глубину, ценность, важность. Вырванные из общей лингвистической концепции авторов, такие отрывочные, случайные сведения не создадут у студентов правильного представления о развитии русской науки.

Во избежание этого необходимо в специальном разделе программы изложить с марксистских позиций лингвистические взгляды выдающихся представителей русского языкознания, дать общий анализ их главнейших трудов. Этот раздел должен быть обобщающим. Методологически неправильно было бы исключать из программы какие бы то ни было экскурсы в историю разработки тех или иных проблем русского языкознания.

История разработки отдельных вопросов морфологии и синтаксиса русского языка включается в соответствующие разделы курса не в виде простого упоминания имен и быстрого пересказа взглядов выдающихся представителей русского языкознания, а как прием научного анализа, призванный показать, что усвоено критически советским языкознанием из арсенала дореволюционной науки о языке, что отброшено как устарелое; какой путь прошла та или иная проблема, прежде чем она нашла свое разрешение в марксистском языкознании; что остается до сих пор спорным, невыясненным окончательно, дискуссионным и т. п. Такие данные из истории науки, органически связанные с внутренней логикой той или иной темы, приучают студентов серьезно подходить к фактам языка, глубоко анализировать их, не воспринимать их упрощенно и поверхностно.

Совершенно очевидно, что в основных разделах программы должны быть предусмотрены краткие вступления, озаглавленные: «Из истории вопроса». Общий перечень таких вступлений, во избежание дробности, можно включить в объяснительную записку к программе. Заключительный обзорный раздел «Из истории отечественного языкознания» явился бы тогда обобщением тех сведений из истории отечественного языкознания, которые студенты выносят из отдельных тем курса. Следует только предостеречь против чрезмерного увлечения историографией.

Отнюдь не требуется излагать историю разработки всех вопросов науки о русском языке. Так, например, в разделе «Имя существительное» можно ограничиться только приведенным взглядом Потебни на абстрактные слова в русском языке. В разделе «Глагол» нельзя обойти, например, высказывания Буслаева и Шахматова о категории залога, особенно когда надо выяснить соотносительность категорий залога и переходности и непереходности.

Более обстоятельный исторический экскурс необходим при изложении вопроса о системе частей речи в русском языке. Отсутствие единой точки зрения по этому вопросу у советских лингвистов и их предшественников является наглядным доказательством сложности проблемы. Ныне принятую в русском языкознании систему частей речи надо обосновать, и исторический экскурс является одним из важных методов аргументации.

¹ ВЯ, 1955, № 1, стр. 88.

Особо следует сказать о месте нормативных элементов в курсе русского языка. Не только в педагогических институтах, но и в университетах нормативные элементы курса должны занять подобающее место. Нормативные элементы не могут быть оторваны от теоретических основ курса. Студенту необходимо усвоить на конкретном материале, что правила и нормы русского языка — это проявление внутренних законов его развития и что, с другой стороны, сами эти законы создаются в процессе функционирования языка по определенным правилам и нормам. Одностороннее вычленивание нормативной стороны неминуемо приводит к ложному выводу, будто для преподавания языка в школе достаточно хорошо знать учебник, уметь ставить вопросы и подбирать примеры к правилам. А между тем важнейшей задачей курса является вооружение студента умением научно объяснять любую грамматическую тему, пользоваться соответствующей научной литературой, отбирать из нее основное, главное. Об этом надо сказать в объяснительной записке к программе, иначе неизбежен перегиб в сторону узко практического изложения курса.

О структуре программы курса и о соотношении ее разделов¹

Прежде всего необходимо указать на такой существенный пробел в программе, как отсутствие в ней раздела «Стилистика». Только в «Лексике» говорится о стилистическом расслоении словаря русского языка, о стилистическом использовании его в разных сферах применения. Но этим, конечно, не исчерпывается вопрос о стилистике как разделе науки о русском языке. Могут возразить, что предмет стилистики еще не обозначился точно, что нет еще единого мнения о месте и границах стилистики в общей системе марксистского языковедения.

Но, как верно указывается в редакционной статье «Вопросов языковедения», «оканчивающие филологические факультеты и факультеты языка и литературы должны знать, что в науке о языке является общепризнанным и что находится в процессе изучения»². Это справедливо и в отношении стилистики. Мало разработаны еще вопросы стилистической морфологии и стилистического синтаксиса, но несомненным является наличие разнообразной стилистической окраски не только у слов, но и у их форм, а также у фразеологизмов и у типов предложений.

Было бы весьма целесообразно сказать об этом в специальном разделе программы, а попутно — в соответствующих темах курса. Расширение материала по стилистике диктуется и чисто нормативными моментами: студент должен знать, какие синонимические типы, какие варианты грамматических форм и конструкций отвечают требованиям того или иного языкового стиля. Отсутствие должного внимания к вопросам стилистики в программе по современному русскому языку приводит к тому, что молодые учителя проходят мимо стилистических ошибок учащихся и неспособны обеспечить стилистический уклон в преподавании морфологии и синтаксиса, что необходимо для работы над культурой речи учащихся.

Принципиально важно установить, с чего нужно начинать изучение системы языка — с фонетики или с лексикологии. Вряд ли убедителен довод: курс следует начинать с фонетики, поскольку она изучает «материальную оболочку» языка. Ведь система фонем в русском языке (как и во всяком другом) — не самостоятельное царство звуков — смысловых различителей, готовых эталонов, создающих слова. Фонемы выделяются в слове, звуковые изменения имеют место в слове.

Ударение не только определяет звуковой облик слова, но выступает одновременно как один из его основных индивидуальных признаков, отличающих данное слово от других. Здесь фонетика и лексикология связаны внутренне и неразрывно. Вместе с составом фонем ударение позволяет нам различать звуковые комплексы-слова.

Фонетика связана не только с лексикологией, но и с грамматикой. Слогоделение нельзя рассматривать отдельно от морфологического членения слова. Равным образом нельзя рассматривать вне слов произносительные признаки и акустическую характеристику звуков русского языка, позиционные чередования гласных и согласных, сочетания согласных на стыке морфологических частей слова и т. п.

Из сказанного ясно, что фонемы в русском языке (как и в других языках) выполняют словообразовательную, словообразующую и смысловозначительную функции. Но функции эти выступают только в составе слова, в определенных комбинаторных условиях. Поэтому систему фонем нельзя излагать абстрактно, оторвано от живой языковой действительности, в частности, от словообразования и формообразования. Лишь после того, как изучены основные типы лексических значений слова в русском

¹ См. программу по курсу «Современный русский язык», сост. кафедрами русск. языка моск. пед. ин-тов и утвержд. Мин-вом просв. РСФСР (М., Учпедгиз, 1954) и аналогичную программу для филол. фак-тов гос. ун-тов, утвержд. Мин-вом высш. образ. СССР (М., Изд-во Моск. ун-та, 1954).

² ВЯ, 1955, № 1, стр. 90.

языке, можно говорить о том, что связь между звучанием и значением слов не прямая, что нельзя рассматривать фонемы как непосредственные смыслоразличители.

В лексикологии студенты узнают, что слово есть единство звучания и значения, что вне этого единства слово не может существовать как единица языка. Если звучание не сопровождается значением, то нет и слова. Поэтому не всякое сочетание фонем дает слово, а лишь сочетание определенных фонем в определенной последовательности. И с методической точки зрения целесообразно изучать фонетику после лексикологии, на материале которой можно шире и глубже показать значение фонем для узнавания слов, для их образования и смыслоразличения.

Практическое значение фонетики не ограничивается одной лишь орфоэпией, и это хорошо должен знать будущий учитель русского языка.

Что касается орфоэпии, то опять-таки основы русского литературного произношения могут изучаться только на материале слов и их форм.

Все сказанное убеждает нас в том, что курс должен начинаться с лексикологии.

*

Раздел лексикологии требует существенных изменений. Так, чисто декларативным является подзаголовок «Лексика в системе современного русского языка»: ни в одном пункте раздела ничего не сказано о соотношении лексики с фонетикой и грамматикой русского языка.

А между тем лексика (и семантика) теснейшим образом связаны с другими элементами системы языка. Так, фонетическая структура слова сплошь и рядом показывает, как изменялась в истории языка форма выражения значения в словах, как складывались процессы дестимологизации и т. п. И наоборот, дестимологизация может повлечь за собой изменение фонетической структуры слова. Фонетическая структура определенных разрядов слов указывает источник их происхождения, служит критерием закономерных соответствий лексики русской, старославянской и иноязычной.

С другой стороны, известно, что часто фонетические признаки оказываются недостаточными для отнесения слов к тому или иному лексическому пласту. Во всяком случае, в лексикологии фонетический анализ не только правомерен, но часто обязателен, особенно при изучении словаря с точки зрения его исторического формирования. Немалую роль играют фонетические факторы в возникновении омонимов и в омонимическом «отталкивании» в русском языке. Звуковое родство помогает освоению многих иноязычных слов. Связь фонетики с лексикой выступает и при анализе экспрессивно-стилистического использования особенностей словаря. Отметим, в частности, роль омонимов как средств каламбура. При изучении лексики перечисленные фонетические моменты освещаются мимоходом. Когда же пройден раздел «Фонетика», дается специальный обобщающий заголовок «Связь фонетики и лексики в системе русского литературного языка».

О соотношении лексики и грамматики следует говорить подробно при изучении морфологии и синтаксиса. Здесь же показывается связь грамматики с фонетикой. Но некоторые вопросы грамматики должны быть затронуты в соответствующих разделах «Лексикологии». Так, роль словообразования в развитии и обогащении лексики русского языка (разд. II, п. «г») выясняется только при анализе словообразовательных типов. Логика изложения требует здесь хотя бы самого общего указания на продуктивные и непродуктивные типы словообразования, а в полной программе об этом ничего не сказано. Кроме слов, характеризующих общеславянскую и восточнославянскую лексику как ядро основного словарного фонда русского языка, должны быть названы и общеславянские морфемы (например, суффиксы имен и глаголов). Тема о составе слов затрагивается в разделе о лексических единицах. Вопросы грамматики возникают и тогда, когда говорят о морфологическом основании иноязычных слов: эти слова часто меняют состав своих морфем, свои грамматические признаки, включаясь в систему русского словообразования. Прямое «перерастают» и грамматику производные омонимы и омоформы. Когда говорят об основных типах лексических значений слов в русском языке, то необходимо подчеркнуть, что одно лишь лексическое значение, взятое само по себе, вне грамматического оформления, не может выразить все многообразие связей и соотносительности с действительностью, свойственное слову. Но, с другой стороны, грамматические значения придать словам осмысленный характер, лишь преломляясь через призму предметных значений. Вопросы грамматики выступают и в разделе «Фразеология». Как нам представляется, этот раздел должен быть выделен в самостоятельный и излагаться вслед за лексикологией. Фразеологические связи — это связи особого качества, но создаются они только посредством грамматического оформления компонентов. И уже самый анализ типов фразеологических единиц вводит нас в вопрос о синтаксической членности и нечленности, о синтаксических функциях этих единиц и т. п. Односторонний семасиологический подход к фразеологическим единицам, изучение их в лексикологии неминуемо влечет за собой отождествление этих единиц — эквивалентов слов — просто со словами, с чем никак нельзя согласиться.

По разделу «Лексикология» напрашиваются еще и такие замечания.

Сведения об основном словарном фонде современного русского языка даются в программе после того, как изучены историческое формирование, социальный и диалектный состав лексики, активный и пассивный фонд словаря и фразеология. Таким образом, лексика русского языка по сути рассматривается вне связи с основным словарным фондом. Это относится и к теме об историческом формировании словаря, и к теме о словообразовании: из первой выпадает вопрос о взаимоотношении слов основного словарного фонда и слов, не входящих в него, из второй — вопрос о роли основного словарного фонда как словообразовательной базы.

Кроме того, фразеология рассматривается как объект лексикологии, но излагается опять-таки вне всякой связи с основным словарным фондом языка, хотя известно, что одним из его свойств является активное участие в создании фразеологии, так же как и в появлении спонимов, антонимов и т. п.

В разделе ничего не сказано о различии между словами, относящимися к основному словарному фонду, и получившей широкое распространение общенародной лексикой. Актуальность этой проблемы не подлежит сомнению.

Наконец, программа не ставит вопроса о тех явлениях в развитии лексики, которые особенно характерны для советской эпохи, а ограничивается лишь описанием основных черт этого развития. Такие явления, как переход многих лексических единиц из пассивного фонда в активный, метафорическое пересмысление многих слов и использование их в активном фонде преимущественно в номинативной или дефинитивной функциях, «вторая жизнь слова», переход слов из словарного состава в основной словарный фонд, отмирание ряда слов основного словарного фонда, отмирание производных слов при сохранении основного слова, ввиду ассоциаций, вызываемых этим последним, развитие суффиксальной омонимии, необычная для русского языка продуктивность сложных образований в советскую эпоху, возросшая роль специальной лексики, ее широкое проникновение в язык после Великой Отечественной войны и употребление ее в прямом и переносном значении и т. д., и т. д. — не могут не привлечь внимания наших лексикологов и не стать предметом изучения с точки зрения раскрытия заложенных в этих явлениях внутренних закономерностей.

Научный курс русского языка на филологическом факультете пединститута не может не включать в себя хотя бы часть перечисленных здесь проблем. И еще одно замечание. Главным источником развития и пополнения словаря русского языка являются продуктивные способы словообразования. Стало быть, о них надо говорить в «Лексикологии».

Но отсутствие в программе соответствующего разъяснения о роли и месте словообразования в системе русского языка неминуемо приведет к тому, что словообразование превратится в раздел лексикологии. А на самом деле это самостоятельный раздел языкознания, изучающий не только лексико-семантическое, но и морфологическое строение слова. В программе об этом нигде не упоминается. Следовало бы выделить «Словообразование» в самостоятельный раздел, в котором указывалось бы его отношение к грамматике и к лексикологии. Это было бы еще одним наглядным подтверждением взаимосвязи и взаимодействия всех сторон системы языка.

Больше всего проблем возникает в грамматике — центре системы языка. Однако надо разграничить вопросы грамматики, не решенные еще своего разрешения и до сих пор остающиеся дискуссионными, и вопросы, в той или иной степени решенные и поэтому требующие своего освещения в вузовском курсе русского языка.

К вопросам первого ряда надо отнести такой, как «объем» морфологии.

Некоторые считают, что служебные слова не могут быть предметом морфологического анализа, так как они лишены форм словоизменения. Если еще учесть, что синтаксические функции служебных слов совпадают у них с лексическим значением, то возникает сомнение в правомерности термина «лексико-грамматические разряды слов» в применении к так называемым «частичам речи».

Чтобы быть до конца последовательным, надо было бы эти последние рассматривать как категории чисто синтаксические. Нам представляется это неправильным, так как тогда разрывается связь между частями речи и частями речи, ибо основой выделения первых является лексико-морфологическая структура слов и их синтаксическая функция, а основой выделения вторых — только синтаксическая функция.

Далее, считать наличие или отсутствие у слов системы форм единственным критерием отнесения этих слов к морфологии или исключения из нее — значит не только поставить за рамки морфологии несклоняемые существительные и многие наречия, но и игнорировать факт взаимодействия морфологических и синтаксических средств выражения грамматических категорий в русском языке.

При всей «синтаксичности» служебных слов надо все же различать: 1) описание их состава и 2) характеристику их функций в предложении. Правда, первый пункт нельзя отнести к первообразным служебным словам. Но отсюда не следует, что одну часть служебных слов нужно изучать в морфологии, а другую — в синтаксисе. В морфологии

исследуются общее значение и разновидности этих лексических единиц, в синтаксисе — употребление их в речи, в предложении. Не об изменении традиционного объема морфологии, не о выделении в системе языка каких-то промежуточных звеньев должна идти речь. а о подробном объяснении той специфики, которая характеризует служебные слова как лексико-грамматические категории. Схематически это объяснение можно представить так: само название «служебные» указывает на тип этих слов, на характер участия их в построении речи. Верно, что морфологический критерий является доминирующим в разграничении частей речи, но говорим же мы о морфологическом составе союзов, выделяем же мы группы предлогов по их морфологическому характеру и т. п. Кроме того, «доминирующий» — не значит «единственный». Далее, не все служебные слова лишены лексического значения: никто не ставит оспаривать наличия синонимии и антонимии у предлогов; деление союзов на причинные, цели и т. п. — это явление чисто лексическое и т. д. Наконец, в предлоги, союзы, частицы переходят многие самостоятельные слова. Вот почему служебные слова как частицы речи, наряду с частями речи, изучаются и в морфологии.

Добавим еще, что некоторые частицы выполняют словообразовательные и формообразовательные функции, что многие частицы сохраняют еще следы своей близости к наречиям и выражают лексические значения или оттеняют и усиливают значения отдельных слов. Необходимо учесть также наличие среди союзов больших групп «гибридных», по определению акад. В. В. Виноградова, слов, совмещающих значения союзов со значениями других грамматических категорий.

Ясно, что все это — явления чисто морфологические, и о синтаксисе тут можно говорить только в том смысле, что контекст уточняет, делает определенным лексико-грамматические значения этих слов. Но сказанное справедливо и в отношении полнозначных слов, которые, однако, никто не станет «выключать» из морфологии.

Если предлоги выражают разнообразные отношения между предметами, между предметами и действиями и тем самым восполняют то, что не могут сделать падежи, то почему эта функция предлогов относится к области синтаксиса? Излишне доказывать, что, например, в предложном падеже предлог создает грамматическую оформленность имени существительного как части речи, и стало быть морфологичность предлога здесь несомненна. Предлоги не только дифференцируют значения падежных форм существительных, но и способствуют их «наречиванию».

Выключение служебных слов целиком в синтаксис означало бы игнорирование того, что они не могут быть членами предложения. В синтаксисе должны изучаться функции служебных слов в речи, в предложении, т. е. синтаксические отношения, выражаемые этими словами (типы связи, характер управления и т. п.). В морфологии же рассматривается происхождение служебных слов, их лексические значения, роль в словообразовании, формообразовании, типы их по строению. Обо всем этом должно быть сказано в разделе «Части речи как основные лексико-грамматические разряды слов в русском языке и принцип их разграничения». Термин «части речи» должен быть сохранен, но содержание его должно быть дифференцировано.

При изучении частей речи выясняется взаимосвязь, существующая между смысловым окружением слова и его словообразовательными возможностями, зависимость форм словообразования от типов склонений, от строения основ и т. п.

В программе из числа вопросов, до конца еще не разрешенных, но в некоторой степени уже выясненных в советском языковедении, в первую очередь должен быть отражен вопрос о взаимосвязи грамматики и лексики.

В соответствующих разделах надо показать, что формы связи и взаимодействия лексических и грамматических значений в слове сложны и разнообразны. Так, в одних случаях доминирующая роль принадлежит грамматическому значению (например, существительные, обозначающие один предмет, но имеющие только множественное число; существительные, обозначающие профессию мужчин и женщин но употребляющиеся только в мужском роде и пр.), в других — лексическому (например, зависимость замены прилагательным родительного материала, родительного субъекта, носителя признака от лексических значений существительных и т. п.).

Но независимо от всего этого, «грамматика... не может уклониться от определения самого характера охвата или [грамматическими категориями] лексического материала». В этом определении решающим должна быть степень зависимости грамматических категорий от лексических значений слов. Так, лексико-грамматическими являются не только категории предметности, признака, действия, но и категории вещественности, отвлеченности, собирательности и т. п. Это должно быть указано в программе, тем более, что в разделе «Лексикология» ничего не говорится о словах абстрактных и собирательных как о лексических группах. Создается впечатление, что все перечисленные категории являются собственно-грамматическими категориями.

Лексико-грамматическими, в отличие от падежа, являются и категории рода и числа существительных, так как с этими категориями, по справедливому замечанию

¹ В. В. Виноградов, Значение работ товарища Сталина для развития советского языковедения, М., 1950, стр. 44.

В. В. Виноградова, связаны не только грамматические, но и лексико-семантические различия¹. Но эта связь выступает в категории числа в более прозрачной форме, чем в категории рода, а в обеих этих категориях — в менее прозрачной форме, чем в категориях отвлеченности, собирательности и др. Категории вида и залога опять-таки по-разному выявляют свою связь с лексикой: если в первой из них имеет место «борьба и взаимодействие» грамматических и лексических значений, то вторая «лежит уже на самой пограничной черте между грамматикой, лексикологией и фразеологией»².

Напомним еще, что В. В. Виноградов рассматривает вид и залог как семантические признаки глагольности. Совершенно очевидно, что все описанные нами типы связи грамматики и лексики должны найти соответствующее место в программе, которая призвана не только перечислять основные проблемы, подлежащие изучению, но и нацеливать на определенный метод подхода к ним.

По этой же причине в программе должно быть указано на взаимосвязь и взаимодействие грамматических категорий имени и глагола, на общее и различное, что имеется внутри тех и других. Особенное значение приобретает соотношение категорий вида и времени, вида и залога, наклонения и времени. В программе обо всем этом ничего не сказано.

Все выводы должны быть синтезированы и объединены в специальном разделе: «Связь и соотносительность морфологических категорий в грамматике русского языка».

О соотносительности морфологических и синтаксических категорий надо говорить при изучении второстепенных членов предложения. Необходимо выяснить связь и различие между атрибутивными отношениями в предложении и предметным признаком в морфологии, между релятивными отношениями в предложении и признаками признаков в морфологии и т. п. Из школьных и вузовских курсов невозможно понять, чем отличается определение от прилагательного: ведь обе эти категории рассматриваются как выразители признака. Отсюда ясно, что в разделе «Синтаксис» должно быть дано развернутое учение о второстепенных членах предложения, об их отношениях с частями речи.

Вопрос о том, как определять синтаксическую функцию слова в предложении, исходя из общего значения того словосочетания, компонентом которого является данное слово, — слишком сложен, для его разрешения требуется время.

«Синтаксис» следует дополнить главой о предикативности и модальности, как основных грамматических признаках предложения. Интересы школы требуют включения в программу по синтаксису специального раздела «Разграничение придаточных предложений» (определятельных и сказуемых, меры и степени; подлежащих и дополнительных и т. п.).

*

Мы остановились лишь на самых общих вопросах преподавания современного русского литературного языка в высшей школе. Широкая дискуссия на страницах «Вопросов языкознания», бесспорно, расширит круг этих вопросов и поможет коренному улучшению преподавания русского языка не только в высшей, но и в средней школе.

Ю. Р. Геллер

* * *

Еще в 1950 г. акад. В. В. Виноградов писал: «Не подлежит сомнению, что центральным предметом русского языковедческого цикла является курс современного языка. Лишь он дает полную картину системы языка. Его теоретическое, методологическое и практическое значение огромно»³.

При чтении курса «Современный русский литературный язык» на отделениях родного и русского языка (для нерусских школ) необходимо постоянно сопоставлять факты русского языка и родного языка студентов, однако эти сопоставления не должны превращать курс «Современный русский литературный язык» в курс сопоставительной грамматики. Так, при чтении курса в марийской аудитории особое внимание обращаем на различия в грамматическом строе русского и марийского языков (например, отсутствие категории рода в именах, неизменяемость прилагательных, наличие послеложных конструкций, отсутствие приставок в марийском языке), на различия в фонетиче-

¹ См. В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 62 и сл. и 155.

² Там же, стр. 499 и 606.

³ В. В. Виноградов, Содержание и задачи курсов по языковедческим дисциплинам..., сб. «Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина», [М.], 1950, стр. 190.

ской системе языков (различие в системе фонем, в строении слога и др.). В курсе «Современный русский литературный язык» подчеркиваем и раскрываем на конкретных примерах благотворное влияние великого русского языка на марийский язык. Так, из русского языка и через русский язык заимствуется марийским языком ряд русских и интернациональных слов (бытовой, общественно-политической, научно-технической и другой лексики): *совет, партий, комната, окна, опыт, движеньи, материй, уборка, урожай* и др. Из русского языка марийский язык заимствовал ряд союзов (*а, но, что, да, если* и др.); вместе с русскими словами из русского языка был заимствован ряд звуков, отсутствовавших в марийском языке (*ф, т, б*).

Вопрос о профессионально-педагогической направленности курса

Курс «Современный русский литературный язык» должен читаться с учетом будущей деятельности выпускников и уровня знаний студентов, полученных ими в средней школе. Между тем существующие пособия по современному русскому языку не учитывают этого, а среди студентов университетов господствует как известно, мнение, будто из них готовят лишь научных работников, а не учителей.

В курсе «Современный русский литературный язык» особенно обстоятельно и глубоко должны освещаться вопросы, имеющие жизненно важное значение для преподавания русского языка в средней школе (например, вопрос о частях речи, их морфологических признаках и синтаксических функциях, о строении слова, о типах предложений и др.).

Но профессионально-педагогическая направленность курса «Современный русский литературный язык» не означает превращения его в курс методики преподавания русского языка; между тем некоторые товарищи рекомендуют: «изложение курса современного языка следует сопровождать практическими и конкретными указаниями — на что именно необходимо обращать особое внимание при преподавании языка в школе, как использовать материал теоретического курса для повышения культуры речи в школе, грамотности учащихся»¹.

Разделы «Орфоэпия», «Орфография», «Пунктуация» следует обязательно включать в курс современного русского языка, так как они имеют большое практическое значение.

Изложение различных, часто противоречивых точек зрения в курсе должно быть доведено до минимума (студенты могут знакомиться с ними путем самостоятельного изучения рекомендованной лектором литературы). Излагать различные точки зрения необходимо только по спорным и нерешенным вопросам (например, о принципе классификации частей речи, о категории состояния, о модальных словах, о залогов, о порядковых словах, о местоимениях, о классификации членов предложения, о сложных предложениях и др.).

О практических занятиях по современному русскому языку²

Задача теоретического курса «Современный русский литературный язык» хорошо сформулирована в редакционной статье журнала «Вопросы языкознания» (1955, № 1). Задача практических занятий — закрепление на конкретном фактическом материале основных положений теоретического курса, выработка умений, навыков языкового анализа (лексического, фонетического, грамматического), практическое овладение всеми нормами русского литературного языка, критическое изучение лингвистической литературы. Твердость навыков зависит от количества и качества упражнений. Между тем существующие пособия не учитывают задачи подготовки квалифицированных специалистов для средней школы (например, см. «Сборник упражнений по современному русскому языку» А. Н. Гвоздева); совершенно отсутствуют упражнения по орфографии и пунктуации (в практическом плане); наблюдается также переоценка семантики при анализе грамматических категорий и т. д. «Пособие для практических занятий по русскому языку в национальных педагогических вузах» Н. С. Рождественского и Н. И. Поспелова рассчитано на «национальные вузы вообще» (как пишут авторы в предисловии), но сопоставления с родным языком студентов в книге отсутствуют.

¹ См. «Українська мова в школі», 1955, № 1, стр. 88.

² См. интересную статью И. Г. Г о л а н о в а «О постановке практических занятий по курсу «Современный русский язык» на заочных отделениях педагогических институтов» (сб. «Заочное педагогическое образование», вып. 3, М., 1953), а также статью И. В. Устинова «Примерная схема полного грамматического анализа текста по курсу «Современный русский язык»» (сб. «Заочное педагогическое образование», вып. 4, М., 1954).

На практических занятиях должны особенно тщательно анализироваться такие вопросы, которые имеют прежде всего практическое значение для преподавания языка в школе, например, определение надежной, значение предлогов и приставок, разбор слов по составу, видовые формы глаголов, словообразование, структура предложения и словосочетания, типы связи слов, правила орфоэпии, орфографии и пунктуации и др.

Необходимо обратить внимание студентов и на случаи «разрыва» школьного и научного изучения языка. Например, в школьном «Учебнике русского языка» С. Г. Бархударова и С. Е. Крючкова при анализе состава слова выделяется не фонетическая, а графическая основа слова (см. на стр. 140: *по-ю, по-ешь... стою, сто-ишь, запо-ю, запо-ешь*), из формулировки правил на стр. 150 учащийся может сделать вывод, что в форме повелительного наклонения ряда глаголов (*дай, решай* и т. д.) «й» является окончанием.

Остается справедливым утверждение А. А. Реформатского, что морфологическому составу слова «...уделяется очень много времени в школе, но, увы, в чисто буквенном плане (так, в *игра-ть* и *игра-ю* основа оказывается одной и той же, вследствие чего искажается вся система формообразования глагола)»¹.

О некоторых спорных вопросах и лингвистической терминологии

При изучении курса «Современный русский литературный язык» много затруднений вызывает неупорядоченность терминологии (наличие терминов-дублетов: «смычные» — «взрывные», «фрикативные» — «щелевые» и др.)², несогласованность терминологии, что отмечалось доц. П. А. Вовчком на дискуссии о частях речи³. Нередко автор пособия употребляет на одной и той же странице термины-дубликаты: «моносемантический» — «однозначный», «полисемантический» — «многозначный» и др. Звук *й* (например, в словах *край, края*) одни называют кратким «й» (несловным «и»), другие относят его к шумным согласным, третьи — к сонорным согласным.

Необходимо, следовательно, чтобы Институт языковедения АН СССР подготовил к изданию «Словарь лингвистических терминов» (где по возможности была бы унифицирована терминология). Кроме того, желательно было бы издание хрестоматии, в которой были бы собраны высказывания крупнейших языковедов (в первую очередь по спорным и нерешенным вопросам). Крайне нужно также переиздание (в серии «Лингвистическое наследство») ряда трудов лингвистов XIX—XX вв. (например, Богородицкого, Фортунатова, Востокова, Щербы, Ушакова и др.).

Следовало бы обсудить на страницах журнала «Вопросы языковедения» принципы научной транскрипции текста (так как по этому вопросу существует ряд противоречивых точек зрения), а также вопрос о генезисе частей речи и типов предложений.

Несомненно, обсуждение вопроса о постановке курса «Современный русский язык» на страницах журнала «Вопросы языковедения» поможет улучшить качество лекционных курсов и практических занятий по современному русскому языку и в целом повысить уровень подготовки специалистов для средней школы.

Н. Я. Лойфман и З. Ф. Барцева

* * *

Основная задача факультетов русского языка и литературы педагогических институтов национальных республик — готовить высококвалифицированных преподавателей русского языка и литературы для нерусских школ.

Указанный профиль специалиста, например для узбекских школ, определяет наличие в плане действующем учебном плане, кроме общих для педвузов и определенных литературно-лингвистических дисциплин, также и таких, как сопоставительная грамматика узбекского и русского языков, курс современного узбекского языка, курс узбекской литературы, методика преподавания русского языка и литературы в узбекских школах.

Преподавание русского языка в узбекских школах за последние годы поднялось на такой уровень, что окончивающие 10-е классы этих школ успешно выдерживают конкурсные вступительные экзамены даже на факультеты русского языка и литературы. Следовательно, необходимо из года в год вносить соответствующие коррективы в подготовку преподавателей русского языка для национальных школ. Это касается прежде всего постановки курса методики преподавания русского языка в националь-

¹ См. ВЯ, 1952, № 4, стр. 59.

² См. Р. М. Уроева и Е. И. Мурашева, Вопросы фонетики в курсе «Введение в языковедение», ИАН ОЛЯ, 1953, вып. 5.

³ См. ВЯ, 1955, № 1, стр. 166.

⁴ Ср., например, систему транскрипции в книгах Р. И. Авансова, Л. А. Булаховского, Л. В. Щербы, А. М. Финкеля и Н. М. Баженова и др.

ных школах. Нам представляется, что принципиальные установки этого курса приближаются к тем, которыми руководствуется преподаватель русского языка в русской школе. Поэтому и речи не может быть о каком-то «ущемлении», сокращении курса «Современный русский литературный язык» в педвузах, готовящих преподавателей русского языка для нерусских школ¹.

Как известно, оканчивающие педвузы сразу же приступают к практической деятельности. Значит ли это, что в педвузе курс «Современный русский литературный язык» должен быть только нормативным, что его можно ограничить перечислением фактов языка и указаниями на их использование в речи, что основное внимание нужно уделять вопросам орфографии, пунктуации и т. д. Разумеется, нет. В задачу курса не может входить какое-либо натаскивание студентов, составление конспектов их будущих уроков по русскому языку в том или ином классе.

Задача курса — характеристика системы русского языка, всестороннее научное объяснение его фактов. Эта задача определяется не только чисто теоретическими соображениями, но имеет практическое значение: ее разрешение поможет будущему учителю разобраться в основаниях для формулировки различных правил, поможет ему глубже осветить самые обычные явления языка, позволит свободно ориентироваться в имеющейся и выходящей в свет специальной литературе, что в свою очередь даст возможность своевременно вносить нужные поправки в школьный учебник и тем самым постоянно содействовать улучшению преподавания русского языка в школе.

Научно раскрыть и истолковать сложность и многообразие фактов современного русского литературного языка, не выходя за рамки учебного плана педвузов, можно лишь в том случае, если профилирующему курсу — курсу «Современный русский литературный язык» — будет предшествовать изложение таких дисциплин, как «Введение в языковедение», «Старославянский язык», «Историческая грамматика» и «Диалектология».

При разумном подчинении указанных дисциплин профилирующему курсу, естественно, из программы последнего должно быть исключено раскрытие и освещение общелингвистических понятий 1) о разделах науки о языке; 2) о звуке речи, основные сведения из акустики, об артикуляции, о классификации звуков речи, о фонетических процессах, о фонеме, об орфоэпии и орфографии, о фонетической транскрипции; 3) о слове и его значении, о словарном составе и его стилистическом расслоении, о лексикографии; 4) о грамматическом строе языка, о грамматических категориях и формах, о морфологических и синтаксических единицах и некоторой части фактического материала (основные фонетико-морфологические признаки старославянских слов; сохранившиеся в современном русском языке реликтовые формы; особенности диалектальной лексики и т. п.).

Названные дисциплины, по нашему мнению, должны читаться на первом курсе, «Современный русский литературный язык» — на втором и третьем. При обратном порядке или даже при параллельном чтении этих дисциплин ведущему профилирующий курс не представляется возможным опережать ни на общелингвистические понятия, ни на конкретные факты из истории языка. Следовательно, ему постоянно придется затрачивать значительное время на подготовку слушателей к восприятию того, что составляет собственно материал его предмета. И, как это часто бывает, за недостатком времени «собственно материал» не раскрывается во всей своей полноте и сложности, растворяется в массе разъяснений языковедческих понятий и терминов, становится иногда лишь иллюстрацией последних.

Сказанное позволяет сделать вывод: читающий курс «Современный русский литературный язык» должен оперировать многими лингвистическими понятиями и фактами как уже известными студентам.

Курс «История русского литературного языка», содержание которого необходимо привести в соответствие со всеми другими лингвистическими дисциплинами, следует сделать завершающим в системе подготовки преподавателей русского языка. Именно этот курс со всей отчетливостью должен показать процесс становления русского литературного языка и тем самым подвести студентов к еще более углубленному пониманию фактов и явлений современного русского литературного языка как формы русской национальной культуры, как языка межнационального общения народов Советского Союза, как одного из важнейших мировых языков. В этом курсе, подводящем итог лингвистическому образованию в педвузе, сообщается и о последних достижениях науки о русском литературном языке.

¹ Оканчивающих факультеты русского языка и литературы в педвузах национальных республик нельзя рассматривать как кадры только той или иной национальной республики. Во всяком случае и впрямь курс «Современный русский литературный язык» на специальных факультетах во всех педвузах страны должен строиться по единой программе.

*

Опыт работы в педвузе позволяет сделать некоторые замечания о построении программы по курсу «Современный русский литературный язык».

Первый пункт раздела «Введение», разумеется, обязывает читающего курс раскрыть понятие современного русского литературного языка как объекта изучения. По моему мнению, удовлетворительно в научном отношении раскрыть это понятие весьма затруднительно без освещения процесса образования русского литературного языка (хотя бы весьма кратко). Представляется целесообразным, сохранив основные положения, имеющиеся в программе 1954 г., составленной кафедрами русского языка московских педагогических институтов, закончить раздел «Введение» пунктом «Общая характеристика выдающихся русских грамматистов». Это не только даст возможность ведущему курс назвать и кратко охарактеризовать рекомендуемую для критического использования литературу, но и позволит в процессе дальнейшего изложения предмета более свободно ссылаться на того или иного ученого. Разумеется, что детальное изложение грамматических систем, рассмотрение основных трудов по русскому языку может быть предметом только специального курса. Значение такого курса трудно переоценить: систематическое изложение истории русской грамматической мысли помогает лучше понять последние достижения в области разработки проблем современной грамматики.

За разделом «Введение» должен следовать раздел «Фонетика», затем «Лексика», «Морфология», «Синтаксис». Именно при таком порядке изложения возможно наметить последовательные переходы от наблюдения над частными фактами языка к установлению общих правил грамматического строя.

При изучении фонетики современного русского языка фонологическая система последнего должна быть вскрыта и подвергнута основательному анализу: для преподавателя русского языка в нерусской школе исключительно важно постоянно осознавать явления фонематического и нефонематического характера, чтобы более лаконичными и вполне квалифицированными советами и замечаниями совершенствовать звучащую речь учащихся. Преподаватель русского языка должен знать, на чем основаны различные правила написания слов и постановки знаков препинания, поэтому вопросы орфографии и пунктуации подлежат обязательному изучению с теоретической точки зрения.

Программа по курсу «Современный русский литературный язык» должна обязательно сопровождаться подробной объяснительной запиской, в которой даются в свете последних достижений науки о языке принципиальные установки по вопросам изложения разделов и отдельных пунктов программы.

С. М. Бурдин

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Г. Д. Санжеев. Сравнительная грамматика монгольских языков. Т. I. — М., Изд-во АН СССР, 1953. 240 стр. (Ин-т востоковедения АН СССР.)

Автор взял на себя большую и нелегкую задачу, когда он принялся составлять сравнительную грамматику монгольских языков. Он и сам ясно видит трудности, которые связаны с выполнением этой задачи. К ним он относит, во-первых, серьезные недостатки сравнительно-исторического метода, и, во-вторых, тот факт, что монгольские языки и диалекты, в том числе и старописьменный язык, изучены недостаточно, а о некоторых из них мы вообще ничего не знаем. Эти трудности, наряду с которыми можно было бы назвать еще и некоторые другие, были хорошо известны и до сих пор. Заслуги автора тем более ценны, что он не побоялся трудностей и принял на себя то, чего боялись другие: неизбежные ошибки, сопряженные с неблагодарной, но чрезвычайно важной работой пионера в данной области науки. Поэтому глубоко несправедливым оказался бы тот, кто стал бы искать в книге прежде всего ошибки или исключительно ошибки и на основании их пытался бы определить ценность «Сравнительной грамматики монгольских языков», являющейся первой работой, которая в такой широкой перспективе трактует все существенные вопросы монголистики.

Книга Г. Д. Санжеева учитывает все важнейшие достижения монголоведения, в некоторой своей части связанные как раз с его именем. Не следует при этом думать, что в данном случае речь идет о простом подытоживании сделанного прежними исследованиями. Не говоря уже о том, что выясненные ранее детали получают в книге Г. Д. Санжеева совсем новый смысл при рассмотрении их во взаимосвязи, многие вопросы в конкретной форме подняты автором впервые.

Автор, сознавая недостатки своего труда, скромно рассматривает его лишь как предварительный. Рецензент вполне соглашается с автором, также считая его работу предварительной, но по совершенно другой причине. В истории любой науки, в том числе и нашей, определения «предварительности» заслуживают только действительно хорошие работы, которые в такой мере ускоряют научные исследования своими новыми достижениями и богатством новых точек зрения, что они преждевременно устаревают. В этом смысле мы и считаем рецензируемую книгу предварительной.

Рецензируемая работа подвела итоги известному этапу монголоведных исследований, этапу, предшествующему первому синтезу. Даже в самой подробной рецензии было бы невозможно изложить все вопросы, по которым — на современном уровне наших исследований — мы полностью согласны с автором. Однако нам кажется, что не в этом заключается наша задача. Думается, что мы должны остановиться на тех новых, очередных вопросах монголистики, которые позволяет поднять рецензируемая книга.

Наши замечания разделяются на две группы: одни из них являются принципиальными, другие касаются частных вопросов.

Первый вопрос, который мы постараемся поднять, является нелегким, но нам кажется, что обойти его было бы ошибкой: как мы должны правильно применять сравнительно-исторический метод в монголистике? Конечно, общие установки, изложенные Б. А. Серебренниковым на широком материале, будут полезны и здесь¹; но большую часть наших специфических, внутренних проблем мы должны решить только сами, на основе нашего собственного материала, данных монгольских языков.

Самые большие препятствия для правильного применения сравнительно-исторического метода обнаруживаются именно в алтаистике. Сравнительно-исторический метод развился на основе исследования связей и родства индоевропейских языков. Залогом прежних успехов этого метода служило то, что в распоряжении исследователей была очень широкая сеть изучаемых языков и что по многим из этих языков имелись обширные памятники с древнейших времен до нашей эры. По сравнению с ними сеть алтайских языков так бедна, что ее почти нельзя назвать сетью: она состоит

¹ См. Б. А. Серебренников, К вопросу о недостатках сравнительно-исторического метода в языкознании, ИАН ОЛЯ, 1950, вып. 3.

вещи на трех частях. Не лучше обстоит дело с языковыми памятниками отдельных ветвей этой сети. Самые древние памятники со связными текстами относятся уже к нашей эре: тюркские — к VII—VIII вв., монгольские — к XIII в. и маньчжуро-тунгусские — к XVI—XVII вв. Несколько более древними являются отрывочные глоссы отдельных ветвей этой группы языков. Однако эти глоссы не имеют решающего научного значения, отчасти потому, что они очень малочисленны, а отчасти потому, что они не свидетельствуют о более древнем состоянии соответствующих языков по сравнению с памятниками, содержащими связанные тексты.

Не при таких условиях развивалась индоевропеистика. Вероятнее всего, при таких неблагоприятных условиях не развился бы и сам сравнительно-исторический метод, или если бы такой метод и развился, то вряд ли при его помощи в индоевропеистике достигли бы больших результатов, чем теперь в алтаистике. Родство так называемых алтайских языков является очень вероятной гипотезой, которая в настоящее время всеми нами принята, но оно все же имеет значимость только гипотезы, которая до сих пор научно еще не доказана. Положение таково, что даже после появления в свет ценной посмертной работы Г. И. Рамштеда¹ мы все еще не можем родство алтайских языков считать безупречно доказанным в соответствии с научно-обоснованными фактами, так, как доказано, например, родство финно-угорских языков или родство этих языков с самодийскими.

И все же, несмотря на изложенные обстоятельства, мы должны придерживаться применения сравнительно-исторического метода и в области алтаистики, ибо только с его помощью можно разрешить некоторые основные проблемы в данной отрасли языковедения. Можно надеяться, что в области алтаистики раньше или позже наступит улучшение и при наличии указанных выше объективных трудностей. В области изучения живых алтайских языков, несмотря на все еще имеющиеся серьезные недостатки, положение на сегодняшний день является гораздо более благоприятным, чем несколько десятилетий тому назад. Достаточно будет указать на огромный материал по живым языкам, собранный советскими исследователями; значение этого материала является особенно неопределимым в некоторых ранее совершенно неисследованных областях алтаистики, например, в части маньчжуро-тунгусских языков. Мы значительно продвинулись вперед также и в области обработки отдельных языковых памятников, на которые до сих пор не обращалось достаточного внимания. Работа, которая ведется интенсивно в данном направлении и сейчас, обещает особенно богатые результаты. А если некоторые исследования, касающиеся истории языков, увенчаются успехом, то можно будет надеяться, что нам скоро удастся уточнить принятую теперь хронологию самых древних памятников отдельных алтайских языков. Точнее говоря, это означало бы, что самые древние тексты маньчжуро-тунгусских языков относятся бы не к XVI—XVII вв., а к XII в., а памятники монгольских языков поддавались бы исследованию не с XIII в., а с X в. Конкретно речь идет о нерасшифрованных и необработанных памятниках джурчэньского и киданьского языков. С точки зрения сравнительно-лингвистических исследований решающим является не разницы в хронологии, а скорее факт, что эти языки обнаруживают более древнее состояние, чем то, которое выявляется по самым древним памятникам из числа известных до сих пор.

Однако как бы ни были важны эти исследования, от них мы едва ли можем ожидать решающего сдвига в области самого важного вопроса, в области подтверждения родства алтайских языков. Решающий сдвиг может наступить только тогда, когда нам удастся устранить одну типичную ошибку в методе исследования, о которой раньше почти не упоминали.

Кроме общезвестных трудностей применения сравнительно-исторического метода, алтаистика должна принимать во внимание еще одну большую трудность. Дело в том, что отдельные алтайские языки после своего выделения из языка-основы развивались далеко не изолированно друг от друга. Наоборот, племена и народы, носители этих языков, начиная с самых древних времен многократно вступали друг с другом в длительные и интенсивные соприкосновения. Эти соприкосновения безусловно оставляли следы как в словарном составе отдельных алтайских языков, так и в их грамматической структуре. Часть этих соприкосновений не является гипотетической: письменные, большей частью китайские, источники очень часто дают об этом подробные сведения. На основании современного состояния наших исследований видно, что мы должны прежде всего иметь в виду глубокие и повторяющиеся соприкосновения между отдельными тюркскими и монгольскими племенами, народами и языками, а также между отдельными монгольскими и маньчжуро-тунгусскими племенами, народами и языками. Мы не можем здесь подробно останавливаться на этом вопросе, но мы должны отметить, что киданьский и джурчэньский языки, недавно привлекавшие к себе внимание, имеют огромное значение в деле выяснения только что указанных связей между разными алтайскими народами и языками.

¹ G. J. Ramstedt, Einführung in die altaische Sprachwissenschaft, II — Formenlehre, Helsinki, 1952.

Не подлежит сомнению, что в своих сравнительно-исторических исследованиях в области алтаистики мы должны опираться только на тот языковой материал, который в отдельных языках может рассматриваться как непосредственное продолжение алтайского языка-основа.

В области же монгольских языков сравнительно-исторический метод мы можем применять в более благоприятных условиях, нежели в области прочих алтайских языков.

Прежде всего нет нужды доказывать родство монгольских языков: общность основного словарного фонда и грамматической структуры ясна даже без минимального доказательства. Автор рецензируемой книги правильно характеризует отношение монгольских языков друг к другу, указывая, что монгольские народы (за отдельными исключениями, например, монголов и моголов) так же хорошо понимают друг друга, как русские, белорусы и украинцы.

Сеть монгольских языков богата, и автор делит их на шесть групп: могольский (в Афганистане), кукуноро-монгольский (язык монголов, шара-уйгуров, шарайгонов и т. д.), дагурский, ойратский, бурятский и собственно монгольский. Ввиду того, что в отношении некоторых монгольских языков еще не было ясности, пишущий эти строки до сих пор не брался за классификацию монгольских языков, а ограничивался лишь их перечислением по чисто географическому расположению. Но точка зрения Г. Д. Санжеева так ясна, а доводы так убедительны, что его классификацию мы можем безусловно принять, тем более, что описание и обработка данных по тем языкам и диалектам, которые до сих пор исследованы недостаточно или о которых мы пока ничего не знаем, ни в коем случае не выйдут за рамки этой классификации.

Хотя в связи с изучением формирования отдельных монгольских языков до сих пор имеется много невыясненных проблем, вопрос о развитии их со временем распада империи чингисидов не является особенно сложным.

Что касается очередных задач монголистики, мы бы указали на необходимость исследования истории современных монгольских языков и диалектов. Такие исследования безусловно связаны с известными трудностями, хотя кое-какие отрывочные и бессистемные данные об этих языках и диалектах имеются. Известно, например, что орфография письменного-ойратского языка в части обозначения дифтонгов сохраняла такие древние явления, которые относятся к языку первой половины XVII в., — это очень правильно использовано и автором в рецензируемой книге. Что касается халкаского диалекта, то нужно было бы детально проверить, действительно ли имеются такие произведения, написанные письмом соёмбо, которые, пусть даже отрывочно, показывают особенности этого диалекта и о которых пишет Б. Ричен¹. Еще Б. Я. Владимирцов указывал на то, что во многих литературных произведениях на письменномонгольском, или классическом монгольском языке XVIII в. обнаруживаются особенности внутренне-монгольских диалектов. Естественно, исследования по исторической диалектологии имеют еще много других средств и путей. Было бы ошибкой недооценивать результаты подобных исследований только потому, что при помощи бесспорно более старых письменных памятников мы можем узнать гораздо больше.

Мы должны принимать во внимание проблему диалектов даже относительно самых древних памятников, тем более, что данная проблема очень остро стоит также в связи с введением самой старомонгольской письменности.

Как в области изучения вопроса о введении старомонгольской письменности, так и в области исследования старописьменных монгольских языков — все это тесно связано друг с другом — мы и в настоящее время не пошли дальше работ Б. Я. Владимирцова, пионера и в данной отрасли монголистики. Достигнутые результаты, как указывает автор, позволяют сделать следующий вывод: монголы получили в готовом виде не только письменность, но и письменный язык; непосредственной основы этого письменного языка мы не знаем. Основная трудность состоит в том, что старописьменный язык показывает такие языковые или, вернее, диалектные особенности, которые невозможно объяснить при помощи живых монгольских языков или диалектов. (Вот где мы особенно ощущаем недостатки в исследованиях по исторической диалектологии.) Неразрешимые задачи ставят перед нами преимущественно та группа диалектных особенностей, которая представлена примерами типа *«Мин человек»*, *«Кеме говорить»* и т. д.

Из-за этих основных трудностей происхождение старописьменного монгольского языка принято искать в чужом источнике: до сих пор исследователи думали прежде всего о найманах и керейтах. Автор хорошо понимает, что это просто предположение, поскольку языки или диалекты найманов и керейтов не оставили никаких письменных памятников. В пользу найманского языка или диалекта можно было бы привести то, что, согласно преданию, Чингис-хан принял к себе на службу найманского «кандлера», по имени Та-та Тонга, у которого была обнаружена печать с какой-то надписью. Но

¹ См. R i n t s c h e n, Zwei unbekannte mongolische Alphabete aus dem XVII. Jahrhundert, «Acta Orientalia», t. II. fasc. 1, Budapest, 1952.

дело обстоит далеко не так просто, ибо ведь мы хорошо знаем, что найманы во времена Чингис-хана говорили еще и на своем прежнем, тюркском, языке; очень интересно в этой связи отметить, что в «Сокровенном сказании» монголов найманские топонимические названия и личные имена большей частью тюркского происхождения. Если мы все же предположили бы, что Та-та Тонга был передатчиком старописьменного языка от найманов монголам, то тут же возник бы вопрос, откуда и каким образом этот язык попал к найманам. Предположение о керейтском языке или диалекте также имеет основания, и даже несколько большие, чем предположение о языке или диалекте найманов. Правда, эта гипотеза не имеет такого «материального» основания, как «канцлер» найманского происхождения. Но является фактом, что Чингис-хан при организации и внутреннем устройстве своей империи часто брал примеры у керейтов, о чем в нескольких случаях свидетельствует и текст «Сокровенного сказания». Исследования последнего времени дают возможность высказать еще одну гипотезу: нельзя ли предположить, что старописьменный монгольский язык происходит от кыдаьского. Об основаниях такой гипотезы мы скажем ниже; очевидно, что положительное или отрицательное разрешение этого вопроса находится в пределах наших возможностей.

Следует остановиться еще на одном методологическом вопросе сравнительно-исторической монголистики, который на первый взгляд показался бы очень простым. Но прежние опыты монголистики показывают, что он вовсе не так прост и что его следует уяснить.

Современные монгольские языки и диалекты являются продуктом длительного исторического развития, и их отношения друг к другу мы можем понять только в том случае, если мы обратимся к тому историческому состоянию, из которого развились эти языки и диалекты. В чем проявляется это состояние? В «старом» монгольском языке? Вот в чем основной вопрос истории монгольских языков и диалектов. Монгольский язык существенно отличается от своих предполагаемых родственников среди прочих алтайских языков в отношении как основного словарного фонда, так и грамматического строя. Если мы допускаем, что когда-то эти родственные языки составляли общность — такое предположение допускается всеми алтаистами, — то этих различий в лексике и грамматике не было, т. е. они, эти различия, до распада алтайской языковой общности проявлялись в виде диалектных различий. Нынешние существенные различия между тюркскими и монгольскими языками, естественно, возникли не только в результате глубоких исторических изменений в развитии тюркских языков. Это значит, что огромны и те изменения, которые имели место в самом древнем монгольском языке, выделившемся из алтайского языка-основы. Эти изменения отграничивают состояние данного языка от состояния того монгольского языка XIII в., который мы зовем по самым древним памятникам. Эти огромные изменения произошли не сразу, не в результате взрыва, а путем очень длительного постепенного развития.

Сколько времени могло длиться развитие монгольского языка до XIII в.? Конечно, этого мы не можем установить даже приблизительно. Но если мы учтем, что тюркский язык VII—VIII вв. относительно близок к современным тюркским языкам и в то же самое время очень далек от монгольского языка XIII в., то мы должны категорически отвергнуть предположение некоторых тюркологов и монголистов о том, что за один-два века до нашей эры из алтайского языка-основы еще не выделились ни тюркские, ни монгольские языки.

Следовательно, не подлежит сомнению, что отрезок жизни и развития монгольского языка с момента его обособления от прочих родственных языков до столетий, предшествующих XIII в., охватывает огромный период. Что мы знаем о развитии монгольского языка в течение этого периода? В настоящий момент очень мало. Но о двух этапах этого развития изучаемого языка мы все же можем сделать некоторые заключения и как раз при помощи сравнительно-исторического метода.

Первым этапом является самый древний период жизни монгольского языка. Этот предполагаемый древний период в истории монгольского языка может быть назван, скажем, протомонгольским, — термин здесь имеет лишь относительное, ориентировочное значение и спорить о нем не имеет смысла, ибо можно было бы вместо него взять и другой, более подходящий. Другим, вторым периодом развития монгольского языка будет тот, который непосредственно предшествовал периоду, засвидетельствованному уже в наших древнейших письменных памятниках XIII в. Этот период мы назовем древнемонгольским, и в этом случае старописьменный язык, естественно, будет относиться к среднемонгольскому периоду.

К протомонгольскому языку мы можем в какой-то мере приблизиться лишь используя данные родственных языков, тюркских и маньчжуро-тугусских, а также при помощи выводов, сделанных на основании данных древнемонгольского языка. Но если принять во внимание нынешнее состояние алтайского сравнительно-исторического языкознания и учесть, что в области систематического исследования древнемонгольского языка мы далеко еще не достигли нужных результатов, то не удивительно, что о протомонгольском языке у нас пока имеются лишь очень смутные догадки. Следовательно, пока не может быть и речи о том, чтобы об этом языке иметь сколько-нибудь ясное представление.

Относительно древнемонгольского языка положение, по крайней мере в принципе, **значительно лучше**, хотя некоторые трудности имеются и здесь.

Прежде всего необходимо отметить, что теоретически восстановленные формы, так называемые формы под звездочкой, выведенные лишь с грубым приближением к действительности, не всегда могут отражать действительные процессы в развитии языка. Но если мы всегда будем это учитывать и не будем смотреть на формы под звездочкой как на догмы, и если мы в особенности не будем упускать из виду того, что язык никогда нельзя отрывать от времени и пространства, от истории народа-носителя и метафизически представлять его находящимся в состоянии покоя, то мы тогда в своих исследованиях вряд ли сойдем с правильного пути.

Самые древние известные нам памятники монгольского языка относятся к XIII в. Эту дату мы не должны понимать механически. Бесспорно, что состояние монгольского языка, зафиксированное в этих памятниках, не связано только с XIII в. Дело в том, что это же состояние монгольского языка, точнее диалекта памятников, могло иметь место за 100—200 лет до XIII в.

Имеется еще один очень важный вопрос, которому в монгольском сравнительно-историческом языкознании должно быть уделено особое внимание. Исследование можно вести, исходя из двух точек зрения. Либо мы пытаемся на основании материала современного или известного нам древнего языка реконструировать прежнее состояние языка, из которого развилось его современное состояние (асцендентный метод), либо из более древнего состояния языка, которое мы представляем себе или практически знаем, пытаемся объяснить современное состояние данного языка (десцендентный метод). Общеизвестно, что последний метод без существенного вмешательства может быть применен только изредка, — он применялся в романском языкознании, в котором знакомство с латинским или вульгарным латинским языком делает такой подход не только возможным, но даже обязательным для языковеда. Однако едва ли было бы правильным эти два метода резко противопоставлять друг другу. По всей вероятности, к этим двум методам нужно подходить критически, диалектически их соединяя. Такой правильный путь был избран также и автором рецензируемой книги.

Построение и структура этой книги ясны. Стиль изложения (насколько об этом может судить иностранец) легкий; во всяком случае книга читается с интересом от начала до конца; увлекают даже те ее места, которые вызывают возражения. Ввиду многочисленных достоинств этой книги мы рекомендуем ее в университете в качестве пособия для студентов.

По нашему мнению, книгу следовало бы дополнить главой или разделом, кратко знакомящим читателя с языками, которые предположительно являются родственными с монгольскими, с нынешним состоянием алтайстики, как это было сделано Б. Я. Владимирцовым в его классической работе¹. Это тем более необходимо, что автор в связи со многими проблемами ссылается на другие алтайские языки, а иногда посвящает вопросам алтайстики небольшие самостоятельные главы. С другой стороны, мы считаем правильным, что автор не рассматривает алтайские языки более подробно, — это едва ли возможно при нынешнем состоянии алтайстики. Такие, более подробные алтайские исследования нужны, но они не могли бы уложиться в рамки рецензируемой книги.

Мы также с удовольствием прочли бы — в следующем издании — немного более подробную главу о прежнем состоянии монгольских языков.

Возникновение монгольского языка, естественно, нельзя связывать с выступлением на историческую арену Чингис-хана. На такой точке зрения стоит и сам автор, поскольку отдельные явления гипотетически вводят к VII в. н. э. (см., например, таблицы на стр. 94 и 100). Но этот вопрос имеет не только теоретическое обоснование.

Во всяком случае стоит указать на то, что, по мнению отдельных исследователей на монгольском языке говорили жуань-жуане, часть паннонских аваров и эфталиты. Это пока что предположения, так как языковой материал, который позволял бы сделать более определенные выводы, очень невелик. Но эти предположения заслуживают внимания по двум причинам. Вопрос о языковой принадлежности этих древних, вымерших народов может быть решен только лингвистами. С другой стороны, теоретически является ясным, что уже до эпохи Чингис-хана на монгольском языке говорили и такие племена, которые и не носили названия монголов.

Практически имеет значение и следующее: на основании письменных памятников можно доказать, что к югу от Байкала, к западу от Хингана и на востоке вплоть до Ляодуна в первые века н. э. обитал целый ряд племен, говоривших на монгольском языке. Как известно, народ дун-ху, который раньше ошибочно отождествлялся с тунгусами, после поражения в войне с сюн-ну разделился на две части: у-хуань и сянь-би. О последних китайские источники с 45 г. н. э. приводят довольно подробные

¹ См. Б. Я. Владимирцов, Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия. Л., 1929, стр. 44 и сл.

сведения. Из них выделались, с одной стороны, племена си¹ и кидане, а с другой, несколько позднее ветвь а-жа, которую китайцы называли ту-юй-хунь, а тибетцы — фа-ян.

Эти а-жа из района реки Ляо примерно около 250 г. н. э. переселились в северную часть Гань-су, а позднее, в IV в., в район озера Кукунор. Здесь они осели и образовали самостоятельное государство, которое было уничтожено тибетцами в 663 г. О киданях китайские историки упоминают с 406 г., а позднее приводят о них все более подробные данные. Кидане в X в. заняли Северный Китай, где с 907 г. до 1125 г. царствует киданьская династия Ляо. Известно также, что племена сянь-би имели и северную группу, которая обитала к югу от Байкала, на северо-востоке нынешней Монгольской Народной Республики и на соседней, пограничной территории северо-восточного Китая. Союз этих племен в китайских источниках, начиная со времен Танской династии (VII—X вв.), приводится под названием ши-вэй.

Что касается лингвистической стороны, то самые известные сяньбийские glossы недавно были собраны китайскими учеными². К сожалению, эти glossы до сих пор лингвистически не обработаны, хотя их значение для монголистики не подлежит никакому сомнению. Не лучше обстоит дело и в отношении обработки имеющихся памятников киданьского языка. Количество киданьских gloss, которые можно найти в китайских источниках, свыше сотни. Большинство из них можно расшифровать без особого труда, и они свидетельствуют о том, что киданьский язык безусловно относится к монгольским языкам. Можно установить, что этот язык по сравнению с монгольским языком XIII—XIV вв. обнаруживает более древние черты (вместо *h* в начале слова еще имеется *h*). Кроме того, он представляет собою диалект, имеющий некоторые существенные особенности и характеризующийся сильной палатализацией. Вот несколько киданьских слов: *джау* «сто», *тау* «пять», *тоуэ* «ныль», *наир* «солнце», *сэйр* «луна» и т. д. (соответственно письменно-монгольские *джабуи*, *табуи*, *тоусун*, *наран* и *сара*).

Кидане имели письменность и даже две. Одну из них китайцы называли «малыми иероглифами»; этих «малых иероглифов» было немного, и писался он слитно. Предположительно это была уйгурская письменность; памятники с этими письменами не сохранились. Другая киданьская письменность — китайского происхождения — называлась «большими иероглифами» и состояла приблизительно из 3000 знаков. До последнего времени не было обнаружено больших памятников и с этими письменами. Однако в 1922 г. из древних могил киданьских царей были извлечены две пространные надписи с переводом на китайский язык. За этой первой находкой последовала другая, и в настоящее время мы уже имеем четыре большие надписи, кроме того — несколько маленьких надписей³. К сожалению, эти письмена пока еще не прочтены, а поэтому надписи остаются немymi. Но если кто-либо прочтет их, то это будет большим событием в монголистике.

Где находились собственно монголы в киданьскую эпоху? На этот вопрос мы в настоящее время можем ответить без затруднения: собственно монголы были среди ши-вэй. Китайские источники времен Танской династии перечисляют племена ши-вэй, одно из которых называется мэн-у или мэн-ва⁴. Уже многие указывали на то, что это название, конечно, является идентичным с названием «монгол». Если обратить внимание, например, на топографию самых древних событий, описываемых в «Сокровенном сказании», или на то, где протекала молодость Темучина, будущего Чингис-хана, а также и на жизнь монгольских племен его, Темучина, времени, то видно, что все это происходило в основном все еще на древней территории ши-вэй.

При таких условиях, вероятно, станет понятным, почему рецензент не соглашается с утверждением автора о том, что монгольский язык в XII—XIV вв. был единым. И это не потому, что он не может ответить на основной вопрос, который неизбежно вытекает из такого утверждения: на чем основан тот вовсе не просто объяснимый факт, будто монгольский язык в указанное время был единым. На этот вопрос может быть

¹ Упомянутый в китайских источниках народ си уже В. Томсен гипотетически был приведен в связь с т(а)т(а)бы (см. V. Thomsen, *Inscriptions de l'Orkhon*, Helsingfors, 1896, стр. 141). Эта гипотеза теперь полностью подтверждается недавней покла тибетской рукописью, относящейся к X в. В этой рукописи указывается, что племя, называемое тибетцами хе (he), китайцами именуется хе-це (he-ce), а народом дру-гу (тюрками) — ад-пй. Последнее название, может быть, читается как татбы; к сожалению, наличие или отсутствие дефиса в тибетских памятниках имеет некоторое значение, в особенности в иноязычных словах. Значит, предпологаемое правильное чтение этого названия — татбы, но не исключено и чтение в виде татбае.

² См. Фан Чжун-ю, Сянь-би юй-янь као, *Yenching journal of chinese studies*, 1930, стр. 1429.

³ См. «Ляо-лин ши-кэ цзи-лу», Фэн-тянь, 1932.

⁴ См.: «Цзо Тан-шу» 199в, 10а; «Синь Тан-шу», 219, 7а. Последнее место содержит иероглиф, который читается «ва». Однако из издания Бэ-на, страницы которого мы приводим, видно, что это только описка, и в конце концов оба источника содержат название, которое читается «мэн-у».

дано только два ответа: или потому, что монгольский язык уже был единым еще до XII в., или потому, что этот язык стал единым в эпоху Чингис-хана, хотя он не был таковым раньше.

Даже в принципе трудно представить себе, что громадное изменение, происшедшее в процессе развития от протомонгольского языка до среднемонгольского, монгольскими племенами и народами осуществилось единодушно, без всяких разностей фаз развития. Ранние этапы этого развития на этот раз роли не играют. Существенным является только вопрос о том, можно ли предположить наличие единства в эпоху, предшествующую XII в. Теоретически и в данном случае трудно представить, что в то время монгольский язык был единым. Ведь на основании источников ясно видно, что мы должны считаться с наличием по меньшей мере трех центров монгольской речи: ши-вай, кидане и ту-юй-хунь, или а-жа. Однако факты свидетельствуют о том, что едва ли можно говорить о языковом единстве даже в пределах этих отдельных центров. Так, на основании доступных нам киданских gloss мы должны сделать вывод, что трудно иметь в виду наличие диалектов в самом киданском языке, расхождения между которыми нельзя считать незначительными.

В то же время нельзя сомневаться в том, что завоевания Чингис-хана и основание его империи вызвали в языковом отношении определенную интеграцию. Однако больше всего этой интеграцией были затронуты диалекты центральных областей, что же касается окраин, то там подобная интеграция происходила значительно слабее. Не случайно персидский историк Рашид-ад-дин приводит примеры, иллюстрирующие, в какой мере речь ойратов отличается от речи прочих монголов. Трудно также представить, чтобы бурятский язык, равным образом распространенный на окраине Монгольской империи, мог получить свою языковую специфику лишь после XV в. Можно было бы перечислять еще много подобных обстоятельств, препятствующих принятию положения о единстве монгольского языка в эпоху XII—XIV вв., но их подробное рассмотрение расширило бы рамки настоящей рецензии.

Нельзя возражать автору, если он и впредь будет придерживаться своей точки зрения (это его право, если приведенные доводы его не убедили), но только в форме гипотезы. Будущие исследования безусловно решат этот вопрос окончательно. Однако было бы нежелательным считать точку зрения, изложенную в рецензируемой книге, единственно правильной или бессорной, ибо в таком случае она скорее тормозила бы будущие исследования, а не продвигала бы их вперед.

Мы в настоящее время переживаем такой период монголистики, который сильно напоминает нам эпоху тюркологии на рубеже XIX—XX вв., когда были расшифрованы орхонские и енисейские надписи и найдены уйгурские и другие тексты разных размеров, иногда очень больших, в которых обнаружались поразительные факты. Начиная с последних десятилетий до сегодняшнего дня в огромном количестве исследуются все новые памятники значительных размеров, которые уже коренным образом изменили наши прежние взгляды на монгольский язык XIII—XIV вв. Ныне получают большой размах исследования, связанные с огромными трудностями и нацеленные на то, чтобы пролить свет на монгольский язык до XII в. Нам кажется, что на современном этапе нашей науки мы должны быть особенно осторожными в формулировке суждений обобщающего характера. Тем не менее в заключение мы позволим себе иллюстрировать на нескольких примерах те выводы, которые можно ожидать в области сравнительной монголистики из более нынешних исследований.

Уже давно известно, что монгольские *чи* и *джи* происходят к **mi* и **di*. По мнению автора рецензируемой книги, исходное положение существовало еще в VII—X вв. (стр. 94, 100). Возьмем пример. Китайский источник, который был закончен составлением в 813—814 гг., приводит название одной горы, которое, по мнению китайского автора, на языке народа ту-юй-хунь¹ обозначает «тридцать»: *то-чжэн*; это слово на основании китайского произношения того времени фонетически соответствует иноязычному *буцин* или *бурцин*. Слово это — монгольское, но трудно сказать, содержало оно или нет в своем составе звук *p*. Однако бесспорно то, что в этом слове, которое относится по меньшей мере к концу VII в., вместо **mi* мы имеем *чи*. Следует ли на это, что хронология **ti* > *чи*, установленная автором, является ошибочной? Во всяком случае, из этого следует только то, что в VIII в. существовал такой монгольский язык (или диалект), в котором этот сдвиг уже совершился.

Далее. Начальный слог *си-* связан с двумя проблемами: 1) В какое время начали в положении перед *i* произносить *ш* вместо *с*? 2) Когда наметился перелом гласного *i* в первом слове? В связи с этим мы бы привели два примера из киданского языка. По китайской glossе в киданском языке было слово *шавва* или *шавва* «орел» (письменно-монгольское *сiбабун* «птица»), или там же *шавваджи* или *шавваджи* (письменно-монгольское *сiбабунчи* «птицелов»). Стало быть, этот пример свидетельствует о наличии пе-

¹ О связях киданского языка и языка ту-юй-хунь см. L. Nam b i s, Note sur les *Tuyuyun, «Journal asiatique», t. CCXXXVI, fasc. 2, 1948. О glossе ту-юй-хунь см. P. Pelliot, Neuf notes sur des questions d'Asie Centrale, «T'oung Pao», vol. XXVI, № 4—5, 1929, стр. 250—252 (VIII — Un mot mongol sous les T'ang).

релома гласного *i* в киданьском языке. Но второй пример, также обнаруженный в китайской глоссе, свидетельствует, наоборот, об отсутствии такого перелома: *шйбак* «попынь» (письменно-монгольское *сйбаб*). Как мы видим, между двумя глоссами имеются диалектные расхождения.

Материалы монгольского языка XIII—XIV вв., которые были открыты позднее, дают возможность для еще более многообещающих выводов. Из них автор уже использовал многое, хотя это было сопряжено с немалыми затруднениями, так как большая часть найденного материала еще не прошла в нужной мере предварительную филологическую обработку, являющуюся предпосылкой для его использования в языковедных целях.

Из надежных форм личных местоимений 3-го лица автор рассматривает следующие (стр. 152): ед. число род. пад. *ину*, дат.-местн. пад. *имадур*, вив. пад. *имаји*; мн. число род. пад. *ану*, вив. пад. *ани*. По новейшим материалам мы можем еще добавить следующие: ед. число дат.-местн. пад. *имада* («Сокровенное сказание»), оруд. пад. *има'ари* («Сокровенное сказание»), исход. пад. *имадача* (китайско-монгольская надпись 1338 г.), совмест. пад. *имаау-а* (китайско-монгольская надпись 1335 г.); мн. число дат.-местн. пад. *андур* («Сокровенное сказание») и *ана* (документ 1291 г.).

В связи с показателем множественного числа *-н* очень интересно замечание автора о наличии этого показателя в бурятском языке (стр. 133). Можно добавить, что этот показатель множественного числа очень богато представлен в памятниках монгольского языка XIII—XIV вв., как, например, в «Сокровенном сказании», а также в других монгольских текстах в китайской транскрипции и текстах квадратной письменности; можно найти этот показатель и во многих памятниках старописменного монгольского языка. Материал является почти необозримым, и в данном случае вместо подробного рассмотрения этого материала достаточно указать на недавно появившееся предварительное исследование по этому вопросу, содержащее целый ряд значительных наблюдений¹.

Мы бы подчеркнули, что *-н*-овый показатель множественного числа присоединяется не только к именам деятелей на *-ч i*, но к целому ряду других типов имен. В связи с *-н*-овым показателем множественного числа мы часто находим в формах единственного числа дифтонг с конечным неслоговым *i*. Бросается в глаза, что это *i* ~ *н* действительно отражает соответствие единственное число ~ множественное число: *нокай* «собака» ~ мн. число *нокан*; *маузи* «плохой» ~ мн. число *машун*; *кед'и* «несколько» ~ мн. число *кед'ин*; *яб'юкү* «идущий» ~ мн. число *яб'кун*; *какану'ан* «ханский» ~ мн. число *какану'ан* и т. д. Многочисленные примеры ясно показывают, что суффиксы *-тан* и *-тен*, представляющие форму множественного числа, следует непосредственно относить не к основе на *-ту* и *-тү* (конечно, они связаны и с ней), а к основе на *-тай* и *-тэй*.

Автор наиболее часто употребительные послелоги основательно рассматривает на стр. 204 и сл. В связи со словами *мет'* и *шингэ* стоит привести и *сими*, найденное в старописменном монгольском языке и обозначающее «как, подобно, вроде». Приводим это слово не только потому, что оно семантически примыкает к *мет'* и *шингэ*, но и потому, что оно связано с последним и этимологически. Слово это встречается несколько раз в монгольском переводе *Bodhicaryāvatara* (*yjabsan simj*, V, 56; *дарубсан sim*, V, 12a; *кисен sim*, VI, 122a), в текстах *Subhāṣitaratnaṅgī* (*кйудубсан simj*, IX, 8a: 424d), в китайско-монгольской надписи 1338 г. (*кек'дегаргесен sim*), в монгольском переводе Сяо-цзяна (*ојір-а sim*), *гечк'к'и sim*), а также и в «Сокровенном сказании» (*'сэи шит'*, § 164).

В заключение отметим, что выводы автора опираются на богатый материал; это позволяет нам считать, что рецензируемая книга является значительным событием в монголистике. Мы с большим интересом ждем ее второй, завершающий том.

Л. Ливети

Перепела К. Е. Майтинская

А. И. Ефимов. История русского литературного языка. Курс лекций. —[М.], Изд-во Моск. ун-та, 1954. 432 стр.

Курс истории русского литературного языка, занимающий видное место в кругу лингвистических дисциплин, наименее обеспечен учебными пособиями. Поэтому выход курса лекций по этому предмету не может не быть воспринят как важное и отрадное явление.

Следует, однако, поставить вопрос, насколько восполняет книга А. И. Ефимова этот осязательный пробел, в какой степени она удовлетворяет настоятельной потребности в учебном пособии по истории русского литературного языка.

¹ См. E. H a e n i s c h, Grammatiche Besonderheiten in der Sprache des Manghol nica tobca'an, Helsinki, 1950, особенно стр. 4—13.

Разумеется, было бы излишним ожидать, при нынешнем состоянии разработки этого раздела науки о русском языке, полноценного учебника, который с одинаковой глубиной и обстоятельностью представил бы русский литературный язык на всех этапах его исторического развития, во всем его стилистическом разнообразии. Удовлетворяющим своему назначению в настоящее время может считаться и такое учебное пособие, в котором с методологически верных позиций было бы представлено, пусть в самом общем виде, состояние русского литературного языка — его лексического состава и грамматического строя — на разных этапах его развития применительно к ведущим, основным для данного периода его разновидностям (стилям), дана общая картина развития и становления норм современного литературного языка.

Первая лекция курса А. И. Ефимова посвящена рассмотрению специфики литературного языка, проблеме отношения литературного языка к общенародному языку (а также к диалектам, жаргону, просторечию), вопросу о разновидностях литературного языка, о понятии нормы, об отражении в стилях литературного языка классовых интересов и т. д. Однако, поскольку объектом рецензируемой книги является и ст о р я русского литературного языка, то очевидно, что перечисленные выше и другие проблемы должны были быть непременно рассматриваться в историческом разрезе. Ведь не только конкретные языковые нормы, состав стилей языка и их взаимоотношения, но и сами эти категории — литературный язык, норма, стиль языка и др. — исторически изменчивы, не равнозначны в разные исторические эпохи. Этот факт не нашел достаточного отражения в книге А. И. Ефимова, вследствие чего многие характеристики и определения, предложенные в первой лекции курса, выглядят внеисторическими и не способствуют пониманию процессов развития русского литературного языка.

Уже само определение литературного языка, как языка «обработанного и творчески обогащенного мастерами слова» (стр. 3 и др.) — определение, возникшее под влиянием известной формулы А. М. Горького, без дальнейшего разъяснения и уточнения не может считаться безусловным и пригодным для всех времен и эпох. Внеисторически звучит и утверждение о том, что «литературный язык — это сложная система стилей», как и само перечисление этих стилей — «художественно-беллетристических, общественно-публицистических, научных, производственно-технических, документально-деловых и т. п.» (стр. 6); см. далее положение о том, что «ведущие стили литературного языка, такие, как стили художественно-беллетристические, общественно-публицистические и др., отличаются общепонятностью и общедоступностью» (стр. 9), что «литературная норма должна быть общенародной, современной» (стр. 14) и т. д. Очевидно, что качества, присущие национальному литературному языку, здесь непропорционально распространены на другие эпохи. В таком же духе решаются в первой лекции и другие вопросы, например, выделение в литературном языке двух его разновидностей — письменно-книжной и устно-разговорной (стр. 10), хотя, как известно, образование устно-разговорной разновидности литературного языка, складывание его норм — явление сравнительно позднее. В связи с этим находится и понимание просторечия как нелитературной речи, следовательно, противопоставленного не только книжной, но и устно-разговорной разновидности литературного языка. Не ко всем периодам в развитии литературного языка относятся также утверждение об общности грамматического строя для всех стилей литературного языка; так, церковно-книжный и деловой стили древнерусского литературного языка, разумеется, отличались друг от друга не только по словарному составу, но и по грамматическим нормам.

Такое лишенное историзма рассмотрение основных понятий и категорий, связанных с литературным языком, не могло, разумеется, не сказаться отрицательно и на изложении самого материала курса.

При дальнейшем рассмотрении материала рецензируемой книги целесообразно выделить разделы, посвященные древнерусскому литературному языку (лекция III—V), поскольку мы сталкиваемся здесь с особыми, специфическими проблемами.

Не может удовлетворить читателя освещение вопроса о происхождении древнерусского литературного языка (лекция III). Эта проблема изложена настолько противоречиво, что невозможно составить даже приблизительного представления о точке зрения автора. Сначала А. И. Ефимов сочувственно цитирует слова акад. С. П. Обнорского о незначительной доле церковнославянского воздействия на древнерусский литературный язык, о том, что «сравнительно немногие слоги их (славянизмов. — В. Л.) прочно вошли в обиход нашего литературного языка» (стр. 69). Вместе с тем автор не менее сочувственно излагает положение акад. В. В. Виноградова о «тесной связи древнерусского литературного языка с языком старославянским», как «международным языком славянской письменности и славянской цивилизации» (стр. 73—74), говорит о том, что «в церковно-литературных жанрах письменности безусловный перевес имели церковнославянизмы» (стр. 74). Наконец, завершая лекцию, А. И. Ефимов солидаризуется со словами А. М. Селищева, который говорил об э л е м е н т а х русского языка, проинвазивших «в язык рукописей, выполнявшихся русскими писцами» (стр. 75),

отчетливо противопоставляя это свое положение точке зрения С. П. Обворского. Создается впечатление, что автору важно было, оставаясь на почве теории С. П. Обворского, избежать в то же время и упрека в недооценке роли старославянского языка. А. И. Ефимову удалось сделать это, но лишь ценою отказа от какой-либо последовательно проведенной точки зрения, при помощи избранного им в данном случае метода — подмены собственного изложения подбором цитат из различных источников¹.

Содержание глав, посвященных древнерусскому литературному языку киевского и московского периодов, составляет преимущественно анализ системы стилей литературного языка соответствующего времени. Это вполне закономерно. Однако принципы выделения стилей древнерусского литературного языка и способ их описания представляются неверными.

При описании системы стилей литературного языка любого периода необходимо, чтобы исследователь определил те группы письменных памятников, язык которых отражает литературный язык, отделив их от тех, которые находятся за его пределами, так как, разумеется, не всякий написанный текст может считаться памятником литературного языка; далее, выделение стилей литературного языка предполагает характеристику языковых особенностей, языковых примет каждого такого стиля, без чего само выделение стиля теряет всякий смысл. К сожалению, оба эти требования не всегда выполняются в книге А. И. Ефимова. Так, в число стилей литературного языка древнейшего периода автор помещает «эпистолярный стиль» (или даже «эпистолярные стили»), имея в виду новгородские берестяные грамоты, хотя совершенно очевидно, что частная переписка древних новгородцев не может рассматриваться как явление литературного языка, будучи лишь отражением, записью разговорно-бытовой речи. Между тем автор считает возможным рассматривать лексику писем как такой материал, который «красноречиво свидетельствует о том, что основа языка древнейшей письменности (разрядка моя. — В. Л.) была русская» (стр. 94). С другой стороны, столь же неправомерно рассматривать как факт русского литературного языка язык богослужебных книг — евангелия, псалтири и др. Это, разумеется, памятники старославянского языка, а не «литургического стиля» русского литературного языка, как утверждает А. И. Ефимов (стр. 77, 94—95).

Стиль языка А. И. Ефимов отождествляет с жанром письменности, независимо от того, обладает ли этот связанный с определенным жанром стиль собственно языковыми приметами или он лишен таких примет. Естественно, что при таком понимании стилей языка само выделение их может покояться на самых различных, нередко случайных основаниях. Так, отвлеченными качествами «стиля литературно-художественного повествования» объявляются «образно-метафорическая насыщенность слог и выразительный, переносно-фигуральные значения слов, богатая развитая система средств художественной образительности (яркие сравнения, образные эпитеты и т. п.)» (стр. 83). «Летописно-хроникальный стиль», «которым пользовались древнерусские летописцы, отличался как общим строем речи, известной стереотинностью и повторяемостью синтаксических конструкций, самым тоном повествования (иногда, на первый взгляд, спокойно-бесстрастным), так и специфической фразеологией и лексикой» (стр. 88). Но можно ли признать за «специфическую фразеологию и лексику» отмеченные автором выражения «въ се же лето» и «томъ же лето» или тот факт, что «летописно-хроникальный стиль отличается также обильно представленными диалогами».

«Публицистический стиль» XV—XVI вв. (Пересветов, Иван Грозный) обнаруживается, утверждает А. И. Ефимов, «в гневно-обличительном тоне повествования», в переносно-метафорическом употреблении слов, вопросах, многочисленных сравнениях и образах и т. д. Здесь же, правда, отмечается и языковая примета — употребление «слов, получивших общественно-политический смысл, во что это значит для данной эпохи, понять нельзя, во всяком случае приведенные в книге образцы такого употребления (*меда, златостна, бичити от нечистого собрана, всаити от слез и от крови роду человеческому*) ничего здесь не разъясняют (стр. 110). Таким же способом выделены и охарактеризованы «стиль челобитных» (стр. 111), «стиль официально-правительственных указов и уложений» (стр. 138), «стиль поучений» (стр. 97), «эпистолярный стиль» (стр. 94) и др.

Таким образом, выделенные А. И. Ефимовым многочисленные «стили» древнерусского литературного языка нередко покоятся на весьма шатком основании; они не охарактеризованы со стороны языка, да это, разумеется, и не могло быть сделано, поскольку большинство их и не имело реального существования как стили или разновидности языка. Понятие стиля языка подменено здесь жанром письменности. Появление в литературе произведения, не вполне укладывающегося в рамки существо-

¹ Книга вообще сверх меры насыщена цитатами, причем иногда эти цитаты заменяют авторское изложение. Какая, например, была необходимость рассказывать о содержании грамматики Смотрицкого словами С. Д. Никифорова из его пособия для студентов-заочников (стр. 131).

вавших уже литературных жанров, означает, по А. И. Ефимову, появление нового стиля. Так, создание «Домостроя» знаменует развитие «стиля правоучительно-бытовой литературы» (стр. 102), в связи с появлением особого жанра литературы — путешествий и географических описаний — формируется новая стилистическая разновидность литературного языка» (стр. 114; разрядка моя. — В. Л.) и т. д. В процессе описания всех этих, многих в большинстве своем, стилей языка они нередко сужаются еще более — до отдельного произведения литературы, причем некоторые обусловленные содержанием памятника языковые или всеязыковые его особенности или факты, свойственные литературному языку вообще, выдаются за приметы стиля. Отсюда — утверждение, что для стиля поучений (образцом к которому взято поучение Мономаха с его многими, так сказать, запретительными наставлениями) характерны отрицательные конструкции (стр. 97), замечания об «иммерзисности» в Уложении 1649 г., о наименовании подмосковных сел и посадов в московских грамотах (стр. 104) и др. По этой же причине конструкции с союзом и в начале предложения оказываются специфической особенностью «стиля челобитных» (стр. 112), форма перфекта со связкой во 2-м лице (типа *писал еси*) отмечена в связи с «эпистолярным стилем» эпохи Московского государства и т. д.

Больше собственно-языкового материала находим в анализе «документально-юридического стиля» киевского периода и грамот Московской Руси. Но языковые особенности делового стиля никак не сопоставлены, не соотнесены с особенностями других стилей.

Что дает указание о преобладании в «Русской Правде» полногласных слов над неполногласными, начальных *ро, ло* над *ра, ла*, начального *о* над *е*, на употребление *ж* вместо старославянского *жд*, на наличие в сложном предложении исконно русских союзов и т. д., если мы не знаем, каково место этих фактов в других стилях языка, другими словами, насколько они важны для характеристики именно «Русской Правды». Только посредством сравнительного рассмотрения различных письменных памятников в первую очередь (хотя и не исключительно) относительно одних и тех же фактов языка можно представить литературный язык как цельную, связанную определенными внутренними отношениями систему стилей. В данном случае такими стилистически значимыми, стилистически выразительными языковыми фактами служат прежде всего те, которые отражают отношение к живой народной речи и старославянскому языку, поскольку именно соотношение этих двух языковых «стилей» и служит основанием для разграничения различных стилей в древнерусском литературном языке.

При таком подходе к делу стало бы, например, ясно, что упоминание здесь А. И. Ефимовым о наличии слов с *ж* вместо старославянского *жд* не вполне уместно, так как это явление было характерно для всех стилей, следовательно, для всего литературного языка древнейшего периода. Разумеется, сравнительный анализ языка различных памятников письменности, как представителей различных стилей литературного языка, должен захватывать и грамматику. Почти полное отсутствие этого материала в книге А. И. Ефимова — крупнейший ее недостаток. Единственное замечание, касающееся морфологии литературного языка киевского периода, вызывает сомнение. Речь идет о противопоставлении «светских» и «церковно-богослужбных» стилей древнерусского литературного языка в отношении употребления перфекта и других форм прошедшего времени (аорист, имперфект).

Вряд ли можно думать, что уже в XI—XII вв. имперфект и аорист являются приметой церковно-богослужбной литературы, формами, чуждыми уже русскому языку. Такой вывод не подтверждается фактами, он не разделяется большинством современных исследователей и требовал поэтому от автора более развернутой аргументации.

Особенно отрицательно сказались недооценка грамматических признаков в лекции V, посвященной литературному языку эпохи Московского государства — времени, когда грамматические отличия между государственным (приказным) языком и церковно-книжной разновидностью литературного языка стали особенно резкими и выразительными. Встретившиеся единичные замечания о грамматике мало удачны. Так, замечание о том, что в результате второго южнославянского влияния в XV в. «были введены формы: *ея* вместо *еть*, *мога* вместо *моеть*» (стр. 120), непонятно; формы *ея, мога*, отражающие восточнославянское происхождение старославянских *еА, могаА* как и соответствующие формы прилагательных, известны издавна, уже в памятниках XI в., что же касается написания *мога* вместо *мога* (а не вместо *моеть*), то это, действительно, орфографическое новшество, связанное с так называемым «вторым южнославянским влиянием».

Характеристика отдельных произведений литературы или стилей литературного языка в книге А. И. Ефимова представляется неудачной также и вследствие того, что автор недостаточно строго пользуется имеющейся научной литературой. Разумеется, от автора учебника по истории литературного языка нельзя требовать, чтобы он самостоятельно исследовал все подлежащие рассмотрению памятники письменности; однако мы вправе требовать от него единства взгляда на предмет,

единства метода, определенной целеустремленности при отборе материала, который он извлекает из научной литературы. В книге А. И. Ефимова нередко отсутствует эта целеустремленность. Ср., например, характеристику «Русской Правды», «Слова о полку Игореве»¹, грамот Московской Руси. Автор здесь чересчур зависим от литературы, в частности от работ С. П. Обнорского, Д. П. Якубинского, А. С. Орлова, С. Д. Никифорова, диссертации О. В. Горшковой, по-разному, с различных позиций и с разными задачами подходивших к описанию изучаемых ими памятников. Таким образом, характеристику «стилей» древнерусского литературного языка нельзя назвать удачной. Не спасает положение и то, что автор объединяет выделенные им многочисленные стили в крупные «группы стилей», поскольку и они не наделены какими-либо языковыми приметам. Таких групп для литературного языка эпохи Киевской Руси автор насчитывает две — «свежие стили» и «церковно-богослужебные стили».

По нашему мнению, А. И. Ефимов не имел серьезных оснований отказываться от сложившейся традиции (отразившейся и в действующих программах курса истории русского литературного языка) — разграничивать для литературного языка киевского периода не две, а три стилистических разновидности: язык деловой письменности, литературно-повествовательный стиль (летопись, «Слово о полку Игореве», произведение Мономаха и т. д.) и книжно-литературный (или церковно-книжный) стиль на старославянской основе. Выделение литературно-повествовательного «стиля» целесообразно с различных точек зрения. Эта стилевая разновидность древнерусского литературного языка, служа «мостиком» между двумя крайними стилями языка, тем самым связывает литературный язык в цельную и взаимодействующую своими элементами систему; анализ литературно-повествовательного стиля вскрывает наиболее типичные формы взаимодействия русского и старославянского языков в русской письменности; система стилей литературного языка, принципы разграничения стилей при этом опираются на прочное основание — отношение к народно-разговорной речи и книжно-литературным источникам. Положение о трех стилевых разновидностях древнерусского литературного языка киевского периода должно способствовать пониманию и процесса развития русского литературного языка, раскрытию тех глубоких изменений в системе литературного языка, которые произошли в XIV—XVI вв. — в эпоху Московского государства, когда заметно изменилось отношение традиционного книжного литературного языка к разговорно-обиходной речи, прежде всего в результате изменений, происшедших за этот период в живой, разговорной русской речи. Ведь историю литературного языка составляет картина употребления языкового материала — лексического и грамматического — в различных по характеру памятниках письменности на разных этапах ее развития, представляющая как внутренне связанный, закономерно развивающийся процесс, рассмотренный на фоне истории народного, разговорного языка. Изолировав литературный язык от истории живого, народного языка, сняв этот обязательный общеязыковой фон, автор книги тем самым устранил и свой объект — собственно историю древнерусского литературного языка.

До сих пор мы касались только того раздела книги А. И. Ефимова, который посвящен истории древнерусского литературного языка. Как видно из предыдущего изложения, он представляется нам мало удачным, несмотря на наличие здесь отдельных верных и интересных наблюдений и замечаний. Значительно удачнее раздел, посвященный истории русского литературного языка в XVIII в. Так, значительный интерес представляет лекция VII «Петровская эпоха и ее отражение в литературном языке». Рост словарного состава литературного языка и источники этого роста, новые явления в системе стилей литературного языка, противоречия в развитии литературного языка, связанные с зыбкостью, неупорядоченностью норм, — все это описано на основе значительного материала. К сожалению, автор и здесь верен себе: вопросы грамматики его не интересуют, грамматический материал, использованный в этой лекции, случаен, нехарактерен.

Не во всем удовлетворяет содержательная в общем лекция о Ломоносове (лекция VIII). Перечисляя Ломоносова и перечисление отдельных норм разных стилей не сопровождается ясной и четкой оценкой места и роли теории и практики трех стилей в истории литературного языка, осмыслением их как определенного этапа на пути формирования национального языка, выделением тех положений, значение которых выходит за пределы рассматриваемой эпохи, и отграничением их от тех, которые непосредственно связаны с особенностями литературного процесса середины XVIII в.; не выяснены противоречия, скрытые в самом принципе разграничения литературного языка на «стили», прикрепленные к определенным жанрам — а между тем это способствова-

¹ См., например, несколько неожиданный подсчет употребления частей речи в «Слове о полку Игореве» (стр. 86—87).

ло бы лучшему пониманию дальнейших явлений в области литературного языка, в частности осмыслению реформы Карамзина и существа полемики начала XIX в.

Нормы высокого стиля (стр. 178—179) представлены несколько бессистемно, без необходимого разграничения лексических, морфологических и произносительных норм (о явлениях синтаксиса, весьма существенных для характеристики высокого стиля, автор не упоминает). Судя по порядку, в котором приведены нормы высокого стиля, наличие полигоний, слова с *жд* и *цз* и начальным *е* (*елень*) отнесены вместе с сохранением ударного *е* к явлениям произносительным (фонетическим), между тем как очевидно, что пары типа *золото* — *злато*, *олень* — *елень*, слова с *ч* и *цз* должны рассматриваться в лексике, хотя отличия между ними и восходят генетически к фонетическим процессам. Непонятно замечание о том, что к нормам высокого слога относятся «причастия страдательные в краткой форме и действительные, образованные от слов книжного характера» (стр. 179). По грамматике Ломоносова, именно страдательные причастия прошедшего времени «весьма употребительны как от новых российских, так и от славянских глаголов произведенные» («Российская грамматика», часть пятая, гл. 2, § 446); следовательно, приведенные А. И. Ефимовым в качестве примеров *укреплена* и *окружена* нетипичны. Замечание, что «Тредиаковский и Сумароков неодобрительно отзывались о церковнославянизмах» (стр. 189), чересчур упрощено и прямолинейно представляет существо разногласий между крупнейшими писателями XVIII в.

Вторая половина XVIII в. — важный этап в истории русского литературного языка. К сожалению, весь этот период — от Ломоносова до Карамзина — по существу выпал из поля зрения автора книги, хотя, формально говоря, ему и посвящены две лекции — IX и X. В этих лекциях мы находим интересные и полезные наблюдения и замечания об отдельных сторонах языка этого времени — например, о некоторых особенностях языка произведений Фонвизина, Радищева, о формировании «салонно-дворянского жаргона» и борьбе с ним, — однако мы не обнаруживаем здесь изложения, пусть самого беглого, процессов истории литературного языка, которое придало бы этим отдельным замечаниям и наблюдениям цельность и систематичность. Материал этих двух лекций, сам по себе весьма интересный, оставляет впечатление случайности в курсе.

Так, лекция IX озаглавлена «Социально-речевые стили разговорной речи XVIII века и их отражение в литературном языке». Нельзя не отметить свежести самой темы и значения постановки этого вопроса. Живая речь различных социальных слоев русского общества в ее отношении к формирующимся в этот период нормам национально-русского литературного языка у нас не изучена. Однако приходится с сожалением констатировать, что эта важная и интересная тема переродилась в книге в тему совершенно иного порядка: отражение некоторых черт дворянского просторечия и речи других социальных групп (дворян, солдат, купцов и т. д.) в сатирических «Письмах к Фалалее» и произведений Фонвизина и Плавильщикова.

Большого следовало ожидать и от раздела, посвященного Карамзину. Здесь много интересного материала, характеризующего некоторые особенности языка Карамзина, в частности в области фразеологии: удачен анализ употребляемых Карамзиным сочетаний со словами *море*, *магазин*, *весна*, *рыцарь*, *горизонт* и др. (стр. 230—231), полезны и другие наблюдения над языком Карамзина. Однако о *концепции* Карамзина, о системе его взглядов на литературный язык, о существе его реформы — не в частности, а в главном, принципиальном, — обо всем этом сказано чересчур бегло и недостаточно систематично; в результате место Карамзина и карамзинизма в истории русского литературного языка недостаточно выяснено, «реформа» Карамзина в ее отношении к традициям и последующим этапам развития языка не вполне оценена; так, не выявлено, в каких отношениях находится карамзинский язык к практике «трех стилей»; такой показ должен был бы представить язык Карамзина и его школы, как определенный этап в развитии литературного языка.

В изложении взглядов Карамзина и Шишкова есть неточности, например, отношение Карамзина к славянизмам формулируется слишком прямолинейно и упрощенно. Автор далее утверждает, что «стараясь писать так, как говорит, Карамзин равнялся на устную речь. Причем образцами для него служила речь светского общества» (стр. 226). И далее он говорит о том, что Карамзин рекомендовал «учиться образцам литературного выражения у представителей светского общества» (стр. 227). Это в общем верно, но требует оговорки. Стремясь к сближению литературного языка с разговорной речью света, Карамзин понимал под последней не то, что есть, а скорее то, что должно быть; путь к образованию такого языка должны показать писатели, понимающие, что нужно обществу.

Неверно сказано о Шишкове, будто бы он «отзывается явно неодобрительно о народном языке» (стр. 236). Будучи сторонником разделения языка на «стили», «слоги», Шишков не мог относиться отрицательно к народной речи, используемой в отведенной ей теорией трех стилей сфере. См., например, в его речи при открытии «Беседы»: «Вторая словесность наша состоит в народном языке, не столь высоком, как священский язык, однако же весьма приятном, и который часто в простоте своей скрывает самое сладкое для сердца и чувств красноречие».

Переходя к последним разделам книги, посвященным XIX—XX вв., следует сказать, прежде всего о том направлении, которое принял «Курс» А. И. Ефимова. Большинство лекций содержит рассмотрение языка и стиля или изложение высказываний о языке и стиле отдельных деятелей литературы. Не будем говорить здесь о принципах построения курса истории литературного языка: должен ли он читаться «по авторам» или «по явлениям» — это отдельный и спорный вопрос. Но совершенно бесспорно, что при любом способе это должна быть история литературы русского языка. Язык отдельного писателя, как и его система взглядов на язык, особенно если мы имеем дело с выдающимся писателем, оказавшим влияние на развитие литературного языка, должен быть представлен в контексте литературного языка эпохи. Поэтому наш упрек А. И. Ефимову заключается не в том, что он построил вторую часть своего курса преимущественно как ряд лекций о языке или взглядах на язык отдельных писателей — Крылова, Пушкина, Гоголя, Белинского, Толстого, Горького, — а в том, что извлеченный из произведений писателей языковой материал подан изолированно, не объединен общей идеей, слабо помогает раскрытию и освещению процессов развития самого литературного языка.

Бесспорно далее, что при любом способе построения курса должны быть четко разграничены факты общеязыковые и явления индивидуального стиля. Между тем именно с таким смешением общеязыковых и индивидуально-стилистических явлений мы нередко сталкиваемся в книге А. И. Ефимова. Типичной в этом отношении является лекция XV — о Гоголе. См., например, рассуждение на стр. 328—329 о сравнении головы с редькой, огурком и т. д. Ср. также характеристику речи Манилова и Собакевича (стр. 315—316), городничего (стр. 318), утверждение, что Гоголь привлекал украинизмы, «расширяя границы литературного языка» (стр. 323—325; подчеркнуто мною. — *В. Л.*) и др.

Остановимся особо на некоторых лекциях второй части книги. Лекция XIII посвящена Пушкину. В ней представлен значительный материал, приведенные полезные сведения о разных сторонах пушкинского языка и стиля. Однако существующая современная литература о языке Пушкина — работы акад. В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, Б. В. Томашевского, Ю. Тынянова, Ю. С. Сорокина и др. — позволяла ожидать от автора учебного пособия по истории русского литературного языка более содержательного, более насыщенного материалом и выводами очерка.

В частности, хотелось бы найти в книге изложение и оценку системы взглядов Пушкина по вопросам литературного языка и путей его развития, определение места Пушкина в борьбе по вопросам языка, разграничение в первую четверть XIX в.; приведенные в книге отдельные высказывания Пушкина, выхваченные из контекста, не создают, разумеется, такой системы. Так, может ли раскрыть, например, отношение Пушкина к народной поэзии и народному языку несколько пафлавая ссылка на такие стихи, как

Что-то слышится родное

В долгих песнях ямщика и т. д. (см. стр. 257).

Значение Пушкина в истории литературного языка А. И. Ефимов видит в «смешении и объединении крайне разнородных речевых средств» (стр. 262). Пушкин, говорит А. И. Ефимов, «как бы стирает грань между речевыми средствами поэтического характера и прозаического, между слогом высоким и слогом низким» (стр. 264). Однако смешение крайне разнородных речевых средств само по себе вряд ли может быть достоинством художника. Ведь на стр. 236 автор справедливо замечает, что и Ломоносов и Шишков предупреждали «относительно неосторожного сочетания разнородных речевых средств», категорически возражали «против такого смешения». Без необходимых разъяснений и уточнений, без глубокого раскрытия сложности этого процесса объединения, слияния в системе единого национального литературного языка различных стилистических пластов формулировки, вроде приведенных выше, кажутся речесур прямолинейными, речесур упрощенно представляющими существо дела. Стилистическое разнообразие произведений Пушкина, отражающее сложность темы и ее движение, осталось не раскрытым в книге. Нельзя же представлять себе дело так, будто бы в творчестве Пушкина средства языка потеряли свои стилистические качества, стали одинаковыми и безликими между ними стерлись все грани и различия. При таком понимании невозможно объяснить стилистическое многообразие пушкинского языка, о котором говорится в приведенных на стр. 265 словах акад. В. В. Виноградова¹.

В то же время, однако (и это не показано в книге), стилистические качества определенных фактов языка, лексических и грамматических, могли действительно измениться вплоть до «вейтрализации» соответствующих слов и форм. В главе много удачных примеров, подтверждающих широкое употребление у Пушкина элементов разговорно-бытовой речи. Однако оценка писателя по объему употребляемых им разговорно-про-

¹ См. об этом также в брошюре Б. В. Томашевского «Язык и стиль» (Л., 1952, стр. 18—23).

сторечных элементов не всегда достигает цели: сколько бы ни приводилось таких фактов и примеров из произведений Пушкина, всегда можно заметить, что в комедиях, притчах и других произведениях «низкого штиля» XVIII в., а также и у некоторых современников Пушкина их еще больше. Пушкинское — в новых принципах отбора и употребления народно-разговорной речи, в новом понимании ее места и роли в системе литературного языка, свободном проникновении народной разговорной речи в различные по жанру и общему стилистическому характеру произведения, причем не как средства этнографического расширения, а как важнейшего элемента литературного языка.

Разумеется, раскрытие этих новых принципов требовало, чтобы автор уделил специальное внимание вопросу о новой стилистической системе литературного языка, выработавшейся в пушкинское время, прежде всего, хотя и не исключительно, — в произведениях самого Пушкина. Упоминание об этом на стр. 284 слишком декларативно. Об отношении Пушкина к западноевропейским заимствованиям сказано слишком общо: «Проблему заимствований в русский язык иностранных слов Пушкин решает следующим образом: он одобряет только те заимствования, которые не стесняют свободу развития родного языка» и т. д. (стр. 276). Не может не удивить, что автор не заметил пушкинской проны в известных строках, где описывается наряд Онегина («но панталоны, фрак, жилет...» и т. д.), и всерьез утверждает, что «судя по тексту романа „Евгений Онегин“, поэт отказывается описывать некоторые детали костюма Онегина, мотивируя это тем, что его слог не должен цестреть иноплеменными словами» (стр. 275).

В разделе, посвященном вопросам грамматики в языке Пушкина, встречаются неточности. Так, пример на стилистически мотивированное употребление архаического произношения *e* («Мой двор уединенный, Печальным снегом занесенный») неудачен по двум соображениям. Во-первых, здесь нельзя доказать произношения *e* или *o* потому, что оба рифмующихся слова можно прочесть и тем и другим способом. Во-вторых, страдательные причастия прошедшего времени, как это было показано еще в старой, напечатанной в 1923 г. работе С. И. Бернштейна «О методологическом значении фонетического изучения рифм»¹, по-прежнему употребляются Пушкиным с *e*, являясь, в отличие от случаев типа *ушёл, идёт* и т. д., нормой книжного языка пушкинского времени; следует добавить еще, что вообще, как показывает материал, произношение *e* вместо *o* (*ё*) не является для Пушкина стилистически применяемым средством.

Значение Пушкина в упорядочении порядка слов в русском литературном языке нельзя установить, как это делает А. И. Ефимов, путем непосредственного сопоставления с Ломоносовым. В период между Ломоносовым и Пушкиным, как известно, осуществлялись карамзинские преобразования в области словорасположения.

Бесспорно лучшими в книге следует признать лекции XVI—XVIII, посвященные вопросам развития публицистического и научного стилей литературного языка во второй половине XIX в., а также проблеме славянизмов в языке этого времени. Положение о ведущем значении публицистики в развитии литературного языка этого периода иллюстрируется новым, свежим материалом. Автор прослеживает зарождение и особенности употребления отдельных слов и целых рядов публицистической лексики и фразеологии, учитывая при этом наличие некоторого своеобразия в словоупотреблении в прогрессивной и реакционной публицистике. Замечания автора об источниках и составе публицистической лексики и фразеологии представляют несомненный интерес.

А. И. Ефимов вводит в научный оборот значительный новый материал, связанный с развитием научной терминологии, причем наибольший интерес представляют, с одной стороны, наблюдения над явлением терминологизации многих общеизвестных, преимущественно книжных, отвлеченных слов, а с другой стороны, — наблюдения над процессом образования переносных значений у многих научных терминов, расширение сферы их употребления. Интересные вопросы подвзаты автором книги в связи с анализом роли и места славянизмов в различных жанрах литературы второй половины XIX в. — в художественной литературе, публицистике, научных работах, официальных документах.

К недостаткам рассмотренных лекций можно отнести не очень строгий отбор материала. В частности, за анализ языка порой выдается анализ содержания; таковы указания на то, что Добролюбов опускает в статье «Русские на Амуре» подробности, известные из газетных сообщений (стр. 335), рассуждение о значении слова *партия* (стр. 340), рассказ Салтыкова-Щедрина о лекции Юркевича, нападшего на материалистов, сравнение обвинителя и проповедника у Кони и приведенная в связи с этим цитата из Духовного регламента Петра (стр. 375) и некоторые другие.

Надо сказать, что факты языка вообще нередко смешиваются в книге А. И. Ефимова с содержанием высказывания; это находит отражение даже в самом употреблении слова *язык*: см., например, на стр. 29 о том, что в языке полемики с единомышленниками «преобладают элементы разъяснения и убеждения»; см. также в последней,

¹ «Пушкинский сборник», М.—Пг., 1922 [обл.: 1923].

ХНГ ленин, чрезвычайно верящую для научной работы формулировку о том, что **п р и в и д и н о с т ь** — это важный признак языка коммунистической пропаганды.

Значительный обзор книги А. И. Ефимова, считаю необходимым отметить, что в книге встречаются фактические неточности, ошибки. Так, произведение Карамзина «Пантеон российских авторов» переименовано в «Пантеон писателей российских» (стр. 224), а пушкинская «Беседа любителей русского слова» — в «Беседу любителей российской словесности» (стр. 223). Иронические *лошаднее* и *короннее* созданы Шишковым по образцу *человечнее*, а не *трогательнее*, как это сказано на стр. 237. Вопреки утверждению автора на стр. 276, Пушкин нигде не называл брата Льва «институткой». Речь, очевидно, идет о письме от 24 января 1822 г., где Пушкин пишет брату: «Как тебе не стыдно, мой милый, писать полурусское, полуфранцузское письмо, ты не м о с к о в с к а я к у з и н а». На стр. 318 А. И. Ефимов пишет, что Гоголь употреблял многие слова и выражения, включенные в Академический словарь 1847 г. как «просторечные» и «простонародные»; в качестве примера приведены *трухнуть*, *откальвать* (мазурку), *блажь*, *оплеуха*, выражение *губа не дура*. Между тем н и о д н о из этих слов не помечено в Словаре 1847 г. как «просторечное» или «простонародное», причем для *откальвать* приведенное значение не зафиксировано, а выражение *губа не дура* вообще не приведено в Словаре. Очень много ошибок в приведенных в книге текстах из древнерусских памятников.

*

А. И. Ефимов проявил большую творческую смелость, написав первое (если не считать пособия для заочников С. Д. Никифорова) учебное пособие, ставящее задачу относительно систематического изложения курса истории русского литературного языка. Уже это одно заслуживает всяческого поощрения, похвалы и благодарности. Вместе с тем нельзя не видеть крупных недостатков книги А. И. Ефимова. Несомненно, что значительная часть этих недостатков обусловлена неудовлетворительным состоянием самой дисциплины, однако несомненно и то, что многих из них можно было бы избежать даже и при современном уровне науки об истории русского литературного языка. Создание полноценного учебного пособия по истории русского литературного языка и после выхода книги А. И. Ефимова попрежнему остается первоочередной, требующей неотложного разрешения задачей.

В. Д. Левин

Русско-молдавский словарь. 61 000 слов. Под ред. А. Т. Борща, Н. Г. Корлягану, Е. М. Руссева. — М., Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1954. 836 стр. (Ин-т истории, языка и лит-ры Молдавского филиала АН СССР).¹

В ноябре прошлого года Молдавским научно-исследовательским институтом истории, языка и литературы совместно с Издательством иностранных и национальных словарей выпущен Русско-молдавский словарь на 61 тыс. слов. Выход словаря в свет совпал с празднованием тридцатилетней годовщины Советской Молдавии.

Молдавская общественность с нетерпением ждала появления словаря. Это и понятно: как дореволюционные русско-молдавские словари, так и словари 20—30-х гг., не отвечали практическим нуждам культурного и хозяйственного строительства Молдавии из-за своей устарелости и различных крупных недостатков. Русско-молдавский словарь 1949 г. вследствие своего небольшого объема (этот словарь приближался к типу кратких школьных словарей) также не мог удовлетворить широких запросов языковой практики Молдавии. А между тем можно без преувеличения сказать, что во всех

¹ В статье используются следующие библиографические сокращения: ALRM II — *Micul atlas linguistic român, partea II — de E. Petrovici, Sibiu—Leipzig, 1940* (Малый румынский лингвистический атлас, ч. II). В Атласе отражены молдавские говоры правобережной части МССР.

Словарь Кандри — *Dictionarul enciclopedic ilustrat «Cartea Românească», București, 1931*: *partea I—de I. A. C a n d r e a*; *partea II—de Gh. A d a m e s c u* («Иллюстрированный энциклопедический словарь»); ч. I — И. А. Кандри; ч. II — Г. Адамеску). «Словарь 1949 г.» — «Русско-молдавский словарь», гл. ред. И. Д. Чебан, редакторы-составители: Н. Г. Корлягану и Е. М. Руссев, Кишинев, 1949. *Бидрептар — И о п Д. Ч о б а н у*, Молдавский орфографический словарь [для средней школы] («Бидрептар ортографик пентру школа мичеленгоаре, де 7 ань ши чей мижлочие»), Кишинев, 1949.

Кроме того, даются ссылки на «Русско-румынский словарь», (сост. Н. Г. Корлягану и Е. М. Руссев, М., 1954) и на «Румынско-русский словарь» (под ред. Б. А. Андрианова и Д. Е. Михальчи, М., 1953).

сферах хозяйственной и культурной жизни республики на каждом шагу возникает необходимость перевода с русского языка на молдавский и обратно.

Вместе с тем, ввиду отсутствия молдавско-русских и молдавских одноязычных толковых и энциклопедических словарей, русско-молдавский словарь должен стать орудием развития и совершенствования культуры устной и письменной речи, средством упорядочения, нормализации и очищения молдавского языка от всякого рода жаргонных и диалектных слов. Наконец, русско-молдавский словарь окажет молдавским читателям большую помощь при чтении русской литературы и явится необходимым пособием при изучении русского и молдавского языков.

Таким образом, сама жизнь настойчиво указывала на необходимость создания хорошего и полного русско-молдавского, равно как и молдавско-русского словаря. Выход в свет настоящего словаря является для советской Молдавии событием национального значения.

В пользу нового русско-молдавского словаря говорит уже его объем (61 тыс. слов) и богатство фразеологии. Русский словник, являющийся базой при составлении каждого русско-национального словаря, в целом сделан очень тщательно. Его составители учли большую часть замечаний, содержащихся в рецензиях на словарь русского языка, составленный С. И. Ожеговым, и на различные русско-национальные и русско-иностранные словари. Здесь можно указать лишь на отдельные частные недостатки. Так, в словнике отсутствуют такие употребительные слова, как *значист*, *котчик* (хищная птица), *отличение* (отличение реального от фиктивного), *поточно-комплексный*; нет в словаре таких получивших в последнее время широкое распространение терминов, как *антибиотики*, *геноцид*. Вместе с тем словник можно было бы разгрузить за счет исключения из него некоторых узко специальных терминов: *абака*, *абумия*, *абсорбционный* (при сохранении существительного *абсорбция*), *аграрий*, *жиклер* и областных слов типа *мажуа*.

Удачная композиция и богатство русского словника во многом определяют правильное построение всего словаря. Гнездовой метод позволяет дать вместе с заглавным словом наиболее важные свободные и несвободные словосочетания, в которых это слово встречается. Гнездовое расположение материала дает также возможность указать грамматические формы русского слова.

Ср., например, в статье *путь*: *сбиться с пути* (род. падеж), *по пути* (дат. падеж), *путь* (им. падеж), *сужим путем* (твор. падеж), *быть на пути* (пред. падеж) *к чему-либо*, *пути* (им. падеж мн. числа) *сообщения* и т. д. Этот прием в некоторой степени восполняет отсутствие в словаре краткого грамматического справочника русского языка (см. ниже).

Подбирая молдавские соответствия русским словам и выражениям, составители словаря в целом отказались от языкового изобретательства. Они правильно учли применительно к молдавскому языку известное указание В. И. Лепява о борьбе с коверканьем русского языка и справедливо игнорировали такие нелепые выражения, как *дрептумалуришишник*, *тотционал*, *поямытолукраря*, *колектисник*, — слова, искусственно созданные вопреки словообразовательным закономерностям молдавского языка (пужно: *депе малуа дрепт «правобережный»*, *атотционал «всесоюзный»*, *лукраря паямытулуй «обработка земли»*, *колектиса «коллективная»*).

Большие трудности стояли перед составителями словаря при переводе научно-специальных терминов. С развитием молдавской национальной культуры и науки, а также в связи с индустриализацией советской Молдавии появилась острая потребность в создании большого количества научных и специальных терминов, которых раньше никогда не было в словарном составе молдавского языка. Однако в Молдавии до последнего времени с упорядочением научно-технической терминологии дело обстояло плохо. Языковеды и литераторы, интересовавшиеся этими вопросами, занимались в основном бессодержательными спорами о том, нужно ли использовать только русскую терминологию или следует ориентироваться исключительно на румынские терминологические системы.

Поскольку и после выхода рецензируемого словаря некоторые критики в Молдавии оценивают сделанные в нем переводы научно-технических терминов, исходя из этих схоластических установок, необходимо напомнить об основных положениях теории термина.

Как известно, развитие терминологии отличается от развития других слоев словарного состава. Если, например, обогащение бытовой лексики происходит по большей части стихийно, то образование новых научно-технических терминов должно осуществляться под постоянным контролем языковедов и отраслевых специалистов. Дело в том, что термин должен в своей языковой структуре отражать не только научную сущность того или иного понятия, но и отношение его к другим соподчиненным научным понятиям. Об этом говорил еще Ф. Энгельс, подчеркивая, что «в органической химии значение какого-нибудь тела, а, значит, также название его, не зависит уже просто от его состава, а скорее от его положения в том ряду, к которому оно принадлежит»¹.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 509.

Ср., например, термины: русск. *серная кислота* = молд. *ацид сульфурик*, русск. *сернистая кислота* = молд. *ацид сульфуроз*, русск. *сернооватистая кислота* = молд. *ацид хипосульфуроз*, в которых посредством русских суффиксов *-н*-, *-ист*-, *-оватист*- и молдавских аффиксов *-ик*-, *-оз*-, *-хипо*- указывается, сколько атомов кислорода содержится в молекуле кислоты.

Руководствуясь этим положением, составители словаря в основном использовали два источника для пополнения молдавской научно-технической терминологии. Во-первых, в словаре имеются русские слова или русифицированные интернациональные термины, подведенные под грамматические нормы молдавского языка: *барабан*, *торф*, *треларе*, *шина* и т. д. Употребление русских заимствований особенно целесообразно тогда, когда оно поддерживается в молдавском языке словами общего корня и близкими по значению, т. е. формами, помогающими правильно передать научное содержание термина. Ср.: русск. *вал* (у машины) — молд. *вал*, русск. *кладка* — молд. *кладире* (от глагола *a cladi* «строить, воздвигать, сооружать»); в румынском языке используется слово *zidire*, этимологически не связанное с русским термином). Кроме того, заимствование русских терминов позволило составителям словаря избежать разговорных построений, например, *станок* вместо *масэ де лукру* или *машинэ-унялтэ*, *тол* «толь» вместо *картон асфалтат*, *трапа* «трап» вместо *скара де бас*. А ведь известно, что во всех языках терминология стремится обозначать одно научное понятие одним словом.

Во-вторых, для образования научно-технических терминов словарь использует греческие и латинские корни, широко употребляющиеся во всех языках мира, в том числе и в русском. Использование этого приема вполне оправдано, поскольку он приближает молдавскую терминологию к уже принятым в науке международным терминологическим системам. Употребление греческих и латинских форм часто позволяет раскрыть сущность научного понятия и определить его положение в том классификационном ряду, к которому оно принадлежит (ср. приведенный выше пример: *ацид сульфурик* — *ацид сульфуроз* — *ацид хипосульфуроз*). Совершенно правильно поступают авторы словаря, когда, используя те или иные греко-латинские основы, подводят эти последние под фонетические и грамматические законы молдавского языка. Так, например, латинское *processus* «движение вперед» должно заимствоваться молдавским языком только в форме *процес* (как и дано в словаре), но не в форме *процесс*, поскольку, согласно фонетическим законам молдавского языка, латинское двойное *s* упрощается, а *i* перед *e* именительн. и ч. Таким же образом нужно говорить в неопределенной форме *география*, но не *географиз*, поскольку в молдавском языке *g* перед *e* дает *ж*, а окончание *ia* у существительных женского рода воспринимается как определенный артикль.

Использование латинских корней бывает более целесообразным, чем употребление русского слова, в тех случаях, когда латинский термин унифицируется с общепринятым молдавским словом, и результаты чего для молдавского становится истинной сущностью научного понятия, обозначающего данным термином. Ср. *аурифер* рядом с *аур* «золото», *ферос* рядом с *фер* «железо», *курент* рядом с *а курже* «бежать». Употребление русских слов *волотонисий*, *железистый*, *ток* не раскрывало бы внутреннюю структуру указанных понятий. Никого не должно смущать тот факт, что некоторые молдавские научные термины по своему звучанию напоминают аналогичные французские, итальянские, румынские. Молдавское *география* почти совпадает по звучанию с французским *géographie* [географий] не потому, что оно заимствовано из французского языка, а потому, что в этих родственных языках действует один и тот же фонетический закон: *g* перед *e*, и изменяется в *ж*. В других романских языках указанная закономерность несколько видоизменена, вследствие чего это слово произносится по-румынски как [джеография], а по-испански [хеография].

Хотя составители и редакторы словаря в целом правильно решили трудную задачу перевода русских научно-технических терминов на молдавский язык, они не ушли одного частного момента. Как известно, нередко бывает, что одно и то же терминологическое понятие в молдавском языке обозначается двумя словами, одно из которых бытует в специально-научном или официально-деловом обиходе, а другое — в разговорно-бытовой речи. Иногда в словаре даются оба варианта: например, русск. *клецвина* — молд. *ричина* и *рычина*, русск. *сера* — молд. *сульф* (хим.) и *пучосэ*, русск. *местком* — молд. *комитет локал* и *местком*. Однако чаще всего разговорный вариант в словаре отсутствует. Так, например, русск. *изжога*, *правление*, *председатель*, *сельсовет*, *саяка* и др. переводятся только официальными и научными терминами: *жиг*, *прешедите*, *кырмуире*, *совет сатек*, *свямэтоаре*, а народно-разговорные варианты *жигарае* (ср. словарь Кандри, Бидрентар, Русско-молдавский словарь 1949 г., а также Румынско-русский словарь, который дает здесь помету «разговорное слово»), *претсидатия*, *правление*, *сельсовет*, *саялка* в словаре не даны. То, что авторы словаря совершили ошибку, не включив в словарь народно-разговорные дублиеты научных и административных терминов, видно из следующего примера. Предположим, нужно перевести на молдавский язык такой обыденный диалог:

«— Вы кто, член правления?.. — спросил я.

— Нет, я председателя жду» (С. Антонов, Поддубенские частушки).

Если следовать словарю, то перевод должен звучать так:

«— Думнявоастрэ чине сынтень, ун мембру ал кырмузрий?»— ам ынтребат еу.
— Ну, ыл аштепт пе прешедяте».

Между тем такой перевод звучит совершенно фальшиво: из-за употребления официальных терминов в нем уничтожена стилистическая окраска непринужденной разговорной речи. Единственно правильным будет.

«— Мата чине ештэ — член а правленийей?»

— Ну, ыл аштепт пе претседатил».

Отсюда ясно следует, что в словаре паравне с официальными и научными терминами должны быть даны народно-разговорные дублеты, снабженные соответствующими стилистическими пометами: «разговорное», «народно-поэтическое». Кстати, следует заметить, что стилистическими пометами в словаре снабжены лишь русские слова, молдавские же почему-то приводятся без них. Поэтому человеку, недостаточно владеющему молдавским языком, пользоваться словарем будет трудно.

Если проблема отбора молдавской терминологии в словаре разрешена правильно, то с выбором бытовой лексики дело обстоит менее благополучно. Общеизвестно, что основой развития каждого языка является народно-разговорная речь. В связи с этим непонятно, почему из словаря последовательно удалены слова, характерные для общемолдавской городской и крестьянской речи. Приведу несколько примеров: русск. *кольцо*, *веко* переводится как *инел*, *серигэ*, между тем как в разговорной речи оба эти слова употребляются реже, чем слово *белуца*, которого в словаре нет [ср. у Крыги: «Скляпим... ун вэзрар ку белуца» (Избр. произвед., Кишинев, 1953)].

В словаре отсутствуют такие употребительные слова, как *хлеб* (словарь Кандри сопровождает это слово пометой «молдавское»; см. статьи *Chita* и *Pita*) «хлеб»; *палатка* (ср. ALRM, II, карта 291) «палатка». Русск. *плетень* переведено искусственным, тяжелым выражением *гард ымплетит*, *гард де нуле* вместо народно-разговорных форм *гардучан*, *гардуц* (ср. ALRM, II, карта 360; реже встречаются формы *граць*, *ынгердичурэ*).

Иногда изгнание народных слов отражается и на точности русско-молдавских соответствий. Так, русск. *братишка*, *братец*, *браток* переведено одним словом *фрациор*. Между тем *братишка* в русском языке употребляется как фамильярное обращение к равному по положению мужчине и соответствует употребляемым в Молдавии народно-разговорным словам: *фрацикэ*; *фрацыне* — *меу*, *сэу* и т. д. (ср. ALRM, II, карта 185); *фрацые* (ср. ALRM, II, карта 190); последнее употребляется только в обращении.

Молдавский институт истории, языка и литературы ежегодно проводит диалектологические и фольклорные экспедиции, которые дают ценные материалы для изучения молдавской народно-разговорной речи. Однако эти материалы годами лежат под спудом. Не использованы они, как видно, и при составлении настоящего словаря.

Но предположим, что у составителей словаря были какие-то основания отказать ся от просторечной и разговорной лексики, и отбор слов бытовой значения производился из языка художественных произведений. Об этом, кстати, говорится в предисловии к словарю (стр. 5). Для того чтобы проверить справедливость этого положения, проведем следующий эксперимент: возьмем на выбор несколько отрывков различных стилей и жанров из произведений классиков молдавской литературы и посмотрим, насколько их лексика отражена в словаре.

Начнем с И. Крыги. Взяв вторую главу его «Детских воспоминаний», написанных в народно-разговорном стиле, в первом же абзаце находим восемь слов и выражений, которые не отражены в словаре:

Прикич «шесток» (ср. в словаре Кандри: «карниз, выступающий край у печи», с пометой «молдавское слово»). Словарь ошибочно переводит русск. *шесток* словом *еатрэ*, что значит в действительности «очаг», «устье русской печи» (в словаре Кандри: «место в печи, где разводится огонь», см. рисунок № 5237). Любопытно отметить, что Русско-румынский словарь, составленный Н. Г. Корзятину и В. М. Русевым, являющимися также редакторами рецензируемого Русско-молдавского словаря, дает правильное румынское толкование обоих слов: *шесток* — *prichiciu*, *очаг* — *vatră*.

А се гынди ла «вспоминать о» или «думать о чем-либо прошедшем» (в отличие от *а гынди*, *а се гынди* «думать вообще»).

Дулэ плак «по душе», «по вкусу» (отличается от выражения *пе плак* «в угоду»). Словарь дает для передачи русского выражения «по душе» приблизительные соответствия: *аста ымь вине ла сокотляэ*, *ымь плаче*, что значит «это мне подходит, это мне нравится».

Жукорие «забава». Словарь ошибочно переводит русск. «забава» словами *жок*, буквально «игра» и *петречере* «развлечение». В этой же статье русская фразеология «детские забавы» переводится выражением *петречере копилагрешть*, которое обозначает в действительности «детские развлечения», например цирк, карусель, театр марионеток и т. п. Очевидно, автор статьи не достаточно точно понял значение русского слова «забава».

В словарь не попали такие слова, употребляемые писателем в этом же отрывке

как *zav* «очарование» (словарь дает это слово только в значении «потеха»); *видестулат* как прилагательное «обеспеченный»; *дяпураза* «навек», «навсегда» с народно-поэтической окраской; *стурлаубатик* «безумный», «безрассудный».

Обратившись к поэзии М. Эминеску, мы находим в стихотворении «На той же улочке» четыре слова и выражения, отсутствующие в словаре:

Боскет «роща», «декоративный кустарник» (см. словарь Кандри). Словарь переводит русск. «роща» посредством слова *падуриче*, что значит буквально: «лесок».

А рэама де чева «опереться обо что-либо». Словарь дает *a рэама те уи бац* «опереться на палку».

Заплаз «дощатый забор». Ср. также у Александри: «Сай деграбэ заплазул, неделкуе, ши винэ льнгэ мине» (Избр. произвед., Кишинев, 1954).

Тайнуит «таинственный». Ср. также у Александри: «Жос, ми валя тэйнуитэ... доуз умбре... се сэрутау» (там же).

В первых десяти строчках 27-го полемического письма К. Негруцци (Избр. произвед., Кишинев, 1953) обнаруживаем два слова, отсутствующие в словаре: *мениче* «отзыв», «похвальная грамота», *онорабила* «почетная», а также слово *болд*, которое не используется в словаре как эквивалент русских слов «стимуль», «побуждение».

Наконец, обратимся к переводу пушкинских «Цыган» поэта бессараба А. Допича. Уж здесь-то трудно ожидать каких-либо неувязок со словарем. Однако на первой же странице находим слова, отсутствующие в словаре: *гылмава* «ссора», «распря», «спредательство»; *цол* «грубое шерстяное одеяло» (ср. у Крынги: «Я акуш вэ ард кытена жордий прин полул челэ»), словарь использует уменьшительное *цолшор*, но ведь оно имеет совершенно другое значение — «коврик», «дорожка».

Слово *ымпресурат* у Допича употреблено в значении «обрамленный», в то время как словарь дает его только в специально-военном значении, например, «окруженная, обложенная крепость». Что касается русского слова «обрамленный», то оно переводится только словом конкретной семантики *ырамаг*, буквально: «заключенный в рамку». Автор статьи не учел переносного, дополнительного значения русского слова — значения, точно передаваемого молдавским *ымпресурат*.

Итак, ясно, что язык молдавских классиков использован в словаре весьма недостаточно.

Но, может быть, авторы словаря ориентировались не на язык классического периода, а на язык советских молдавских писателей? Проведем аналогичный опыт. Общия картина остается такой же. Первый отрывок поэмы Е. Букова «Моя страна» — произведение, написанное исключительно простым языком — дает три слова, не отмеченных или недостаточно использованных в словаре:

Рафт «скинжиный полка». Словарь дает только *полка*, что означает «полка» в широком смысле слова.

Барда «людиный топор», «тесло», «бердыш». *Барда* используется в словаре только в качестве пометки: *А крестя ку топорул, ку барда* «делать зарубки топором, теслом».

Опанц «пелюшка», «светильник» (последнее — в прямом, переносном смысле) в словаре использовано лишь для передачи первого русского значения. Русское слово «светильник» переводится посредством неточного соответствия *факле*, что означает «факел», «горящая лупина», «восковая свеча», «светоч» (см. словарь Кандри).

Первые страницы детского рассказа «Незабываемый день» А. Лунаца дают такие незафиксированные в словаре слова и выражения, как *броской* «жаба»; *трап* «рысь», «аллюр»; *дин тоате бакорле пещулуй* «что есть мочи», «во весь голос»; *ыи брынич* «на четвереньках» (словарь дает громоздкое описательное выражение *ыи патру лабе*, буквально: «на четырех лапах»). Слово *брынич* «лапа», «коготь» в словаре также не дано.

Итак, язык современных молдавских писателей использован в словаре также недостаточно полно.

Вообще основным недостатком словаря является приблизительный, кустарный подбор молдавских соответствий в некоторых статьях. Наряду с вышеприведенными неточностями укажу еще один характерный в этом отношении пример: русск. «задууть свечу» переводится выражением общего значения *a стинже о лумынаре* «потушить свечу», в то время как существует более точное соответствие *a суфла лумынаре* (в просторечии *a суфла* «ин лумынаре» «задууть свечу»; см. ALRM, II, карта 51; ср. также словарь Кандри).

Вместе с тем составители словаря явно злоупотребляют описательными выражениями, которые зачастую лишь приблизительно передают смысл русского слова. Ср. такие приведенные выше примеры, как *пстречере копилареште* вместо *жукарий*; *ыи патру лабе* вместо *ыи брынич* и др.

Большинства из этих промахов можно было бы избежать, если бы составлению словаря предшествовало кропотливое и а у ч н о е и з у ч е н и е народно-разговорной речи, языка современной литературы и особенно языка классиков — Крынги, Эминеску, Александри, в произведениях которых кристаллизовались нормы молдавской литературной речи.

Последнее мое замечание касается грамматического аспекта словаря. Русско-молдавский словарь предназначен не только для людей, одинаково хорошо владеющих обоими языками, поэтому необходимо было дать в качестве приложения краткие грамматические очерки (схемы) русского и молдавского языков. Кроме того, нужно было снабдить молдавские существительные и глаголы, имеющие отклоняющиеся формы склонения и спряжения, соответствующими указаниями (в отношении русских слов это сделано). Действительно, как можно определить, не владеет ли активно молдавским языком, литературно-правильные формы спряжения глагола *a trebui* «нуждаться», если народно-разговорная речь даст три варианта: *ea trebuie*, *ea trebuiește*, *ea trebuiează*?

Итак, новый русско-молдавский словарь имеет свои положительные стороны, но есть в нем и недостатки.

В целом словарь следует оценить положительно. Новым русско-молдавским словарем будут пользоваться сотни и тысячи читателей — переводчики, журналисты, партийные работники, учащиеся и преподаватели средних и высших учебных заведений, работники сельского хозяйства и промышленности. Постоянно пользуясь словарем, читатели смогут выявить его нескрытые ошибки и недочеты, а их, конечно, немало в таком капитальном труде. Задача Института истории, языка и литературы Молдавского филиала АН СССР — внимательно изучить мнения и замечания читателей. Критическое использование этих замечаний и указаний поможет Институту и Издательству в последующих изданиях довести словарь до того высокого лингвистического уровня, который присущ большинству наших советских словарей.

Р. Г. Пиотровский

«Сравнительная грамматика русского и азербайджанского языков». Под ред. М. А. Ширалиева и С. А. Джафарова.—Баку, Изд-во Азерб. гос. ун-та им. С. М. Кирова., 1954. 398 стр.

Можно констатировать все возрастающий интерес к сравнительному изучению русского и национального языков в наших научных республиканских центрах. В последние годы одна за другой выходят сравнительные грамматики русского и национального языков в Татарии, Башкирии, Чувашии¹ и Азербайджане.

«Сопоставление систем двух языков, например русского и какого-нибудь другого из национальных языков Советского Союза», — отмечает В. В. Виноградов, — является ценным методическим приемом обучения языку с иным грамматическим строем².

Действительно, сравнение и сопоставление двух языков широко применяется и дает свои положительные результаты при обучении языкам в школах и вузах. Следует, однако, указать на относительную неразработанность методики составления сравнительных грамматик русского и национального языков. Нам представляется, что при сравнении двух языков, русского и национального, следует учитывать как специфические особенности каждого из сопоставляемых языков, так и то общее, сходное, что наблюдается между ними по линии фонетики, морфологии и синтаксиса. Такая методика, которая совмещает в себе учет специфического и общего между сопоставляемыми языками, далеко не всегда последовательно проводится авторами сопоставительных грамматик, в частности и авторами рецензируемой нами сравнительно-сопоставительной грамматики русского и азербайджанского языков.

Это наше общее замечание, как покажет дальнейшее изложение, будет касаться не всех разделов настоящей грамматики. Хочет отметить, что некоторые разделы рецензируемой работы построены методически удачно и не вызывают у нас возражений. С учетом специфических особенностей каждого из сопоставляемых языков дается раздел «Категория грамматического рода имен существительных» (стр. 43—48), в котором вскрывается специфика обозначения категории рода в русском и азербайджанском языках. В разделе, посвященном категории принадлежности (стр. 80—82), автор не ограничивается тем, что дает простое соответствие формантов этой грамматической

¹ Р. С. Газизов, Опыт сопоставительного освещения грамматических особенностей русского и татарского языков, Казань, 1952; Р. Н. Терегулова и К. З. Ахмеров, Сравнительная грамматика русского и башкирского языков, Уфа, 1953; Н. А. Резюков, Очерки сравнительной грамматики русского и чувашского языков, Чебоксары, 1954.

² В. В. Виноградов, Развитие советского языковедения в свете учения И. В. Сталина, сб. «Сессия отделений общественных наук АН СССР, посв. годовщине опубликования гениального произведения И. В. Сталина „Марксизм и вопросы языковедения“, М., 1951, стр. 42.

категории в сравниваемых языках, а подробно останавливается на вопросах, касающихся степени продуктивности того или иного типа принадлежности, стилистических сфер его употребления и пр. Не вызывает возражений и раздел, посвященный грамматической категории числа имен существительных (стр. 48—55). Здесь вскрыты существенные особенности образования множественного числа в азербайджанском языке в отличие от русского языка.

Интерес представляет раздел, в котором ставятся вопросы соответствия и несоответствия сравниваемых языков по линии безличных предложений. Наконец, одной из положительных сторон рецензируемой нами грамматики является обилие в ней иллюстративного материала, почерпнутого из фольклора и разговорного языка, современной художественной и классической литературы Азербайджана.

Однако нам представляется более целесообразным остановиться подробнее на недостатках и упущениях в работе. Мы уже указали, что составители настоящей грамматики не всегда используют правильную методику при сравнении фактов обоих языков. Так, в разделе «Словообразование имен существительных» (стр. 82—111) благодаря тому, что за основу сравнения и сопоставления берется русский язык, не раскрывается в полной мере круг значений каждого словообразовательного элемента; словообразовательные средства азербайджанского языка автор этого раздела пытается уложить в схему средств русского языка. Раздел только выиграл бы, если бы изложение велось по линии выявления общего и специфического для сопоставляемых языков.

Ряд словообразовательных аффиксов азербайджанского языка выпал из поля зрения, так как они не улеглись в рамки русских аффиксов (аффиксы *-ғы, -ыш, -ғә, -ид, -мур, -ғәт*, и др.). Некоторые словообразовательные аффиксы трактуются под углом зрения русского языка. Говоря о соответствии русского суффикса *-тельн* аффиксу *-асы* (стр. 145), автор не останавливается на специфических его особенностях, а отождествляет его с аффиксом *-лы*. А далее мы читаем: «В азербайджанском языке в этом значении прилагательные с суффиксом *-тельн* выражаются глаголом страдательного залога вместе с суффиксом *-ғәсы, -ғәси* или существительным вместе с аффиксом *-ли/лу*. Так, «просительный» — *ғәбә олунасы* или *бағышланасы*; «позволятельный» — *ғәбул олунасы, йол вериләси; удивительный* — *тәғзүблү*» (стр. 145). Однако читатель (будь то студент или переводчик) должен знать, что собой представляют эти 2 аффикса *-асы/-ғәси* и *-ли/лу*, в чем специфика каждого и какой в данном случае более продуктивен.

Нам неинтересен тот критерий, которым руководствуются в грамматике при выделении аффиксов, образующих имена прилагательные от глагольных основ. В рецензируемой работе, очевидно, смешивается грамматическое значение той или иной формы с ее синтаксической функцией. В раздел аффиксов, образующих имена прилагательные, и грамматико-отнесенные к ним формы на *-малы/мәли* и на *-ған*. На стр. 114 мы читаем: «В азербайджанских прилагательных приставок и окончаний не бывает, но могут быть прилагательные с аффиксами *-лы, -сыа, -ған*». Или дальше на стр. 146: «В азербайджанском языке прилагательные с этим суффиксом (имеется в виду суффикс *-мәли*) переводятся прилагательными с аффиксами *ызы/узы, малы/мәли*». Автор этих строк не учитывает, что как форма на *-ған*, так и форма на *-малы* может выступать в синтаксической функции определения, но это не означает, что их можно отнести к разряду аффиксов, образующих имена прилагательные.

Авторы опять-таки находят под влиянием по русскому случаю по азербайджанской грамматике, если форму *дәрунмәл* (в сочетании *дәрунмәл хәрәләр* «незаметные расходы») рассматривают как отглагольное прилагательное (стр. 141).

Вообще надо сказать, что словообразовательные аффиксы азербайджанского языка описываются более бедно, чем соответствующим им русские словообразовательные средства. Уделяя, к сожалению, им меньше внимания, авторы нередко не дают никаких указаний относительно их продуктивности и происхождения (стр. 115 — префиксы *би-, на-*; стр. 138 — аффикс *-и*; стр. 98 — аффиксы *-ғәр* и др.). Говоря о префиксах *би-, на-* в азербайджанском языке, следовало бы указать, от всех ли основ возможны образования с ними. Не ставится вопрос об аналитическом словообразовании. В разделе, посвященном сложным словам, авторы тоже исходят из русского языка. Не вскрыта специфика сложных слов в азербайджанском языке, не показано отличие сложных слов от синтаксических сочетаний.

Категория переходности опять-таки присутствует с точки зрения русского языка. Все сводится к наличию существительного или заменяющей его части речи в винительном падеже. Упускается из вида, что переходность глагола в русской и азербайджанской грамматике понимается по-разному. Для азербайджанского языка это понятие гораздо шире и под него можно подвести такие глаголы, управление которых винительным падежом невозможно с точки зрения русского языка (ср. *Мәңи пүл қәндәрән адам сабаһ қалағаж* «Человек, которому я послал деньги, придет завтра»).

В грамматике следовало бы выделить лексико-смысловые разряды глаголов, управляющих теми или иными падежами. В разделе «Сложное предложение» мы читаем:

¹ Здесь и далее азербайджанские перечеркнутые *к* и *ч* передаются знаками *қ* и *з*.

«В бессоюзном сложносочиненном предложении связь между предложениями осуществляется при помощи интонации» (стр. 353). И дальше: «Придаточные предложения как в русском языке, так и в азербайджанском связываются с главным предложением при помощи подчинительных союзов и союзных слов» (стр. 355). Автор этого раздела не останавливается на таких средствах соединения главного и придаточного предложений, которые специфичны только для азербайджанского языка (ср. падежные аффиксы, послелоги, служебные имена).

Целый ряд грамматических категорий, характерных для азербайджанского языка, либо рассматривается очень поверхностно, либо совсем не рассматривается. Так, в грамматике не показана такая интересная для азербайджанского языка грамматическая категория, как категория долженствовательного наклонения. Правда, в перечне имеющих «я» наклонений в азербайджанском языке эта категория значится под термином «вазйб шекли» («обязательное наклонение»). Но в ходе изложения материала эта категория, к сожалению, отсутствует. В отличие от ряда других тюркских языков долженствование в азербайджанском языке имеет и специальные морфологические формы своего выражения (формы на-маллы/-мэли, асы/эси) и передается описательно (конструкция модального слова *хэрэк* с формой желательного, реже повелительного наклонения). Представило бы большой интерес, если бы авторы грамматики остановились на различиях в употреблении каждой из названных конструкций, показали возможные им соответствия на материале русского языка.

Не вскрыты особенности формы настоящего-будущего времени на -ар. О ней упоминается в грамматике вскользь и только как о форме «будущего времени» (стр. 198, 200). В разделе, в котором рассматривается употребление одного времени вместо другого, не указывается на употребление прошедшего времени вместо настоящего или будущего [ср. *Сэн данышмырсан мэн хетдим* «Раз ты не разговаривашь, то я ухожу» (дословно: «...я ушел») и пр.]

Не четок критерий, которым руководствуются авторы при выделении категории вида. На материале азербайджанского языка эта категория понимается слишком широко; под нее подводятся и некоторые деепричастные формы на -али/-эли (стр. 210 и др.). Не вскрыта специфика образования вида аналитическим путем. Чисто лексические сочетания не отграничиваются от видовых. В разделе «Залог» (стр. 179—190) недостаточно внимания уделено характерным особенностям этой категории в азербайджанском языке. Не излишне было бы остановиться на лексикализовавшихся формах взаимного, понуцительного залогов (ср. *дейшмэк* «сориться», *галдырмак* «поднять» и т. д.).

В грамматике наблюдается иногда, с нашей точки зрения, неправильная трактовка тех или иных грамматических категорий. Так, неоднократно на страницах работы мы встречаем указание на то, что в «морфологическом отношении имена существительные и прилагательные ничем не отличаются» (стр. 84 и др.). Вряд ли авторы грамматики будут отрицать наличие в азербайджанском языке целого ряда морфологических показателей для имени прилагательного. Конечно, справедливо и то, что формальное разграничение между существительным и прилагательным можно провести не всегда, но отрицать его совсем было бы неверно. Вместе с тем авторы допускают противоречие. Качественные прилагательные типа *яши* «хороший», *хундур* «высокий» считаются «подлинными прилагательными» (стр. 122). В отношении этого типа прилагательных мы разделяем точку зрения Н. К. Дмитриева, с предельной ясностью изложенную им в его Грамматике башкирского языка: «...качественные прилагательные тюркских языков, строго говоря, можно было бы обозначить такой формулой: „прилагательно-существительно-парче“. Само собой разумеется, что в таком виде эта формула приемлема только для отдельного слова, стоящего вне предложения, ... в предложении же это слово осознается по какой-нибудь одной из трех указанных выше возможностей». И дальше: «... в башкирском языке (как и в других тюркских) категории качественных и относительных прилагательных являются неграмматическими категориями»¹.

В разделе, посвященном категории наклонения, непонятна причина отнесения к категории желательного наклонения конструкции с модальным словом *хэрэк*, явно тяготеющей к категории долженствовательного наклонения (стр. 204).

В грамматике постоянно смешивается условное наклонение с условной модальностью (стр. 202 и др.). С другой стороны, от разнообразных форм модальности не отграничивается категория времени (стр. 199, 200, 202). Так, прошедшее время на -мыш отожествляется с модальностью на -мыш. Образования типа *билдирмиш*, *билмишмиш* рассматриваются как самостоятельные формы прошедших времен. Авторы не учитывают, что аффикс модальности -мыш, присоединяясь к разнообразным временным основам, имеет исключительно модальное значение, сообщая оттенок неуверенности в совершении действия, проницательного отношения к совершению действия и т. д. Вызывает недоумение, что на стр. 266 союз *ки* рассматривается как аффикс: «Эти союзы (речь идет о русских союзах *лишь*, *лишь только*) могут быть переданы по-азербайджански и аффиксом -ки, стоящим при сказуемом, выраженном глаголом. Ср. *Музаллим китабы алмышды ки, ушагал сакит олдулар өз гезрати динләмэй хазырлашдылар*».

¹ Н. К. Д м и т р и е в. Грамматика башкирского языка, М.— Л., 1948, стр. 84.

Читатель вправе требовать от составителей грамматики более глубокой и научной постановки в отношении целого ряда вопросов. Очень поверхностный характер носит раздел, посвященный фонетическому строю сравниваемых языков. Характеристика специфических гласных обоих языков сводится фактически к описанию условий их образования. Это, конечно, важно и нужно. Однако интерес представило бы и описание их позиционного употребления. Нам представляется, что необходимо было бы остановиться на позиционном употреблении таких гласных звуков, как *э, о, у, е, ү*. Авторы обошли в грамматике и такую главнейшую особенность азербайджанской фонетики, как сплгармонизм. Не ставится вопрос о дифтонгах и долгих гласных.

В разделе «Повелительное наклонение» (стр. 201) не затрагиваются вопросы о модальных оттенках, императивных словах, сообщающих формам повелительного наклонения модальные оттенки решительной воли, приказаний, допущения действия. Ставя вопрос о предлогах, следовало бы показать, когда им на азербайджанской почве соответствуют послелогии, а когда система надежных аффиксов. В целом удачно построен раздел, посвященный союзам. Однако не отмечена возможная многозначность в отношении азербайджанских союзов (ср. союз *ки*). Когда говорится об азербайджанском соответствии русским союзам *чтобы, дабы*, отмечается только союз *үчүн*. Надо было бы упомянуть и о конструкции союза *ки* с формой повелительного, желательного наклонения.

Весьма конспективно изложен раздел «Бессоюзное сложноподчиненное предложение» (стр. 373—374). Не показаны возможные средства связи между предложениями, входящими в состав бессоюзного сложноподчиненного целого. Не в полной мере вскрываются грамматические средства соединения предложений и в союзных придаточных предложениях. В придаточных предложениях условных не указывается на существование закономерности в употреблении времен. Вызывает недоумение, почему в грамматике не рассматривается тип придаточных предложений относительных. По нашим наблюдениям, этот тип существует в обоих языках.

В пределах одного раздела авторы обнаруживают иногда непоследовательность в выделении тех или иных положений. При выделении одних видов придаточных предложений учитывается роль соотносительных слов (ср. придаточные сказуемые — стр. 361), а при других — не учитывается (ср. придаточные сравнительные — стр. 363, придаточные следствия — стр. 365).

Большим упущением в рецензируемой работе нам представляется то, что авторы четко не ограничивают ту или иную грамматическую категорию от неграмматических средств передачи ее на материале сопоставляемого языка.

Иногда под то или иное русское предложение подводится несколько возможных азербайджанских эквивалентов. При этом не учитывается, что эти азербайджанские соответствия не тождественны между собой, а каждый имеет особые дополнительные оттенки. Так, на стр. 268 в связи с русским предложением *Всякое дело надо делать хорошо, если можно за него* приводится несколько возможных азербайджанских соответствий, которые, однако, не тождественны и нуждались бы в пояснении.

Своими критическими замечаниями мы не хотим умалять ту практическую пользу, которую принесет истинная грамматика как работникам средней и высшей школы, так и переводчикам. Наша задача — помочь авторам устранить в следующем издании этой грамматики недостатки и улучшить первое издание.

Н. З. Гаджиева

«Известия Крымского нед. ин-та им. М. В. Фрунзе». Т. XIX. Кафедра русского языка. — Симферополь, Крымиздат, 1954, 395 стр.

Среди трудов педагогических институтов, изданных в последнее время, хорошее впечатление оставляет сборник, подготовленный кафедрой русского языка Крымского педагогического института. В сборник вошли работы четырех языковедов, посвященные вопросам грамматики, истории русского литературного языка и стилистики, лексикологии и методике преподавания русского языка. В. Н. М и г р и н выступил со статьей «Разные виды трансформации придаточного и главного предложений в русском языке», А. И. Г е р м а н о в и ч поместил три статьи: «Заметки о языке и стиле Н. В. Гоголя», «Слова кличка и отгона животных в русском языке» и «Из наблюдений над словарной работой в школе», В. П. У т к и н о й принадлежит статья на тему «Лексика ранних повестей Н. М. Карамзина и В. Н. Михайлова — «Язык романа А. С. Пушкина „Евгений Онегин“ (Из опыта работы в школе)».

Статья В. Н. М и г р и н а «Разные виды трансформации придаточного и главного предложений в русском языке» состоит из трех глав. Первая глава посвящена

разным видам трансформации придаточного предложения (в местоимение или местоименные сочетания, в неопределенно-количественные числительные, в фразеологизм с утраченной или неутраченной предикативностью). Вторая глава посвящена вопросу о разных видах трансформации главного предложения (в местоименную морфему, в частицу, в вводное предложение или модальное слово, в союз). В третьей главе автор делает общие выводы, вытекающие из изучения вопроса о разных видах трансформации главного и придаточного предложения и приводит схему разных видов трансформации главного и придаточного предложений.

Работа В. Н. Мигирина очень интересна и оригинальна. Автор статьи обратил внимание на такое явление в структуре русского языка, которое еще не подвергалось исследованию. Правда, Ф. И. Буслаев описал некоторые случаи такого преобразования¹ или, как выражается В. Н. Мигирин, качественного перехода одних форм языка в другие. Автор в своей статье иллюстрирует этот процесс большим, хорошо подобранным языковым материалом, относя сюда выражения типа: *кто-либо, кто-нибудь, как следует, как придется, что угодно, кого хочешь, куда пошло, за кого пошло, чорт знает, как следует, кто мог, как можно, кого знаешь* и др.

Проследивая процесс трансформации придаточного предложения в местоимение, В. Н. Мигирин приходит к интересному и правильному выводу, что «формы *угодно, пошло, хочешь, следует, надо, нужно* необходимо рассматривать как складывающиеся словообразовательные морфемы местоименного класса слов» (стр. 28). Однако следует указать, что в работе не проследживается процесс образования этих морфем, а приводится лишь итог языкового развития, результат известного процесса.

Не вызывает также сомнения и правильность утверждения автора статьи, что сочетания указанных форм с местоименными корнями не имеют идиоматического характера вследствие того, что, присоединяясь к любому местоимению, эти формы не теряют своего лексического значения. Автор проявляет очень тонкую наблюдательность, различая процесс оформления местоимений из сочетаний *кто мог, что мог, где мог, как мог, куда мог* и т. д. от выражений типа *сколько влезет, в котором слово влезет* нельзя считать уже сложившейся морфемой. Как же представляет себе автор процесс трансформации придаточного предложения в местоимение? Он полагает, что «начальным этапом трансформации придаточного предложения является приобретение конкретным придаточным предложением значения, близкого к значению отдельного слова. Конечным этапом в ряде случаев являются преобразования материального характера... Между этими двумя крайними точками может быть много переходных случаев» (стр. 30). Так, например, он указывает, что местоимения *кто-нибудь, какой-либо, какой-нибудь* приобрели все свойства агглютинативной морфемы, так как: 1) их невозможно переставить, 2) нельзя разъединить другими знаменательными словами, 3) нельзя соединить в отдельности с новыми единицами, 4) вторая часть сложения не может изменяться, 5) составные части не могут находиться одновременно в связях с несколькими другими элементами, 6) они не могут нести на себе логического ударения и не разделяются паузой.

В. Н. Мигирин показывает в своей статье, что придаточные предложения трансформируются не только в местоимения, но и в неопределенные числительные: *сколько хочешь, сколько угодно* (в народном языке *сколько нать*), *сколько следует* и др. Затем показано, как придаточные предложения превращаются в фразеологизмы, которые автор считает конечным продуктом трансформации. Местоименные выражения он рассматривает как один из этапов на пути трансформации придаточного предложения.

К фразеологизмам, образовавшимся из придаточных предложений, В. Н. Мигирин относит следующие сочетания: *кто придется, каких свет не виднеть, что ни попадись, е чем мать родила, куда глаза глядят, сколько душе угодно, хоть глаз выколи, хоть авались, что есть силы* и др. Встает вопрос, почему автор решил, что эти фразеологизмы образовались из придаточных предложений. Оказывается, только на том основании, что в начале этих устойчивых словосочетаний имеется союз. Нам представляется, что одного этого признака недостаточно, тем более, что во многих фразеологических сочетаниях союз отсутствует.

В заключительной части первой главы В. Н. Мигирин кратко суммирует доказательства того, что придаточное предложение путем абстрагирования — утраты лексического значения и грамматической определенности — переходит в слово. Но с одной мыслью в заключении нельзя полностью согласиться: вряд ли можно считать правильным, что «между предикативной единицей (главным или придаточным предложением), словом и морфемой в языке нельзя провести абсолютной границы» (стр. 47). Конечно, «абсолютной» границы провести нельзя, так как все это языковые факты, включающиеся в общую систему языка, однако каждое явление имеет свою специфику и свою опреде-

¹ У Ф. И. Буслаева сказано: «Неопределенные местоимения и парения могут складываться с различными глаголами; напр., *чтонибудь, куданибудь, кто ни пошло, кто бы ни был, куда бы ни было, какой ни есть*, или, по старинному и народному, *какой ни-на-ест*; старинные формы: *кто ни-хотя, что ни-хотя* и нек. др.» (см. «Опыты исторической грамматики русского языка», ч. II, М., 1858, § 243, стр. 287).

личность. Поэтому смешивать, объединять в нечто единое морфему, слово и предложение ни в коем случае нельзя, да и сам В. Н. Мигирин этого не делает.

В. Н. Мигирин показывает разницу в степени совершившейся трансформации; так, например, выражения *известь*, *бознать* уже потеряли свое прежнее лексическое значение и даже изменили свою грамматическую форму. В. Н. Мигирин называет эти выражения «эмоциональными местоимениями» и указывает, что они свойственны и другим языкам. Продуктом трансформации главного предложения, по мнению В. Н. Мигирина, являются частицы: *бывало*, *случалось*, *почти что*, *почитай что*, *точно что* и т. п. Говорит В. Н. Мигирин и о том, как полнозначные предложения изменяются и переходят в слова. Эта мысль не новая и не оспаривается никем. Причины перехода полнозначных предложений в слово объяснялись по-разному. В. Н. Мигирин причиной этих явлений считает эстетические требования речи. Однако ведь не все же полнозначные предложения переходят в слова. Вернее было бы предположить, что главным фактором трансформации полнозначных предложений следует считать условия диалогической речи, в которых ситуация обуславливает лаконичность выражения.

Анализируя материалы древнерусского языка, В. Н. Мигирин приходит к выводу, что вводные слова и предложения связаны с авторской речью главным предложением. С утверждением, что «для древнерусского языка *рече* можно рассматривать как полуюформившееся модальное слово, учитывая его неизменяемость по глагольным категориям времени, числа» (стр. 91), трудно согласиться, хотя мысль В. Н. Мигирина о том, что многие модальные слова можно возводить к главному предложению, на наш взгляд, правильна; ср. *известно*, *видно*, *ясно*, *естественно*, *ясное дело*, *понятно*, *кажется* и т. п. Такие слова могут образовывать безличные предложения, в которых нужно прибавлять придаточные для ясности мысли. Не вызывает сомнения мысль В. Н. Мигирина и о том, что слова, образующие слово-предложение, могут переходить в союзы, например: *правда*, *благо*.

Четкой и убедительной кажется и третья глава, подводящая итоги изучения интересного вопроса о разных видах трансформации главного и придаточного предложений. В. Н. Мигирин справедливо указывает, что вопросом преобразования одного языкового факта в другой занимаются мало. Между тем язык развивается не только путем словообразования, посредством суффиксации и префиксации, словосложения, но и путем перехода отдельных частей речи в другие, когда на основе новой синтаксической роли возникает омонимия частей речи.

Положительно оценивая статью В. Н. Мигирина, хотелось бы пожелать, чтобы в его работе материал был приведен в более строгую систему. У автора нет четкой классификации собранных им фактов трансформации предложений в слова.

Статья А. И. Германовича «Заметки о языке и стиле Н. В. Гоголя» содержит некоторые интересные и тонкие наблюдения, но не дает цельного представления о языке Н. В. Гоголя. Многозначность статьи помешала автору сделать определенные обобщения. А. И. Германович стремится показать: 1) как Гоголь изучал народный язык, 2) как писатель боролся за народные основы русского литературного языка, 3) как он улучшал и совершенствовал свой стиль, какие отбирал слова и выражения, открывая все новые и новые возможности в неисчерпаемых запасах народного языка для своей социальной сатиры. А. И. Германович отмечает народные слова, вводимые Гоголем в художественное произведение, например: *кирченая изба*, *скалдырник*, *угол* (в значении «двадцать пять рублей»); показывает, как Гоголь включал в повествование украинские поговорки и пословицы, освобождал свой язык от иностранных слов, повторов, канцелярских оборотов и т. д.

А. И. Германович показывает, как эти средства углубляет Н. В. Гоголь характеристику персонажей, но почему-то больше подчеркивает употребление глаголов, полагая, что именно глагольная синонимия согласуется с сатирическими характеристиками. Вызывает сомнение, что именно глаголы способны выразить наиболее ярко иронию и сарказм. Почему только глаголы стали средством, «характеризующим речь и мышление обывателей» (стр. 131)?

А. И. Германович выявляет также способы выражения иронического отношения Гоголя к своим персонажам (от легкой иронии до глубокого сарказма). Автор статьи отмечает высокое искусство Гоголя в индивидуализации языка действующих лиц. Но А. И. Германовичу не удалось вычлечь и ярко показать все приемы Гоголя. Часто он сбивается на характеристику самих героев, исходя из оценки их поступков, а не их языка; например, Чичиков «вползает в круг саванников», «очень искусно умеет польстить каждому», «лытит искусно, угождает умело», «приятно спорит», «мастер притворяться». Это раскрытие образа с точки зрения литературоведа, а не лингвиста. И надо сказать, что литературоведы это делают лучше. Поэтому следовало бы сначала нарисовать образ Чичикова, исходя из его языка.

В этой же статье А. И. Германович сравнивает язык Гоголя разных редакций. Но выхваченные отдельные места не показывают всей картины текстологической работы Гоголя над языком. Поэтому заключение автора, что «эта блестящая тирада стоила автору большого труда» (стр. 160), не совсем правильно характеризует работу Гоголя над языком.

Многоплановость статьи лишила ее монолитности и обстоятельности. В ней сказано понемногу о многих вопросах. Так, например, можно наблюдать быстрые переходы от одной темы к другой. Только что кончил говорить А. И. Германович о способах типизации языка действующих лиц, как уже всплывает новая тема: ритмичность, музыкальность речи самого Гоголя. Сказав несколько слов об интонации, автор переходит к лирике описания Днепра; изучение лирики авторских отступлений, пафоса и лирики языка («Руси-тройки») — опять новая проблема. Ритмо-мелодический рисунок этих мест поэмы требует более глубокого и специального изучения. Синтаксис поэтической речи отмечен также бегло и фрагментарно.

В выводах, сделанных А. И. Германовичем, суммированы все средства языка без разграничения. Было бы лучше, если бы А. И. Германович разграничил лексические и синтаксические средства языка, используемые Гоголем для сатирическо-пропиеческого описания действующих лиц.

В общем статья вызывает двойственное впечатление: интересны тонкие наблюдения и подмечаемые особенности гоголевского языка, в большинстве случаев свеж и материал; но композиционная нестройность, многоплановость статьи вызывает чувство досады.

А. И. Германовичем написана также статья «О словах клича и отгона животных в русском языке». В начале статьи говорится о значении животных и животноводства в жизни человека. А. И. Германович указывает, что в названиях животных отразилась история их приручения и распространения. Слова клича и отгона — особый разряд междометий. А. И. Германович связывает их с названиями животных и птиц, отвергая предположение об их образовании в процессе звукоподражания. Автор убедительно доказывает, что многие слова клича образовались путем усечения слова, которым называли животных.

А. И. Германович приводит большое количество слов отгона и призыва животных из диалектов, доказывая, что многие из этих слов связаны также с названием животных и птиц. Но вряд ли прав А. И. Германович в том, что слова «призыва» птиц нельзя соотносить со звукоподражанием. Он утверждает, что эти слова образовались от слов-названий, между тем некоторые названия птиц и животных были образованы человеком на основе тех звуков, которые произносились этими животными или птицами, т. е. на основе звукоподражания. Таким образом, в статье многое кажется и спорным и малоубедительным, хотя автор привлекает большой материал, который проливает свет на природу слов отгона и клича животных.

Статья В. П. Уткиной «Лексика ранних повестей Н. М. Карамзина» ставит задачу проследить, как формируется своеобразие языка и стиля художественного произведения и через какие формы проявляется мировоззренческая направленность стиля писателя. Автор дает очень краткий очерк исторического периода, в который писал Карамзин. Затем также кратко излагаются политические взгляды Карамзина и его мировоззрение, а затем рассматривается лексический состав ранних повестей Карамзина, причем автор традиционно разграничивает восточнославянскую, старославянскую и заимствованную лексику. Старославянизмам автор уделяет большее внимание, так как, по его мнению, этот вопрос освещен в нашей литературе недостаточно четко. В. П. Уткина делит славянизмы на три группы: 1) общеупотребительную лексику, 2) специфически церковную, 3) стилистически обусловленную.

На основании рассмотрения этих лексических пластов автор приходит к выводу, что Карамзин не пренебрегал славянизмами. Затем с чисто стилистической точки зрения В. П. Уткина делит всю лексику на sentimentalную и несentimentальную, затем sentimentalную еще делит на специфически-поэтическую и sentimentalно-романтическую, в которой выделяет слова с уменьшительными и ласкательными суффиксами. Сама В. П. Уткина указывает, что в ее анализе пересечаются разные принципы классификации. Вряд ли она права, выделяя отдельно эти слова как sentimentalные. Окраску слово приобретает часто только в контексте. Даже слова *печаль*, *тоска* могут быть лишены эмоционального значения, когда они становятся терминами, например, в учебнике психологии.

Затем автор перечисляет бытовую, просторечную и отдаленную лексику. Однако анализа лексики произведений Карамзина в работе нет. Представлено лишь распределение слов по общим группам. Вывод автора о том, что Карамзин не пренебрегал славянизмами при создании определенного стиля, следует признать убедительным.

Несмотря на ряд недочетов, В. П. Уткина сделала полезное дело, хотя и не вполне справилась со своей задачей. Лексика произведений Карамзина представлена четко, но без надлежащего анализа различных лексических групп. Автору удалось показать связь отбора лексики Карамзиным для своих произведений с его мировоззрением. Статья будет полезна для учителей русского языка и литературы в школе.

Статья А. И. Германовича об опыте крымских учителей по работе над словарем в школе, а также статья В. П. Михайлова об изучении языка нации классиков в школе имеют методический характер.

В заключение необходимо указать на тщательность в подготовке материала большинством авторов, свежесть и новизну материала, должную осведомленность в том, как

ставятся и какое намечается решение тех вопросов, о которых пишут авторы сборника, методическую четкость поставленных авторами вопросов языковедения. Вместе с тем в отдельных статьях сборника содержится немало спорного и не доказанного. Эти недочеты ни в какой мере не уменьшают интереса к сборнику в целом и к каждой статье в отдельности и вряд ли могут изменить общее хорошее впечатление. Сборник с интересом прочтут учителя, аспиранты и научные работники.

Е. М. Галкина-Федорук

ПО ПОВОДУ РЕЦЕНЗИИ К. А. ЛЕВКОВСКОЙ НА КНИГУ М. Д. СТЕПАНОВОЙ

В одной из своих последних работ Л. В. Щерба писал по поводу определения слова: «В самом деле, что такое „слово“? Мне думается, что в разных языках это будет по-разному. Из этого собственно следует, что понятия „слово вообще“ не существует»¹.

Эти слова часто цитируются и подвергаются резкой критике, а между тем они, хотя и в парадоксальной форме, содержат верную мысль о том, что критерии определения слова могут варьироваться от языка к языку, видоизменяясь в соответствии с общими закономерностями, действующими в пределах данного языка.

* Характерно, что именно эту мысль подчеркивал и один из наиболее последовательных оппонентов Щербы в этом вопросе А. И. Смирницкий: «Выясняя, что такое слово „вообще“, мы стремимся к разграничению общих признаков слова и частных особенностей, которыми могут сопровождаться эти общие признаки в том или другом языке. Наблюдая эти частные особенности слова в отдельных языках, мы, естественно, обратим внимание на то, что в одних языках эти особенности дополнительно характеризуют слово в отличие от других языковых образований, тогда как в иных языках имеются такие особенности, которыми грань между словом и другими образованиями, напротив, стирается»².

Расчленение всех отличий слова от близких к нему образований на общие и частные весьма плодотворно и несомненно должно учитываться при анализе вопросов, так или иначе связанных с проблемой слова. Но при этом нельзя забывать диалектическую связь общего и частного: ведь общее проявляется через частное, а значит частное в какой-то мере влияет на общее. Ниже мы попытаемся показать, что такой важный общий критерий, выдвинутый А. И. Смирницким, как цельность и оформленность слова, выявляется по-разному и получает разное значение в сложных словах немецкого и русского языков.

Проблема соотношения сложного слова и словосочетания особенно актуальна для немецкого языка в связи с широким развитием, которое получило в нем словосложение и в особенности образование «определятельных сложных слов» (Bestimmungszusammensetzungen — примером их может служить и сам термин).

Как же разбирается эта в сущности центральная проблема немецкого словообразования в опубликованной недавно монографии М. Д. Степановой «Словообразование современного немецкого языка»? В рецензии К. А. Левковской по этому поводу сказано следующее: «Различие между определятельным сложным словом и соответствующим словосочетанием недостаточно выявляется автором, так как даже в специально посвященном сопоставлению сложного существительного и соответствующего словосочетания параграфе (§ 83, стр. 121—124) вопрос этот рассматривается, в основном, в плане семантическом, с точки зрения понятий, выражаемых компонентами сложного существительного и всем словом в целом. Различие в строении между сложным словом и словосочетанием оставлено при этом в стороне. Да и сама семантика сложного слова рассматривается недостаточно углубленно, так как не дается сколько-нибудь детального анализа взаимоотношения компонентов сложного слова по сравнению с компонентами словосочетания и недостаточно учитывается специфика, связанная с целью оформленностью сложного слова»³ (разрядка моя. — И. Р.).

В дальнейшем мы попытаемся разобраться, насколько эти замечания справедливы. Пока отметим следующее: в начале своей рецензии К. А. Левковская говорит, что она не будет касаться вопросов дискуссионных и укажет только на ряд «недостатков, никак не связанных с дискуссионностью каких-либо вопросов или с неразработанностью тех или иных проблем» (рец., стр. 145).

¹ Л. В. Щерба, Очередные проблемы языковедения, ИАН ОЛЯ, 1945, вып. 5, стр. 175.

² А. И. Смирницкий, К вопросу о слове, сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языковедению», М., 1952, стр. 183.

³ ВЯ, 1955, № 1, стр. 150. (В дальнейшем ссылки на рецензию К. А. Левковской даются в тексте в скобках.)

У читателя сразу возникает недоуменный вопрос: неужели все перечисленные выше вопросы К. А. Левковская считает окончательно решенными, не допускающими какой-либо дискуссии? Ведь в немецком словообразовании нет более сложного и противоречивого явления, чем соотношение сложного слова и словосочетания.

В своей книге М. Д. Степанова и пытается показать сложность этой проблемы. В отличие от К. А. Левковской, для которой интересующий нас вопрос решен уже раз и навсегда, М. Д. Степанова подчеркивает, что «этот вопрос чрезвычайно труден и не может быть решен одинаково для всех сложных слов данного (определяющего. — И. Р.) типа»¹. Далее М. Д. Степанова говорит о том, что «степень семантического расхождения между сложным словом и соответствующим словосочетанием различна и зависит от степени пересмысления компонентов сложного слова» (кн., стр. 122). В книге приводятся интересные наблюдения над расширением значения первого или второго компонента, его более абстрактным значением, что несомненно способствует семантической снаниости обоих компонентов (ср. приводимые примеры: *Wagen* и *Hewwagen*, *Kleid* и *Sonntagskleid*, *Golduhr* и *Gold* и т. п.).

Особенно важна подчеркиваемая автором особенность современного немецкого языка, состоящая в том, что «в некоторых случаях» (можно было бы даже сказать: «в очень многих случаях») семантического расхождения между словосочетанием и сложным словом нет или оно «очень незначительно» (см. там же). Это факт исключительно важный для понимания особенностей немецкого языка. Очень часто мы рядом, в одном тексте встречаем *Rat der Außenminister* и *Außenministerrat* «совет министров иностранных дел», *Minister der Justiz* и *Justizminister* «министр юстиции», *Freundschaft der Völker* и *Völkerfreundschaft* «дружба народов»² и т. п. Здесь налицо явное противоречие между формой и содержанием, обратное тому, какое наблюдается в случае устойчивого словосочетания.

М. Д. Степанова пишет: «Легкость образования определительных сложных существительных ведет к тому, что они, являясь по форме монолитными лексическими единицами, часто по значению соответствуют словосочетаниям. В последнее время эта тенденция проявляется достаточно четко. Ср., напр.: *Klemms eigener Chauffeur sollte unterdes das Gefangenenauto übernehmen...* а шофер Клемма поведет машину, в которой везли пленного» (кн., стр. 134—135).

Пример этот вызывает особенно резкую критику К. А. Левковской, которая усматривает в толковании слова *das Gefangenenauto* «машина, в которой везли пленного» прежде всего смешение значения слова и его употребления. Рецензент, повидимому, не признает, что слово это, создано писателем именно для данного контекста, и потому употребление его здесь совпадает со значением. Нельзя согласиться и с тезисом К. А. Левковской, что «перевод на другой язык вообще не является каким бы то ни было доказательством» (рец., стр. 151). Перевод ничего не может дать для раскрытия структуры сложного слова, его формальных особенностей; что же касается его семантического раскрытия, то перевод может и должен помочь нам.

Основной упрек, который К. А. Левковская делает автору книги «Словообразование современного немецкого языка», состоит в том, что в книге слишком большое внимание уделяется семантической структуре сложного слова, не учитываются его формальные отличия от словосочетания. Упрек этот справедлив лишь отчасти. М. Д. Степанова все время подчеркивает спаянность элементов сложного слова, в частности в связи с наличием централизующего ударения в сложном слове. Однако К. А. Левковская считает, что этого недостаточно. Она все время требует проведения анализа сложного слова с точки зрения критерия цельноформленности. Приведенный пример со словом *Gefangenenauto* она предлагает разбирать так: «Первый компонент этого (цельноформленного) сложного слова — основа, в которой отсутствует грамматическое оформление, характерное для слова...» (рец., стр. 151). Теперь становится ясным, что К. А. Левковская имела в виду, говоря в начале рецензии о «недискуссионности» и «решенности» ряда вопросов. Она в сущности требует, чтобы слова типа *Gefangenenauto* разбирались в немецком языке так, как А. И. Смирницкий разбирает в русском языке слова *датско-норвежский*, *овцебык*, *пароход*³. Здесь в сущности выдвигается требо-

¹ М. Д. Степанова, Словообразование современного немецкого языка, М., 1953, стр. 121—122. (В дальнейшем ссылки на книгу М. Д. Степановой даются в тексте в скобках.)

² В подобных случаях можно было бы говорить о своеобразной лексико-грамматической синонимии, имея в виду, что в качестве синонимичных образований и слово, и словосочетание выступают здесь как лексико-грамматические единицы. Однако вопрос этот требует специального рассмотрения.

³ «Здесь вторые компоненты, рассматриваемые сами по себе, казалось бы, выделяются в речи как отдельные слова: *норвежский*, *бык*, *ход*; но будучи связаны с такими первыми компонентами, как *датско-*, *овце-*, *паро-*, которые не оформлены как отдельные слова (что ясно воспринимается на основе их сопоставления с *датский*, *-ая*, *-ое*, *овца*, *овцы*, *пар*, *пара* и пр.), они и сами теряют характер отдельных слов» (А. И. Смирницкий, указ. соч., стр. 194).

вание, чтобы все вопросы словообразования немецкого языка излагались «по Смирницкому». Между тем такая трактовка связана по меньшей мере со значительными трудностями. Дело в том, что в таких соединительных элементах немецких сложных слов, как *-en-* и *-s-* для основ слов мужского рода, еще чувствуется (для различных категорий слов с большей или меньшей степенью отчетливости) определенная связь с флексией родительного падежа. Сравнивая такие пары, как *des Friedens Bollwerk* (в высоком стиле) и *das Friedensbollwerk* («плот мира») или *des Kriege(s) Gewölk* и *das Kriegserwölk* «тучи войны», мы с трудом можем рассматривать первый компонент как лишенный цельного оформления. Конечно, в ряде других случаев мы гораздо явственней чувствуем обособленность соединительного элемента, а в связи с этим неформальность первого компонента (в первую очередь это относится к соединительному элементу *-s-* после основы женского рода типа *Regierungswchsel*). И несомненно, что на фоне подобных случаев *-s-* (или *-en-*) воспринимается именно как соединительный элемент и в остальных случаях. Тем не менее определенности соотносительности первого элемента с формой родительного падежа не может не учитываться при анализе немецких сложных существительных, и, повидному, именно наличие такой соотносительности объясняет легкость образования сложных слов типа *Friedensbollwerk* из сочетаний типа *des Friedens Bollwerk*.

Еще менее оправдан анализ, исходящий из критерия цельнооформленности, для слов типа *Armesünderglockchen*, *Armeleutehaus*, *Gutenachtkuß*, *Tagundnachtgleiche*. Как говорит М. Д. Степанова, здесь «члены первого компонента обнаруживают склонность к заставанию в определенной грамматической форме (обычно именительного падежа)...» (кн., стр. 140). Говорить здесь о сложных основах, а *e-* или *-en-* рассматривать как соединительные элементы (именно это в сущности предлагает рецензент для подобных случаев) — значит допускать явную натяжку.

Как, наконец, разбираться, исходя из критерия цельнооформленности, случаи, когда один из компонентов сложного слова как бы «обслуживает» компоненты двух или больше слов; ср.: *Mittel- und Hochschulen* «средние школы и высшие учебные заведения» или, когда часть сложного слова выступает одновременно в том же самом предложении как самостоятельное слово, например:

... Und kommt
Die Schwester von Urbino und kommt sie fast
So sehr um *deini-* als der Geschwister willen
(Goethe, Torquato Tasso)

«... а если сестра Урбино и придет, то придет она, пожалуй, столь же ради тебя, сколь и ради брата и сестры».

Применив здесь критерий цельнооформленности, мы можем дойти до утверждения, что *deint* здесь отдельное слово, раз *willen* цельнооформлено. Между тем *dein(e)t-* здесь неотъемлемая часть слова *dein(e)twillen*.

Действительный недостаток соответствующих разделов книги М. Д. Степановой состоит в том, что вопросы, касающиеся структурных особенностей первого компонента сложного слова, не сформулированы достаточно четко, в связи с чем они и не могут служить подлинной основой для дискуссии; но нельзя не видеть заслуги автора в том, что он стремился отобразить реальные противоречия языковой действительности, а не навязывать языку мертвые схемы.

Главное достоинство книги М. Д. Степановой состоит в том, что через всю книгу красной нитью проходит мысль о тенденции к стягиванию словосочетаний, к образованию сложных слов как существенной особенности словообразования именно немецкого языка. В этом отношении особенно важен вывод о том, что «словосложение как бы проникает в область других способов образования лексических единиц, стягивает их в сферу своего влияния, становится центром словообразовательной системы немецкого языка в целом» (кн., стр. 364).

Вывод о тенденции стягивания словосочетаний вполне согласуется с общими тенденциями в немецком языке ко все более монолитному оформлению группы существительного к монофлексии, но все меньшей самостоятельности подчиненных членов в группе существительного¹. В сущности, стягивание двух слов в одно в группе существительного представляет собой логическое завершение указанных выше тенденций.

М. Д. Степанова прослеживает действие этих тенденций внутри словообразовательной системы немецкого языка. Она поднимает очень интересный, хотя во многом еще дискуссионный вопрос о полуаффиксах, компонентах, как бы застывших на полпути к превращению в аффикс. К. А. Лепковская с порога отвергает всякую мысль о полуаффиксах: «частей слова, которые не были бы ни основами, ни аффиксами, в языке вообще не существует» (ред., стр. 148). Итак, или основа, или аффикс — *tertium non datur*.

¹ См. В. Г. Адмони, О некоторых закономерностях развития синтаксического строя, Доклады и сообщения [Ин-та языкознания АН СССР], V, М., 1953.

Из истории немецкого языка известно, что ряд современных суффиксов, например, *-heit*, *-schaft*, образовался из самостоятельных слов, ставших компонентами сложного существительного. Это факт, которого никто не отрицает. Возникает, однако, вопрос, каким образом происходил процесс перехода этих элементов из одного качества в другое: путем скачка (из компонента сложного слова в аффикс) или постепенно, через какую-то промежуточную стадию. Если мы придерживаемся принципов марксистского языкознания, то мы должны, по видимому, признать, что в течение какого-то довольно длительного периода (по традиционной хронологии приблизительно совпадающего с древневерхнемецким) существовало образование, промежуточное между основой и аффиксом, и что принципиально в признании этого факта нет ничего порочного. Будем ли мы называть эти промежуточные образования «полуаффиксами», как предлагает М. Д. Степанова, или как-то иначе — это вопрос терминологии. Сущность же спора состоит в другом. М. Д. Степанова считает, что процесс перехода основ в аффиксы продолжается и в современном немецком языке, причем целый ряд образований как бы «застывает» на этом промежуточном этапе; К. А. Левковская, сколько можно судить по рецензии, отвергает такую возможность. Обе точки зрения остаются дискуссионными, но всякому, кто непредубежденно подходит к фактам живого языка, ясно, что точка зрения М. Д. Степановой более соответствует общим закономерностям именно немецкой языковой системы и особенно тенденциям «стягивания».

Необходимо, однако, сделать одно уточнение. Говорить о тенденции «стягивания», о «центростремительных силах» в немецком языке можно только для системы имени, в то время как в системе глагола действуют как раз обратные силы, как бы «центробежные», ведущие, наоборот, к раздваиванию слова.

Анализ слова в немецком языке подтверждает мысль А. А. Поттебни: «В русском языке, как и в других сродных, по направлению к нашему времени увеличивается противоположность имени и глагола»¹. Акад. В. В. Виноградов, приводя эту формулу Поттебни, признает, что она «...сохраняет (впрочем, с очень существенными ограничениями) свою остроту и силу для современного русского языка»². Он подчеркивает, что «контраст имени и глагола поддерживается и морфологическими отличиями в приемах словообразования»³. Конечно, в каждом языке это различие между именем и глаголом проявляется по-разному. В немецком языке оно проявляется именно в тенденции «стягивания» в системе имени и «отталкивания» в системе глагола. О первой тенденции уже говорилось, поэтому мы остановимся специально на второй.

Известно, что в немецком языке наблюдается тенденция к двухкомпонентному строению сказуемого. «Для сказуемого в немецком языке вообще характерна известная тенденция к сложному строению, т. е. к наличию в нем не одного, а двух или более слов»⁴.

Тенденция эта, синтаксическая по своему существу, проникает и в область морфологии глагола, в особенности его словообразования. Речь идет здесь о глаголах, которые по традиционной терминологии называются «глаголами с отделяемыми приставками», типа *'aufstehen* (*stehe, stand auf*), *zu'rückverlangen* (*verlang(t)e zurück*) и т. п. По своему происхождению «приставки» в этих глаголах — наречия, но в современном языке они слились в тесное единство с глаголом и воспринимаются как часть слова. В силу общей тенденции «отталкивания» в системе глагола элементы *auf*, *zurück* и т. п. в личной форме глагола в самостоятельном предложении оказываются отделенными от основы глагола, в то время как в именных формах выступают с ним как единое целое (только частица *zu* в определенных случаях употребления инфинитива и формант *ge-* в причастии II вклиниваются между этим элементом и основой глагола).

Глаголы типа *'aufstehen* легли камнем преткновения на пути защитников цельно-оформленности как критерия, без которого слово уже не является словом, а становится чем-то иным. И вот появились всевозможные обозначения для таких глаголов, например, «глаголы с приглагольными наречиями», «глаголы с наречными частицами», «фразеологические единицы особого типа» и т. п. Главное, чтобы эти «единицы» ни в коем случае не именовались словами⁵.

¹ А. Поттебня, Из записок по русской грамматике, I—II, 2-е изд. Харьков, 1888, стр. 534.

² В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 51.

³ Там же, стр. 54.

⁴ В. Г. Адмони, Введение в синтаксис современного немецкого языка, М., 1955, стр. 54.

⁵ Ср.: «В словарном составе германских языков широко распространены глагольные единицы, состоящие из глаголов и особых наречий, напр. нем. *aufstehen*, англ. *stand up*, шведск. *stå upp*, датск. *stå op* («вставать»). Такие образования в каждом из германских языков обнаруживают свои особенности, однако всем им свойственно то общее, что они не представляют собой цельнооформленных слов. Поэтому традиционное рассмотрение подобных единиц как слов (производных или сложных) является неправомерным» (К. С. Брыковск ий, Глагольные единицы типа *aufgehen* и типа *hinaufgehen* в современном немецком языке. Автореф. канд. дисс., М., 1955, стр. 1).

Между тем критерий цельноформленности — не единственный и не важнейший критерий слова. В одних языках он может явиться общим критерием, а в других частным. Мы не беремся судить об английском языке, на материал которого в основном опирается А. И. Смирницкий; повидимому, там критерий цельноформленности является одним из самых важных. Можно согласиться с А. И. Смирницким и относительно русского языка, хотя здесь уже намечаются некоторые ограничения. Так, В. В. Виноградов указывает: «В таких языках, как русский, отличие слова от морфемы поддерживается невозможностью вклинить другие слова или словосочетания внутрь одного и того же слова. Но все эти признаки имеют разную ценность в применении к разным категориям слов. Например, *никто*, но: *ни к кому*; *некому*, но *не у кого*; *потому что*, но: *я потому не писал, что твой адрес потерял* и т. п. (ср. *есть где*, но: *негде*, *недоровится*, но: *не очень доровится* при отсутствии слова *доровится*, и т. п.)»¹. Что же касается немецкого языка, то в нем признак цельноформленности имеет ценность только там, где он в противоречит описанным выше тенденциям, производящим всю языковую систему.

Глаголы типа *aufstehen* остаются единичными словами, несмотря на свою раздельно-формленность. Первые компоненты их гораздо ближе к подлинным префиксам, чем к каким-либо частям застывшего фразеологического сочетания. Они, как правило, легко выделяются при морфологическом анализе, причем в как какие-либо части или частцы речи, а именно как подлинные словообразовательные форманты². Не случайно грамматическая традиция относит их к приставкам. Термин «отделяемые приставки» в принципе вовсе не так плох.

В такой науке, как языкознание, нельзя не принимать во внимание и того, как воспринимают данное образование члены языкового коллектива, говорящего на данном языке. Следует считать с тем, что грамматисты, родным языком которых является немецкий (например, Гримм, Вильманс, Пауль, Хенцен), воспринимают образование типа *aufstehen* как слова. Необходимо в какой-то мере принимать во внимание и написание этих глаголов (например, в придаточном предложении). Но, конечно, главное здесь в том, что по своей смысловой структуре глаголы типа *aufstehen* весьма близки к глаголам типа *bestehen*. Этим объясняется в сущности одно из живых противоречий словообразовательной системы немецкого глагола, в которой, несмотря на господствующую и очень устойчивые тенденции «отталкивания», ряд глаголов переходит из одного словообразовательного типа в другой: например, в *übergeben*, *überlassen*, *übertragen* первый компонент раньше отделился, теперь же неотделим и в личных формах³, а в некоторых случаях до сих пор наблюдаются колебания (с *durch-*, *über-*, *um-*, *wider-*). Иногда, наоборот, первоначально неотделимые приставки начинают отделяться, например, *miß*; ср. в разговорной речи *versteh mich nicht miß*. Все это говорит о живых связях между глаголами обоих типов и должно учитываться при решении вопроса о том, считать ли глагол типа *aufstehen* словом или фразеологической единицей. Поэтому точка зрения М. Д. Степановой, полагающей, что эти глаголы надо считать глаголами с «полупрефиксами», имеет право на существование. Конечно, она дискуссионна, в особенности если учесть, что «полупрефиксами» существительных М. Д. Степанова называет образования совсем другого типа (например, *Mordsskandal*).

Действительным недостатком книги М. Д. Степановой является то обстоятельство, что описанные выше тенденции не вскрываются автором с достаточной ясностью, хотя материал, приводимый в книге, давал возможность поставить соответствующие вопросы.

Эти тенденции и особенно контраст в этом отношении между именем и глаголом очень важны для понимания всех процессов словообразования. Особенно ярко эти тенденции проявляются при образовании неологизмов, например, при образовании глагола от цельноформленного сложного слова. Образованный глагол при этом испытывает действие центростремительных сил, о которых говорилось выше, и часто оказывается разорванным. Так, Маркс образует от существительного *Nationalverein*, повидимому, через помет *agentis* — *Nationalvereiner*, неологизм *nationalvereiner*, внутрь которого вклинивается *zu*; ср.: «Wie Miquel und seine jetzigen Freunde die vom preussischen Prinzregenten inaugurierte «Neue Ära» am Zopf faßten, um nationalzuvereiner...»⁴

Цельноформленным слово *Nationalverein* оказалось именно в результате «стягивания», действия центростремительных сил в группе существительного (ср. *der Nationale Verein*), но как только данная основа попадает в систему глагола, она преоб-

¹ В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 10.

² Ср. глаголы типа *auffrischen*, *abästen*, *abbeeren* при отсутствии глаголов: *frischen*, *ästen*, *beeren*. Ясно, что они образованы при помощи соответствующих словообразовательных средств от именных основ.

³ См. Н. Paul, *Deutsche Grammatik*, Bd. V, Halle a / S., 1920, стр. 35.

⁴ Письмо к Ругельману от 23 февраля 1865 г. Цит. по кн.: К. Marx und F. Engels, *Ausgewählte Schriften in zwei Bänden*, Bd. II, Moskau, 1950, стр. 429.

разуется в результате действия противоположно направленных сил, и глагол становится раздельнооформленным.

Подобные явления вообще нередки в области сложных глаголов и глаголов, образованных от сложных существительных. Пауль приводит, например, следующий случай «расклинивания» глагола: глагол *lustwandeln* «прогуливаться» встречается у Гёте как в форме *lustzuwandeln*, так и в форме *zu lustwandeln*. Существительные *Schauspiel* «спектакль» послужило основой для глагола *schauspielern* (генер. чаще *schauspielen* от *Schauspieler*). Гёте употребил однажды (правда, в виде каламбура) этот глагол в раздвоенной форме: *schau zu spielen*¹.

Таким образом, приходится признать, что критерий цельнооформленности можно применять, только учитывая специфические особенности соответствующего языка.

В этом отношении очень показателен следующий пример. В русском языке получили очень широкое распространение приложения, выраженные существительными. причем оба существительных обнаруживают довольно тесное единство, что подчеркивается написанием через дефис (поэт-революционер, ученый-художник, народный-братя и т. п.). Акад. А. А. Шахматов считает, что ряд таких словосочетаний «...стоит на границе между сложным словом... и двумя словами, соединенными союзом или соединительной паузой»². Все же их приходится признавать словосочетаниями, во-первых, потому, что оба компонента сохраняют свою цельнооформленность, а во-вторых, и это главное, потому, что в системе русского языка каждое слово более автономно и в нем не проявляются так сильно силы стягивания.

В немецком языке имеются образования, внешне абсолютно идентичные с приведенными выше русскими. Тем не менее они всегда рассматриваются как сложные слова. И это вполне понятно. Во-первых, в немецком языке подобные образования очень редки и они оказываются вовлеченными в общую систему сложных существительных, а во-вторых, само это вовлечение в систему сложных существительных объясняется действующими в немецком языке и описанными выше тенденциями стягивания. Сюда относятся также существительные, как *Prinz-Regent* (пишется и *Prinzregent*), *König-Herzog* (пишется и *Königherzog*), *Königin-Mutter* (пишется и *Königinmutter*³, а также *Königin Mutter*), *Dichter-Philosoph* (пишется и *Dichterphilosoph*⁴).

Тенденция к стягиванию в немецком языке ярко проступает и в случаях превращения подлинного приложения в сложное слово. Так, например, в диалектах немецкого языка очень распространены сложные слова типа *Schreiner-Lorenz*, *Keßler-Franz*⁵ с ударением на втором компоненте вместо *der Schreiner Lorenz*, *der Keßler Franz* (или *Lorenz*, *der Schreiner* «столяр Лоренц» и *der Keßler Franz* или *Franz*, *der Keßler* «котельщик Франц»). Эта тенденция подтверждается в Бехагелем, который пишет: «В диалектной речи (*in mundartlicher Rede*) происходит стяжение (*das Zusammen-schben*) обоих членов определяющей группы в сложное слово, напр. *der Keller-Gottfried*, *de Forste-Karl*, *d' Sise-Kalls*».

Таким образом, критерий цельнооформленности, будучи общим критерием слова для одних языков, становится частным, дополнительным для других.

Мы никоим образом не хотим отрицать заслуг А. И. Смирницкого в разработке проблемы слова. Продолжая традиции лучших русских языковедов, А. И. Смирницкий внес много нового в наше понимание проблемы слова, оставив после себя интереснейшее наследие, нуждающееся в творческой разработке. Но, во всяком случае, неправомерно и противоречит всем принципам советской науки превращение системы взглядов одного ученого в некий эталон, который прилагается ко всем работам в данной области с целью проверки их научной состоятельности.

Действительные достоинства и недостатки книги М. Д. Степановой, как и любой другой работы в данной области, могут быть оценены только при условии непредвзятого подхода, признания за каждым научным работником права идти своим путем.

И. И. Резвин

¹ См. Н. Пауль, указ. соч., стр. 40—42.

² А. А. Шахматов, Слитаксл русского языка, 2-е изд., Л., 1941, § 518.

³ См. Н. Пауль, указ. соч., стр. 7.

⁴ Бехагель последний случай рассматривает как аппозицию, и подчеркивает, что «в соответствующих древнемецких примерах, повидимому, между обоими членами обязательно была пауза» (O. Beha g h e l, Deutsche Syntax, Bd. III, Heidelberg, 1928, стр. 419).

⁵ Ср. М. Д. Степанова, указ. соч., стр. 145.

⁶ См.: J. Schäffler, Das Mundartenbuch, Berlin — Bonn, 1926, стр. 109.

⁷ O. Beha g h e l, указ. соч., стр. 422.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПО ПОВОДУ РЕЦЕНЗИИ К. А. ЛЕВКОВСКОЙ

Рецензия К. А. Левковской на мою книгу «Словообразование современного немецкого языка», помещенная в № 1 журнала за 1955 г., содержит ряд критических замечаний, с которыми я не могу согласиться. Подробный ответ на все эти замечания занял бы значительное число страниц, поэтому я позволю себе остановиться лишь на тех, которые считаю принципиально наиболее существенными.

Как мне представляется, большинство обвинений, предъявляемых мне рецензентом, связано с тем, что анализируемые факты языка рецензент стремится подвести под общие схемы и формулы; между тем я ставила перед собой задачу — описать словообразование не языка вообще, а словообразование конкретное — немецкого — языка, учитывая как ведущие тенденции в его строе, так и наличие противоречий и трудно объяснимых явлений.

К. А. Левковская упрекает меня в том, что я недостаточно использовала работы зарубежных и отечественных лингвистов, в частности последние работы советских лингвистов по русскому словообразованию. Рецензент, видимо, не учитывает того, что книга задумана и выполнена как исследование словообразования именно немецкого языка. Эта задача определила круг проблем и круг непосредственно привлекаемых лингвистических работ.

Рецензент недооценивает специфику словообразовательной формы слов немецкого языка. Именно этим вызвано предъявленное мне обвинение в «непоследовательности» в применении терминов «слово» и «основа слова» при описании словообразовательных процессов. Основной причиной этой кажущейся «несогласованности» является то, что в немецком языке, в противоположность, например, русскому и английскому языкам, в ряде случаев мы имеем дело при словообразовательных процессах не с основой, а с грамматической формой слова (ср. существительные «сдвиги» типа *die Krauseminze, das Feinsliebchen, das Rührmichnichtan, der Springinsfeld*, наречия «сдвиги» *allerart, meistens, kurzerhand, währenddessen* или застывшие формы падежей, перешедшие в наречия: *abends, flugs, mitten* и т. п.).

Имеются и такие случаи, которые нельзя отнести ни к «застыванию» формы слова или словосочетания, ни к простому сложению основ, например, так называемые *Pluralkomposita*, представляющие собой продуктивный словообразовательный тип в современном немецком языке (*Plätzezahl, Gästebesuch, Völkerfreundschaft, Aktivistenkongress* и др.). Вряд ли можно говорить о том, что первый компонент таких слов представляет собой лексическую основу, соединяемую со вторым компонентом при помощи соединительного элемента.

Не могу согласиться с безоговорочным применением термина «сложная основа» к первому компоненту слова *Atrweibersommer* (рец., стр. 151), поскольку *weiber* представляет собой грамматическую форму множественного числа существительного. Следует отметить, что, polemизируя со мной по поводу трактовки данного типа сложных слов, рецензент умалчивает о приводимых мною примерах: *Armeleutehaus, Gutenachtkuß, Viergroschenbrot* и др., в которых первый компонент не может быть охарактеризован иначе как застывшее словосочетание (кн., стр. 140).

Одно из центральных мест занимает в рецензии полемика со мной по поводу «полуаффиксов». Оставив в стороне самый термин, который рецензент считает, не объясняя причин, «крайне неудачным» (рец., стр. 147), перехожу к рассмотрению его содержания.

Само явление, т. е. наличие в немецком языке таких словообразовательных элементов, которые выполняют функцию аффиксов, не теряя связи с соответствующими лексическими единицами — словами, признается не только большинством немецких лингвистов (см. работы В. Генцена, Г. Беккера и др.), но и самой К. А. Левковской, которая пишет: «...если многие производные слова теперь уже воспринимаются как корневые, то им противостоят слова, по форме своего образования сложные, но в которых одна из составляющих слово основ фактически выступает уже в роли аффикса, суффикса или префикса. Таких примеров в немецком языке имеется довольно боль-

шое количество, ср., в частности, образования с *-mann, -frau, -werk* у существительных, ...или *-reich, -voll, -los, -frei* у прилагательных...»¹

В рецензии повторяются приблизительно те же мысли: «Анализ слов с так называемыми „полуаффиксами“ ясно показывает, что это — отличающиеся определенными особенностями сложные слова, а вторые их компоненты — основы, приближающиеся до известной степени по своей функции к суффиксам» (реп., стр. 148).

Таким образом, рецензент фактически возражает лишь против того, что подобные словообразовательные средства я не считаю компонентами сложных слов обычного типа, и приводит ряд доводов, не позволяющих рассматривать их как аффиксы (реп., стр. 148). С этими доводами я полностью согласна; более того, они повторяют мои же мысли (см., например, стр. 157, 190 книги). Возражение вызывает, однако, утверждение рецензента, что соединительные элементы встречаются лишь в сложных словах (реп., стр. 148), между тем как они на самом деле встречаются и перед суффиксами; ср. *Witwentum, Heldenrum, Bauernschaft* и т. п.

Можно привести всекие доводы в пользу того, что «полуаффиксы» существенно отличаются не только от аффиксов, но и от компонентов сложных слов. Это — частота употребления, способность переходить от одной основы к другой, причем слово во всех случаях подводится под одно общее значение, как правило, отличающееся в большей или меньшей степени от значения слова, к которому восходит полуаффикс (ср. значения слов *See-, Steuer-, Kriegs-, Finanzmann* и существительного *der Mann*; значения слов *kraft-, sinn-, hilf-, mutlos* и прилагательного *los*; значения слов: *kreuzbrav-, dum-, -fidel* и существительного *das Kreuz* и т. п.).

Немаловажным является тот факт, что ряд аффиксов немецкого языка восходит к самостоятельным лексическим единицам — словам, прошедшим путь от компонента сложного слова к словообразовательной морфеме (например, такие суффиксы, как *heit, tum, schaft, lich, bar, sam*, префикс *mit* и некоторые другие). Очевидно, что такой переход не мог произойти внезапно, что ему предшествовал период, когда соответствующее словообразовательное средство, не будучи еще аффиксом, уже перестало быть компонентом сложного слова в обычном смысле этого термина. Об этом моменте рецензент умалчивает, а между тем как раз с ним в значительной мере связана моя трактовка «полуаффикса».

Необходимо отметить, что «полуаффиксы» — явление, специфичное именно для немецкого языка. Соответствующих словообразовательных средств нет, например, в русском языке. В общие схемы это явление не укладывается.

Горячее возражение рецензента вызывает отнесение к «полупрефиксам» первых компонентов глаголов типа *aufstehen* (реп., стр. 148), т. е. «наречных частиц» (термин, применяемый рецензентом). В рецензии нет определенного указания на то, чем являются глаголы подобного типа. В статье К. А. Левковской «О некоторых грамматических и лексических явлениях современного немецкого языка» эти глаголы, как и сложные глаголы типа *teilnehmen*, причислены к фразеологическим сочетаниям². С этим я не считаю возможным согласиться. В данном случае мы снова сталкиваемся с явлением, специфичным именно для немецкого языка. В русском языке нет ни сложных глаголов, подобных немецким глаголам типа *teilnehmen, stattfinden, freilassen*, ни глаголов типа *aufstehen, zumachen, auffrischen* и т. п.; нет соответствующих структурных типов глаголов и в ряде других европейских языков. Но из этого еще не следует, что в немецком языке глаголы типа *freilassen* или *aufstehen* не являются полноценными словами. В данном случае применение критерия обязательной «цельнооформленности» слова ведет к неверному, чисто формальному выводу, противоречащему не только установившейся традиции, подтверждаемой и орфографией (совместное написание в именных формах и в личных формах в придаточных предложениях), но и живым фактам немецкого языка, допускающего разрыв единой лексической единицы — глагола на две части. К. А. Левковская считает возможным отнести к словосочетаниям даже такие глаголы, как *aufmuntern*, вопреки тому, что их второй компонент не употребляется в качестве самостоятельного глагола.

Термин «полупрефикс», мне кажется, может быть применен к частицам типа *auf, zu* и т. п. по двум причинам. Во-первых, большинство глагольных префиксов (*be-, ver-* и др.) восходит к подобным наречным основам. Во-вторых, многие из таких «наречных частиц» обнаруживают тенденцию к неотделимости, т. е. к переходу в префикс (ср. *durch-, über-, unter-, wider-, um-*, а также такие случаи, как *ich anbeite in ihr das Licht* «в его лице я воспеваю свет», Schiller).

Специфичным для немецкого языка является употребление сложных слов (особенно сложных существительных), по значению и функции соответствующих свободному словосочетанию. Проблема соотношения сложных слов данного типа и словосочетаний является одной из наиболее трудных проблем, возникающих при исследовании

¹ К. А. Левковская, О словообразовании и его отношении к грамматике, сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952, стр. 155.

² См. «Ил. яз. в шк.», 1955, № 3, стр. 31.

стройка немецкого языка. Не претендуя на ее окончательное разрешение, я сочла необходимым попытаться поставить ее и рассмотреть более или менее подробно отдельные случаи, типичные для современного немецкого языка. И здесь я встретила возражения рецензента. Его мнение в основном сводится к следующему.

Сложное слово цельноформленно, значит оно не может выражать тех отношений, которые могут быть выражены словосочетанием или придаточным предложением; значит, нельзя говорить о замене сложным словом словосочетания (рец., стр. 151). Интересно, что рецензент все же признает, что, например, *Gefangenenaute* может быть понято в данном контексте как «машина, в которой везли пленного», но вывод об эквивалентности цельноформленного слова и словосочетания или даже целого высказывания, с точки зрения рецензента, неправилен, поскольку компоненты сложного слова — «основы» и, значит, не могут быть по функции приравнены к словам. Таким образом, в угоду принципу «цельноформленности» сводится на нет одна из характернейших особенностей строя немецкого языка, отличающая его от ряда других языков.

В рецензии затронуты много вопросов. Однако в ней отсутствует анализ построения книги в целом, оценка основных принципов, из которых я исхожу при описании словообразовательного строя немецкого языка.

Правильен ли сам метод трактовки словообразования, применяемый мною? Следует ли рассматривать словообразование в немецком языке применительно к частям речи, как это сделано в книге, или надо предпочесть описание его по отдельным способам и моделям? Верно ли раскрыты основные понятия, связанные с процессом словообразования и со словообразовательной техникой (например, понятия способа и средства словообразования, словообразовательной формы слова, законов и правил словообразования и т. п.)? Достаточно ли ясно показаны специфика именно немецкого словообразования, ведущие тенденции развития словообразовательного строя немецкого языка (в частности, роль словосложения и в том развитии), связь словообразовательного строя языка с грамматическим? Правильен ли охват анализируемого лексического материала, выделение неологизмов и случайных образований и т. п.? На все эти вопросы ни автор книги, ни ее читатель не находят ответа в рецензии К. А. Левковской.

Рецензии, антагонизирующие и нередко обобщающей возможности использования книги, при отсутствии анализа ее построения и содержания в целом, свидетельствуют о историчности рецензента к чужим мнениям, и то время как личные мнения, часто спорные, приводятся в качестве общепринятых положений. Все это, как мне кажется, не соответствует принципу свободного обмена мнениями, ведущего к развитию научной мысли.

М. Д. Степанова

ЕЩЕ РАЗ О ЗАПОЗДАЛЫХ ОТКРЫТИЯХ

В заметке «Запоздалые открытия» (ИАН ОЛЯ, 1949, вып. 1) мы привели достойные сожаления случаи, когда некоторые зарубежные ученые, не утруждая себя знакомством со специальной литературой на русском языке, заново открывают истины, давно известные в советской науке. Здесь мы хотели бы обратить внимание еще на один факт такого же порядка.

В «Bulletin of the School of oriental and african studies», издаваемом Лондонским университетом (vol. XVI, part. 3, 1954, стр. 528—541), помещена статья D. N. M a s K e n z i e «Gender in Kurdish». Проблема грамматического рода в курдском языке представляет значительный интерес не только курдоведческий, но и общераннистический. Известно, что в древнеиранских языках различались три рода: мужской, женский и средний. В большинстве новоиранских языков различие имен по грамматическому роду утрачено. Но в некоторых языках (в афганском, в ряде памирских) оно, в том или ином виде, сохранилось. К ним, как показали исследования советских иранистов, относится и курдский язык.

Давно было замечено, что формы косвенного падежа, а также формы так называемой «изафетной» связки между определяемым и определенным различаются в курдском в зависимости от имен, характеризующихся то гласным *i*, то *e*, то *a*. Однако этому факту не давалось правильного и четкого истолкования.

Впервые в статьях А. Шамидова, И. Цукермана и К. Курдова «Об изафете в курдском языке» («Революция и письменность», № 1, М., 1933, стр. 51—56) и «О проблеме рода в курдском языке» («Письменность и революция», сб 1, М.—Л., 1933, стр. 160—178) было показано, что вышеупомянутые различия изафетной связки и косвенного падежа связаны с различием грамматического рода имен и что, стало быть, категория рода в курдском существует. Данные

курдского языка были затем использованы и получили общепризнанное освещение в ценной работе Л. А. Хетагурова «Категории рода в иранских языках» («Ученые записки Ленингр. ун-та», № 20, Серия филол. наук, вып. 1, 1939). На родовых различиях в курдском в связи со склонением имен существительных останавливается И. И. Цукерман в своих «Очерках курдской грамматики» (сб. «Иранские языки», II, М.—Л., 1950, стр. 98—144). Подобающее место отведено грамматическому роду в школьной грамматике курдского языка, составленной на курдском языке К. Курдоевым¹.

Ни одна из перечисленных работ советских специалистов не упомянута Д. П. Маккензи, хотя он обстоятельно цитирует других авторов, в том числе и таких, которые дали мало ценного с точки зрения интересующей его темы. Чтобы подобные досадные факты не повторялись, надо всемерно крепить научные связи между народами, широко практиковать взаимную информацию о специальной литературе, налаживать обмен научными изданиями.

В. И. Абас

¹ Қанате К'б'рдо, Граматика зьмане к'рмавци йа к'орт (Грамматика курманджийского наречия курдского языка), Ереван, 1949.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДИСКУССИЯ О ПРОБЛЕМАХ СУБСТРАТА

17—19 февраля 1955 г. на расширенном заседании Ученого совета Института языкознания АН СССР в Ленинграде состоялась дискуссия, посвященная теории субстрата. На заседании, кроме языковедов Москвы и Ленинграда, присутствовали представители лингвистической общественности других городов, а также представители смежных с языкознанием дисциплин — историки, этнографы, антропологи; всего — более 500 человек.

Во вступительном слове директор Института доктор филол. наук В. И. Б о р к о в с к и й отметил важность и актуальность проблемы субстрата и указал, что лингвистический субстрат можно определить как элемент побежденного языка в языке-победителе.

Доктор филол. наук В. Н. И р ц е в а в докладе «Теория субстрата в истории языкознания» дала анализ значительного количества работ представителей языкознания XIX и первой половины XX в., в которых ставились и продолжают ставиться проблемы, связанные как с субстратом, так и с различным характером взаимодействия языков. Как показал анализ работ, для выяснения сущности субстрата принципиальное значение приобретает проблема двуязычия. Значительный интерес представляют работы современных зарубежных языковедов, в которых делается попытка определения воздействия субстрата на различные стороны языка-победителя. В этом плане заслуживает внимания положение некоторых современных языковедов (Фогт, Вайнрайх) о необходимости различать элементы заимствования, влияющие на языковую систему языка-победителя, и элементы заимствования, не воздействующие на языковую систему.

В. Н. Ирцева особо подчеркнула то положительное и ценное, что было внесено в разработку проблемы субстрата представителями русского языкознания: И. А. Бодуэном де Куртэном, А. А. Шахматовым, А. М. Селищевым. Она отметила, что у представителей структурализма проблема субстрата не получает удовлетворительного решения, ибо игнорирование конкретно-исторического языкового материала, столь важного именно для выяснения сущности субстрата, и выдвигание на первый план панхронических законов делает невозможным изучение реальных фактов взаимодействия языков.

С докладом «Проблема субстрата» выступил член-корр. АН СССР Б. А. С е р е б р е н и к о в. В развитии структуры различных языков, сказал докладчик, возможны так называемые конвергенции, или одинаковые явления, возникшие совершенно самостоятельно. В финском и якутском языках, отстоящих на многие тысячи километров один от другого и никогда не соприкасавшихся, возник так называемый частный падеж, или паритив; вспомогательный глагол «быть» одинаково участвует в образовании аналитических прошедших времен как в татарском, так и в литовском языках; подобие изафетной конструкции иранского типа существует в албанском языке, хотя эти языки развивались самостоятельно; так называемая эргативная конструкция встречается в палеоазиатских языках и языках Кавказа.

Б. А. Серебренников заметил три узловых вопроса, которые могут быть предметом дискуссии о проблеме субстрата: 1) в каком случае можно говорить о возможности влияния языка-субстрата и вообще возможно ли такое влияние; 2) чем отличается влияние языка-субстрата как особого типа влияния одного языка на другой от других многочисленных типов взаимодействия языков; 3) что дает изучение воздействия субстрата для сравнительно-исторических исследований.

Под субстратом обычно понимают язык, побежденный другим языком в результате их взаимодействия и борьбы, осуществлявшихся в пределах единой территории (ср., например, вытеснение кельтских языков латышским языком на территории Фляндии). Под термин «субстрат», как отметил докладчик, обычно подводится геометрическое представление наложения одной плоскости на другую, насаживание одного языка на другой. В реальной действительности такого наложения никогда не происходит, а имеет место лишь контактирование и взаимодействие языков, которое может иметь различные формы.

Докладчик усматривает два типа контактирования языков: так называемое маргинальное и внутриврегиональное. Маргинальное контактирование имеет место при наличии двух языков, смежных по территории распространения. Никакого проникновения больших масс носителей одного языка на территорию, занята носителями другого языка, не происходит. Поэтому общности топонимии на этих двух территориях не наблюдается. В н у т р и р е г и о н а л ь н о е контактирование характеризуется проникновением больших масс носителей одного языка в область распространения другого языка, которое обычно заканчивается победой одного языка и образованием нового этнического целого.

Примером маргинального контактирования могут служить удмуртский и татарский языки, расположенные на смежных территориях, но принадлежащие к разным языковым семьям. Выбор для анализа территориально смежных языков, представляющих разные языковые семьи, дает возможность легче отделить приобретенные черты от исконных. Наиболее удобными в этом отношении являются удмуртский и татарский языки. Исследование этих языков позволяет установить заметные следы влияния татарского языка на удмуртский, которые сводятся к следующему: а) появление сходных звуков; б) заимствование словообразовательных суффиксов; в) возникновение сходных процессов изменения языковой структуры; г) образование синтаксических калек; д) способствование консервации одностичных черт; е) заимствование слов; ж) образование семантических инклинаций, под которыми докладчик понимает приобретение словом или формой одного языка дополнительных значений, присущих соответствующему слову или форме другого языка. Никаких следов тюркской топонимии на территории Удмуртской АССР нет.

Примером внутриврегионального контактирования могут служить марийский и чувашский языки. Дочувашская топонимика на территории Чувашской АССР в значительной мере оказывается общей с топонимикой Марийской АССР. Этот факт явно свидетельствует о том, что в древности чувашский язык наслаивался на марийский языковой субстрат. Но этот язык, служивший субстратом, не исчез полностью, как, например, эгейские языки на территории Греции, а сохранился благодаря миграции части марийского населения на север. Исследование особенностей, приобретенных чувашским языком от марийского, и особенностей марийского языка, приобретенных от чувашского, дает примерно те же результаты, которые обычно наблюдаются в случаях маргинального контактирования языков. Следовательно, результаты влияния субстрата абсолютно ничем не отличаются от результатов других типов влияния языков и в этом влиянии нет ничего загадочного.

Все эти данные полностью подтверждаются показаниями других наук. Этнографы отмечают поразительное сходство культуры, быта, верований и обычаев чувашского и марийского народов, антропологи заявляют о поразительном сходстве их антропологического типа, археологи находят общие черты в их древней материальной культуре. Обобщая сказанное, Б. А. Серебрянников говорит, что всякий вывод о возможности влияния субстрата получает более или менее прочное обоснование только в том случае, когда он опирается на целый комплекс данных, к которым относятся: а) появление в языке ряда фонетических, морфологических и синтаксических черт, не свойственных родственным языкам, но имеющихся в смежном по территории языке или языках; б) появление новых слов, относящихся к основному словарному фонду, не свойственных родственным языкам, но встречающихся в смежном по территории языке или языках; в) обязательное наличие значительного количества общих топонимических названий или топонимии одного типа на территории смежных языков, имеющих общие черты.

Судьба языков-субстратов бывает разной. Наблюдаются случаи, когда язык-субстрат исчезает полностью и восстановить его невозможно. Но нередки и такие случаи, когда язык-субстрат исчезает лишь частично, другая часть его в каком-то виде продолжает существовать. Такого рода явление докладчик называет сегментарным исчезновением субстрата.

Докладчик считает, что изучение влияния субстрата требует создания новых отраслей лингвистической науки: сравнительной семасиологии, сравнительной экспериментальной фонетики и особой дисциплины, занимающейся изучением результатов различных типов взаимодействия языков.

Изучение влияния субстрата, по мнению Б. А. Серебрянникова, позволяет устранить ограниченность сравнительно-исторического метода, который не в состоянии выявить, что приобрели элементы структуры данного языка в результате влияния других языков. Для этого необходимо, не меняя сущности традиционного сравнительно-исторического метода, взять иной объект сравнения — звуки, слова и формы языков, не родственных по своему происхождению, но находившихся в процессе контактирования. Подобное сравнение может иметь место и в случае влияния одного родственного языка на другой.

Проблеме языкового субстрата посвятил свой доклад ст. науч. сотр. Института языкознания В. И. Абаев. Основным положением его доклада явился тезис о том, что субстрат не есть лингвистическое понятие. Явление субстрата предполагает этно-

генетический процесс, сопровождающийся языковыми последствиями. В чисто лингвистическом аспекте понятие субстрата имеет право на существование постольку, поскольку оно может быть противопоставлено двум другим видам межязыковых связей: родству и заимствованию.

Явление субстрата возникает в тех случаях, когда имеет место массовое усвоение коренным населением чужой речи в результате завоевания, этнического поглощения, политического господства, культурного преобладания и пр. При этом местная языковая традиция обрывается, и народ переключается на традицию другого языка.

Подобные факты не раз происходили в исторические и доисторические времена. В результате римского завоевания перешло на латинский язык коренное кельтское (галльское) население Франции и коренное иберийское население Испании. На этой почве образовались современные французский и испанский языки, которые продолжают традицию не местных кельтских и иберийских наречий, а традицию латинского. Латинский язык в Италии распространился в результате поглощения местных (италийских, этрусских и др.) наречий, которые полностью исчезли.

Переход с одного языка на другой есть сложный и длительный процесс. Отдельные черты родного языка прочно удерживаются в фонетике, лексике, семантике и продолжают «просачиваться» сквозь оболочку нового языка. В результате воспринятый чужой язык приобретает в данной среде свои особые черты, отсутствующие у этого языка в исходной среде. Это своеобразно и объясняется наличием здесь иноязычной подпочвы, или, пользуясь латинским термином, субстрата. Субстрат — это подпочвенный слой языка.

Субстрат — это не только результат взаимодействия языков в прошлом. По мнению докладчика, на наших глазах постоянно происходит такое же взаимодействие между языками. Все народы Советского Союза пользуются русским языком. Но в каждой национальной среде русский язык имеет свой особый оттенок, который обычно называют «акцентом». Украинцы говорят по-русски с украинским «акцентом», казахи — с казахским, азербайджанцы — с азербайджанским и т. д. Под «акцентом» разумеется обычно произношение. Но более глубокие наблюдения покажут, что, помимо особенностей произношения, русский язык в каждой местности приобретает некоторые своеобразные черты также в лексике, семантике, синтаксисе.

Выдающийся интерес проблемы субстрата заключается в том, что это — одна из тех проблем, где наиболее очевидным и осязаемым образом история языка переплетается с историей народа. Языковой субстрат предполагает субстрат этнический.

В. И. Абаев считает, что субстрат занимает промежуточное положение между родством и заимствованием. И субстрат, и заимствование представляют собой проникновение и адаптацию элементов одной системы в другую, но при субстрате это проникновение несравненно глубже, значительнее. Оно может пронизать все структурные стороны языка, тогда как заимствование, как правило, распространяется только на некоторые ряды лексики. Субстратные связи сближаются со связями, основанными на родстве. И субстрат, и родство предполагают этногенетические связи. В отличие от них заимствование ни в какой мере не связано с этногенезом.

Субстрат предполагает, как переходный этап, более или менее продолжительный период двуязычия, а длительное двуязычие создает предпосылки для весьма далеко идущего смешения и взаимопрокинновения двух языковых систем. При заимствовании никакого двуязычия не требуется.

В. И. Абаев проследивает следы влияния субстратных явлений в фонетике, лексике, морфологии ряда конкретных индоевропейских и иберийско-кавказских языков. В фонетике на языковой субстрат, по мнению докладчика, указывают сплошные непозиционные звуковые передвижения, захватывающие целые фонетические ряды. Широкое прокиновение в язык звуков, чуждых исходной звуковой системе, возможно только под воздействием субстрата (церебральные согласные в индийских и в афганских языках, смычногортанные согласные в армянском и осетинском языках).

В отличие от заимствований, субстратная лексика находит широкий доступ в основной словарный фонд. Семантические и идиоматические особенности языка имеют первостепенное значение для определения его субстрата, во выявление их сопряжено с большими трудностями.

Морфология мало проницаема для субстрата, но последний может наложить отпечаток на модель морфологической системы (осетинское и армянское склонение, вопрос о винительном падеже в осетинском и армянском языках).

После доклада В. И. Абаева выступила доктор филол. наук А. В. Десницкая. Она подчеркнула, что обычное во многих работах преувеличенное оперирование теорией субстрата не выдерживает серьезной критики и что внимание советских языковедов должно быть преимущественно направлено на выяснение внутренних факторов языкового развития. Анализ фактов, относящихся к истории балканских языков, обнаруживает не обычно принимаемое воздействие субстрата, а реализацию внутренних тенденций развития данных языков. Недостаточно углубленное исследование бал

канских языков и недостаточное внимание ко всем относящимся сюда явлениям приводило, как правило, исследователей к преувеличению роли субстрата.

Проблеме возникновения иноязычных элементов в структуре языка посвятила свое выступление ст. науч. сотр. Института языкознания В. Г. Орлова. В качестве основного положения она выдвинула тезис о том, что проникновение иноязычных элементов в систему данного языка происходит вместе с лексикой и на ее основе. Поэтому проблема субстрата представляет собой явление той же плоскости, что и проблема заимствованных слов. Анализ фактического материала, особенно из области истории фонетической системы русского языка, в частности такого явления, как цоканье, для которого в истории языкознания обычно выдвигались объяснения на основе теории субстрата (например, теория А. А. Шахматова о славяно-финских отношениях), на самом деле обнаруживает не воздействие субстрата, а внутренние тенденции развития русского языка.

Доктор филол. наук Е. И. Убрятова продемонстрировала на материале якутского и эвенкийского языков процессы взаимодействия языков и сложный процесс смены одного языка другим.

После указанных трех докладов и выступлений А. В. Десницкой, В. Г. Орловой и Е. И. Убрятовой начались прения.

Выступление канд. филол. наук Т. А. Дегтеревой было посвящено вопросу о важности изучения заимствований для проблемы субстрата. Свой тезис она подкрепила анализом обозначений металлов в различных индоевропейских языках. По мнению Т. А. Дегтеревой, анализ материала с необходимостью приводит к понятию так называемых языковых союзов для объяснения весьма сложных лексических взаимодействий как внутри индоевропейских языков, так и между индоевропейскими и неиндоевропейскими языками.

Член-корр. АН СССР В. М. Жирмунский в своем выступлении, не отрицая фактов субстратного влияния в истории языков, указал, что более актуальными для языкознания являются вопросы, связанные с внутренними закономерностями развития языка. Возражая Б. А. Серебрянникову и В. И. Абаеву, докладчик сослался на работы австрийского языковеда П. Лессиака, занимавшегося вопросами взаимодействия баварско-австрийских диалектов с южно- и западнославянскими языками. П. Лессиак утверждает, что на его родине в Каринтии, где немцы и словенцы более тысячелетия жили по соседству и вперемежку друг с другом, наличествуют многочисленные словарные заимствования, калькирование синтаксических оборотов, может быть, некоторое влияние иновации, но на различие немецкой и словенской фонетики, артикуляции звуков это многовековое соседство не оказало никакого влияния. Аналогичное явление наблюдалось в Чехии, в районах, германизованных немецкими колонистами, или в подвергшихся славянизации тирольских говорах.

Коснувшись вопроса о передвижении согласных в германских языках, В. М. Жирмунский указал, что это явление до последнего времени объяснялось влиянием разных субстратов — кельтского, финского, народа «альпийской расы», средиземноморских «ифетидов», в то время как в передвижении согласных в германских языках мы имеем чисто внутреннее явление, связанное с особым характером германского ударения.

Положительно отзывавшись о проблеме суперстрата и «маргинального взаимодействия», или, как называют его за рубежом, языкового союза, В. М. Жирмунский возражал против отождествления этнического смешения племен при образовании народностей и языкового субстратного развития.

Проф. А. И. Попов в своем выступлении возражал против терминов «маргинальное» и «внутрирегиональное» контактирование. Он считает также неудачным выражение «теория субстрата». По его мнению, никакой «теории субстрата» вообще построено быть не может, как нет и никакой общей «теории этногенеза». А. И. Попов считает излишним также создание новых отраслей лингвистической науки: сравнительной семасиологии, сравнительной экспериментальной фонетики. В заключение А. И. Попов выразил сожаление о том, что вплоть до настоящего времени топонимика остается самой заброшенной отраслью советского языкознания.

Основным положением выступления проф. А. П. Дульзона явилось утверждение, что лингвистика на современном этапе развития не располагает достаточным материалом, подтверждающим наличие субстрата. Чтобы доказать наличие субстрата, необходимо, кроме лингвистических данных, широко привлекать данные археологии, этнографии и антропологии.

Проф. А. К. Боровков в принципе не возражал против терминов «маргинальное» и «внутрирегиональное» контактирование, но указал, что практические формы взаимоотношений языков так многообразны и так различны для разных эпох, что нельзя ограничиться этими двумя терминами. Свои доводы о многообразии взаимоотношения языков А. К. Боровков иллюстрирует конкретными примерами из истории языков народов Средней Азии, Поволжья и Кавказа. С другой стороны, он отметил, что при всех исследованиях влияний субстрата нужно прежде всего учитывать внутренние законы развития языков. Так, например, по мнению А. К. Боровкова, переход

тюркского а в чувашском языке в у является результатом внутреннего развития чувашского и тюркских языков вообще, такой переход возможен и в якутском.

Ст. науч. сотр. Ю. Д. Дешерев наметил три основные формы языкового субстрата. Классическая форма языкового субстрата предполагает полную победу одного языка и отмирание другого. Процессы, которые создают субстрат этого типа, происходят и сейчас на Кавказе. Примером, по мнению Ю. Д. Дешерева, могут служить процессы взаимодействия грузинского и абхазского языков, хингалского кризского и азербайджанского. Второй формой языкового субстрата он считает такой случай, когда смена языка происходит не у всего народа, а у определенной его части, в отдельном диалекте или даже говоре. К третьей форме Ю. Д. Дешерев относит случаи, обусловленные передвижением народов, проникновением одного народа на территорию другого народа, следы чего мы находим в топонимике.

Доктор филол. наук Р. И. Аванесов предметом своего выступления избрал определение сущности субстрата, его отношения к родству языков, его места среди других форм языкового взаимодействия и его отношения к сравнительно-историческому методу. Он связывает проблему субстрата как с лингвистической проблемой взаимодействия языков, так и с этногенетической проблемой.

Расматривая вопрос об отношении субстрата к понятию языкового родства, Р. И. Аванесов говорит, что субстрат по отношению к языку-победителю может быть или неродственным, или находящимся в отношении отдаленного родства. «Структура субстрата и язык-победитель должны иметь внутренние законы развития или принципиально различные или, во всяком случае, достаточно сильно отличающиеся». Так как внутренние законы развития родственных языков в своей значительной части тождественны, то нет оснований в этом случае говорить о субстрате. Языковое смешение, по мнению Р. И. Аванесова, является хотя и важным, но не основным процессом в образовании языков, и то время как взаимодействие, «определенная интеграция близкородственных диалектов является одна ли по основным процессам образования языков». В вопросе об отношении субстрата к сравнительно-историческому методу Р. И. Аванесов разделяет точку зрения В. И. Абаева, согласно которой субстрат полностью подчинен законам сравнительно-исторического исследования.

В заключение Р. И. Аванесов остановился на некоторых частных случаях из истории русской диалектологии, когда одно и то же явление в языке может развиваться и под воздействием субстрата, и самостоятельно, в результате внутренних законов развития языка. Так, например, удвоение согласных (*покресения, волосы*) наблюдается на северо-востоке, в Вологодской и Кировской областях, а также на западе и юго-западе, в Белоруссии и на Украине. На северо-востоке это явление находило отголоски в языках финно-угорской группы, а на западе оно появилось самостоятельно, в результате внутреннего развития.

Выступление канд. филол. наук Т. С. Шарадзендзе было посвящено вопросу о проницаемости языковой структуры при субстратных явлениях.

Основным положением выступления ст. науч. сотр. А. А. Реформатского была мысль о том, что «сам субстрат не есть уже взаимодействие языков; сам субстрат есть результат одного из видов взаимодействия». А. А. Реформатский считает, что наряду с этногенетической проблемой субстрата на равных правах с ней существует и лингвистическая проблема субстрата. Проблема субстрата, говорит А. А. Реформатский, предполагает тесное и длительное сожительство двух разноязычных народов в пределах одной территории. При иных условиях ни о каком субстрате речи быть не может. Могут быть разные другие виды взаимодействия языков, но это уже не будет субстрат. Субстрат возможен только во внутрирегиональном плане, когда два народа сталкиваются на одной и той же территории и возникает борьба. В этой борьбе победителем выходит один язык, другой ему подчиняется.

Возражая В. И. Абаеву против того, что для говорящих по-русски представителей какого-либо народа, например Средней Азии или Кавказа, родная речь — это уже субстрат, А. А. Реформатский подчеркивает, что «субстрат — это явление языка как исторической категории, а не проблема индивидуальной речи того или другого говорящего». Коснувшись вопроса о двуязычии, А. А. Реформатский заявил, что, возникая обычно в результате маргинального контактирования, оно не всегда ведет к появлению субстрата.

Доктор филол. наук П. С. Кузнецов, возражая В. М. Жирмунскому, указал на то, что в фонетике, как и в других аспектах языка, могут быть субстратные явления. По мнению П. С. Кузнецова, не следует утверждать, что субстрат должен быть исключен из вопросов лексики. Докладчик не согласился с мнением А. А. Реформатского, что субстратом надо считать лишь то, что меняет строй языка. Если в состав одного языка входят лексические заимствования из языка, который исчез, это и будет субстрат. В этом плане топонимика также принадлежит субстрату.

В защиту субстрата выступил акад. И. А. Орбели, который подчеркнул, что история армянского языка немислима без привлечения субстрата, ибо хорошо известно, что основные пласты лексики армянского языка, особенно скотоводческая и земледельческая лексика, не армянского происхождения. В этом плане заслуживает

внимания изучение взаимоотношений армянских и курдских диалектов. И. А. Орбели подчеркнул также ценность ранних работ акад. Н. Я. Марра для изучения армянского языка.

Проф. Б. Б. П и о т р о в с к и й, занимающийся изучением истории культуры Урарту, обратил внимание присутствующих на важность изучения урартских отношений. Урарты были ассимилированы армянами, потеряли свой язык и приняли армянский. Урартские слов в армянском языке сохранилось немного, однако очень устойчивой оказалась фонетика. В диалекте армянского языка Ванского района сохранилась старая урартская фонетика, и теперь всегда можно отличить армянина из Вана по наличию тех фонетических особенностей, которые были свойственны урартскому языку.

Выступление доктора филол. наук Д. А. О л ь д е р о г г е было посвящено выяснению сложных языковых отношений, сложившихся в Африке. На примере ряда африканских языков Д. А. Ольдерогге продемонстрировал важность и необходимость привлечения субстрата для объяснения особенностей языков.

Ст. науч. сотр. В. Н. С и д о р о в отметил, что сравнительный метод и проблему субстрата не следует смешивать друг с другом. Изменения в языке могут происходить в результате действия законов внутреннего развития, заимствований, субстрата. Для языковедов вопрос о субстрате — это прежде всего вопрос о причинах изменений в языке. Сравнительный же метод никогда не ставит этого вопроса.

Проблема субстрата, говорит В. Н. Сидоров, тесно связана с историей народа. Это даже не языковая проблема, но это такая проблема, без которой не может обойтись лингвист, если он захочет изучить подлинную историю языка. Цоканя и другие явления в области фонетики В. Н. Сидоров считает возможным объяснить только при помощи субстрата.

Проблема субстрата, сказал доктор филол. наук С. Б. Б е р н ш т е й н, проливает свет на различные факты языкового развития, однако к теории субстрата исследователь может прибегать лишь после того, когда обычные приемы сравнительно-исторического языковедения не дают убедительного ответа. С. Б. Бернштейн выразил свое удивление тем, что проблема субстрата нашла горячий отклик у участников дискуссии. Эта проблема может объяснить такие явления, которые не объясняются ни заимствованием, ни внутренними законами развития языка. Так же недавнего времени некоторые ученые пытались объяснить утрату склонения в болгарском языке фонетическими процессами среднеболгарской эпохи. По глубокому убеждению С. Б. Бернштейна, падение болгарского склонения является следствием глубоких этнических и языковых скрещиваний, которые происходили в восточной половине Балканского полуострова с VI в. н. э.

Доктор филол. наук Р. А. Б у д а г о в в своем выступлении остановился на необходимости разграничения субстрата и других типов взаимодействия языков. Между разными типами влияний всегда имеются различия. В частности, проблема языковых союзов, по мнению Р. А. Будагова, существенно отличается от проблемы субстрата. С другой стороны, не следует проблему субстрата противопоставлять проблеме сравнительно-исторического метода. Р. А. Будагов указал на имевшее место в прошлом противопоставление лингвистической географии сравнительно-историческому методу. На самом деле, как это выяснилось позже, лингвистическая география не отвергает сравнительно-исторического метода, а углубляет, усложняет его. То же следует сказать и о субстратных явлениях.

Член-корр. АН СССР Г. С. А х в л е д и а н и, остановившись на некоторых общих вопросах разработки сравнительно-исторического метода в связи с проблемой субстрата и полагая неправомерным противопоставление субстратных явлений сравнительно-историческому языковедению, пришел к следующему определению понятия субстрата: «Субстрат — это крайняя форма влияния одного языка на другой, главным образом при смене языков».

Выступление канд. филол. наук Э. А. М а к а е в а было посвящено вопросу о переобогатии согласных в германских языках. По его мнению, анализ фактического материала и теоретические соображения неизбежно приводят к выводу о том, что объяснение переобогатии согласных в германских языках лишь на основании внутренних факторов и полное снятие субстратных воздействий не является правомочным.

Проф. М. М. Г у х м а н остановилась на двух вопросах: о месте субстрата и суперстрата среди различных форм взаимодействия языков и о методе. Она считает, что субстрат и взаимодействие языков — явления качественно различные. М. М. Гухман подчеркнула, что «выделение объектов субстратного исследования только в том случае будет объективно-научным, если это выделение осуществляется при помощи сравнительно-исторического метода. Если же оно осуществляется вне сравнительно-исторического метода, то на его основе, то мы будем иметь другой, новый вариант гадания на кофейной гуще».

Доктор филол. наук Т. П. Л о м т е в указал на то, что проблема субстрата является частью общей теории развития языка, устанавливающей роль внешних факторов развития языковой системы, в том числе и роль иноязычной среды. По мнению Т. П. Ломтева, «действие этнического субстрата осуществляется не столько путем при-

внесения элементов своей системы в систему победившего языка, сколько путем воздействия и катализации его закономерного развития». Т. П. Ломтев считает, что сравнительно-исторический метод был и является единственным методом исторического исследования закономерного хода развития языка. Поэтому исследование влияния внешних факторов на развитие языка должно основываться на принципах сравнительно-исторического метода.

Подводя итоги дискуссии, ученый секретарь Института языкознания Б. В. Горнунг отметил, что необходимо перейти от общих теоретических рассуждений к конкретным историческим исследованиям.

Надо констатировать, говорит Б. В. Горнунг, что значительная часть выступавших на дискуссии в той или иной форме поддержала тезис В. И. Абаева: о воздействии языкового субстрата можно говорить лишь при наличии процесса этнического смешения или смены населения. Однако на данной дискуссии субстрат понимался нами лингвистически. В последующем появится необходимость в совместной работе с археологами, этнографами и антропологами.

Приходится отметить, говорит Б. В. Горнунг, что на дискуссии не получил достаточного освещения важный вопрос о соотношении системы языка, развивающегося по своим внутренним законам, и элементов, внесенных субстратом. Б. В. Горнунг считает, что не следует, анализируя взаимодействие диалектов, их присоединения и смешения, принимать такие термины, как субстрат и суперстрат. Одновременно он указал, что большинством выступавших мнение о большой и исключительной роли лексического заимствования в процессе воздействия субстрата на другие стороны языка не было поддержано.

«Надо, может быть, — заключает Б. В. Горнунг, — выработать некоторые очень тонкие методы исследований, которыми мы еще не владеем, выработать их в контакте с представителями смежных дисциплин. Но все это отнюдь не означает, что можно говорить о какой-то новой отрасли лингвистики, которую мы можем противопоставлять как бы изжившему себя сравнительно-историческому языкознанию. Правильно лишь то, что сфера приемов, обычно объединяемых названием «сравнительно-исторический метод», должна быть расширена. И, конечно, нельзя отрицать, — Б. А. Серебренников в этом отношении прав, — и большой роли общей сравнительной семасиологии, когда мы имеем дело с взаимодействием неродственных языков. Эта общая сравнительная семасиология не имеет ничего общего с единством глоттогонического процесса, с которым ее сравнивал А. И. Попов». Б. В. Горнунг выразил также пожелание, чтобы дискуссии дали толчок к развитию топонимических исследований.

Э. А. Макаев

В ИНСТИТУТЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

13—16 июня состоялось открытое расширенное заседание Ученого совета Института языкознания АН СССР. На этом заседании были подведены итоги и намечены перспективы дальнейшей работы советских языковедов, обсуждались вопросы истории литературных языков в их соотношении с территориальными диалектами и общенародным языком, вопросы нормализации литературных языков¹.

Заседание открыл директор Института языкознания доктор филол. наук проф. В. И. Б о р к о в с к и й. В своем докладе «Состояние и перспективы изучения русского языка» он охарактеризовал положение в разных областях науки о русском языке — в грамматике современного русского языка, фонетике, в области нормализации русского литературного языка, культуры речи, истории русского литературного языка, в исторической грамматике и диалектологии, дал оценку основным трудам по русскому языку, появившимся за последние годы, наметил основные перспективы работы.

Говоря о достижениях советской науки о русском языке, докладчик отметил и оставание в некоторых областях русистики. Так, например, описательное изучение языков преобладает у нас над историческим, почти не ведется работа по палеографическому точному описанию и изданию памятников древнерусского языка, историки русского языка в своей работе мало прибегали к изучению неопубликованных памятников, почти нет работ по экспериментальной фонетике, совсем нет работ по синтаксису разговорной речи. В. И. Боровский особо подчеркнул важность теоретической разработки основных вопросов русского языка, указав, что этому будет способствовать

¹ См. «Открытое расширенное заседание Ученого совета 13—16 июня 1955 г. Тезисы докладов и выступлений» М., 1955.

создание творческих научных школ, вырабатывающих оригинальную научную методику, по-новому разрешающих вопросы теории.

Доклад члена-корр. АН СССР Б. А. Серебрянникова «Состояние и перспективы изучения языков народов СССР» был ограничен рассмотрением лишь тех языков Советского Союза, которые изучаются в Институте языкознания АН СССР (финно-угорские, тюркские, монгольские, иберийско-кавказские, балтийские, праисские, языки народов Севера). Б. А. Серебрянников указал, что изучение языков неславянских народностей СССР было той областью, где больше всего стремились укрепиться Н. Я. Марр и его единомышленники, ибо там, где мало изучены факты, недостаточно выяснены закономерности, легче всего создавать лжетеории, используя затрудненность проверки выводов и недостаточное знакомство с материалом. Поэтому освобождение советского языкознания от марризма имело особое значение для изучения языков народов СССР в смысле оздоровления этого участка работы.

Б. А. Серебрянников охарактеризовал недостатки, общие в изучении всех групп языков: преобладание описательного изучения над историческим, недостаточное внимание к созданию полновесных больших национально-русских словарей и этимологических словарей, неправильное понимание сравнительно-исторического метода как метода простого сопоставления, без реконструкции архетипов. Первоочередными задачами специалистов по языкам народов СССР Б. А. Серебрянников считает создание сравнительно-исторических грамматик (тюркских языков, языков народов Севера и др.), организацию работы по изучению фонетики различных языков, развертывание работы по диалектологии. В заключение Б. А. Серебрянников сказал о необходимости создания языковедческих журналов для специалистов в области изучения различных языков народов СССР.

Доклад доктора филол. наук Р. И. Аванесова «Литературный язык в его отношении к системе общенародного языка» был построен в теоретическом плане с учетом данных ряда языков. Р. И. Аванесов рассмотрел в своем докладе следующие проблемы: вопрос о методе и объекте исследования истории литературного языка и исторической грамматики, о понятии самого литературного языка, о специфике закономерностей развития литературного языка, об отношении общенародного языка к местным диалектам, об отношении литературного языка к общенародному языку, о характере языковой нормы как исторически изменчивой категории, степени ее распространения в разные эпохи, о месте литературного языка в составе языка национального.

Особенность метода исследования исторической грамматики по сравнению с методом исследования истории литературного языка состоит, по мнению Р. И. Аванесова, в том, что историческая грамматика принципиально ретроспективна, т. е. воссоздает прошлое главным образом исходя из данных современности. В противоположность ей история литературного языка, как и история народа, строится в прямой последовательности — от прошлого к настоящему, так как сведения о литературном языке прошлого извлекаются непосредственно из письменных памятников соответствующих эпох. Определяя само понятие литературного языка, Р. И. Аванесов сказал, что оно в разные исторические эпохи имеет неодинаковое содержание. Существенными признаками литературного языка являются следующие: 1) литературный язык наряду с письменной формой имеет и устную форму, применение которой значительно расширяется по мере развития национального языка; 2) литературный язык есть язык отработанный, отшлифованный мастерами; 3) литературный язык обслуживает сферу культуры во всех ее проявлениях. Закономерности развития литературного языка отличаются от закономерностей развития общенародного языка. Литературный язык традиционен во всех отношениях, в силу чего он лишен естественности развития обычной живой общенародной речи. Письменный литературный язык, кроме того, скован нормами орфографии, словоупотребления, грамматики. Р. И. Аванесов считает, что литературный язык не знает фонетических и грамматических процессов, свойственных общенародному языку. Он имеет дело только с их результатами. Литературный язык имеет свои закономерности развития, важнейшей из которых является, повидимому, отбор: литературный язык принимает одни элементы общенародного языка, отвергает другие, регламентирует употребление третьих.

Взаимоотношение литературного и общенародного языков и место литературного языка в системе общенародного языка глубоко своеобразны в разных языках и в разные эпохи истории. Проблема взаимоотношений литературного и общенародного языков является частью более широкой проблемы языка народности и языка нации. Общенародный язык и местные диалекты представляют собой не внешние по отношению друг к другу объекты, а многообразные формы одного и того же объекта — языка народа.

Канд. филол. наук С. И. Ожегов прочитал доклад на тему «Вопросы нормализации современного русского литературного языка». С. И. Ожегов показал, что еще на заре русского научного языкознания вплоть до 30-х годов XIX в. вопросы нормализации литературной речи занимали значительное место в работах языковедов. В последующее время интерес к вопросам нормализации литературного языка постепенно ослабевает. В наше время призывы советской общественности к стилистическому

упорядочению речи и к устранению разнобоя в различных сферах русского языка стали обычным явлением. Откликнуться на эти призывы — прямая обязанность языковедов.

Только советская эпоха вновь выдвинула идею нормализации литературного языка как научную проблему. Основой нормализации литературной речи должно явиться определение понятия нормы языка, как исторически изменчивой категории. В основу нормализации языка должны лечь не отдельные соображения о гетеризме различных явлений, а изученные закономерности и тенденции развития национального литературного языка, впитавшего в себя, переработавшего и преобразовавшего в новую систему материал предшествовавшего развития. В заключение доклада С. И. Ожегов остановился на вопросах нормализации русской произносительной системы и ударения.

Кроме названных выше четырех докладов, на заседании было прослушано три выступления, в которых рассматривались вопросы развития отдельных литературных языков.

Выступление проф. М. М. Гухман было посвящено вопросу «О соотношении немецкого литературного языка и диалектов». М. М. Гухман сказала, что в условиях существования развитых национальных языков литературный язык, как в устной, так и в письменной форме, является выразителем общенародной наддиалектной нормы, господствующей во всех сферах общения и противостоящей многообразию местных диалектов. М. М. Гухман считает, что выработка единства литературного немецкого языка начинается с того момента, когда восточнореднемецкий вариант литературного языка, получивший фиксацию в XVI в. в литературе, связанной с эпохой Реформации и Великой крестьянской войны, особенно в произведениях М. Лютера, распространяется на юго-запад, северо-запад и северо-восток Германии. Процесс этот обозначается с конца XVI в. Единство всех сторон литературного языка продолжает оформляться в течение всего XVIII и частично XIX в. Позже всего оформляется орфоэпическая норма; диалект и так называемый «полудиалект» до настоящего времени употребительны в сфере устной речи не только в сельских местностях, но и в городах.

Канд. филол. наук Ф. Т. Жилко в выступлении на тему «Полтавско-киевский диалект — основа украинского литературного языка» сказал, что лишь после лингвистической дискуссии 1950 г. среднее Поднепровье — территория полтавско-киевского диалекта — стало объектом изучения. В этом диалекте представлены наиболее типичные для украинского языка в целом черты грамматического строя, фонетической системы и лексического состава, кроме того он имеет меньше, чем другие говоры, узко местных особенностей. В XVII в. среднее Поднепровье стало центром борьбы украинского народа против польской шляхты, а затем некоторое время и центром формирующейся украинской государственности. Это способствовало распространению особенностей полтавско-киевского диалекта на территории других диалектов украинского языка, а также созданию фольклорных произведений различных жанров именно на основе юго-восточных говоров. Говоры среднего Поднепровья стали в дальнейшем основой и современного украинского литературного языка, возникшего в конце XVIII — начале XIX в.

Вопросу об «Узбекском литературном языке и его отношении к диалектам» было посвящено выступление доктора филол. наук В. В. Решетова. Узбекский язык как определенная сумма узбекских говоров в диалектологическом отношении является более широким, чем территориально сменяемые тюркские языки, что объясняется сложностью этногенетического процесса, в условиях которого происходило постепенное формирование узбекского народа. Два фактора предопределили диалектное многообразие узбекского языка: 1) взаимодействие различных тюркских родо-племенных групп, в разное время мигрировавших на территорию современного Узбекистана; 2) участие в этногенетическом процессе тюркских (особенно таджикских) этнических элементов.

Диалектной основой узбекского литературного языка, по мнению В. В. Решетова, является ташкентско-ферганская группа говоров, генетически восходящая к языковой общности караханидского периода. Заключившая свое выступление, В. В. Решетов сказал, что в Узбекистане заметно отстает решение насущных орфографических и терминологических задач; это объясняется недооценкой значения диалектологии, нежеланием считаться с показаниями опорных говоров ташкентско-ферганского типа.

В прениях по докладу приняли участие не только сотрудники Института языкознания, но и многие языковеды Москвы и других городов Советского Союза. Наиболее оживленные прения развернулись по докладу Р. И. Аванесова.

Доктор филол. наук В. Н. Ярцева остановилась на некоторых положениях доклада Р. И. Аванесова, исходя из материала английского языка. По мнению В. Н. Ярцевой, в докладе недостаточно было подчеркнута, что сближение письменной и устной формы литературного языка происходит только в период языка нации: история английского языка дает явные доказательства этого факта.

В. Н. Ярцева возражала против мнения Р. И. Аванесова о том, что в литературном языке не происходит развития и изменения тех или иных языковых явлений, а лишь отбор из тех вариантов и конкурирующих форм, которые существуют в общенародном языке. Она считает, что роль литературного языка не сводится к простому нормиро-

ванию употребления, ибо сам факт отбора определенной формы дает ей возможность распространиться, и эта, казалось бы, чисто количественная сторона употребительности того или иного варианта, того или иного слова не может не влиять на развитие и самого общепнародного языка: отобранные литературным языком формы становятся более активными — той моделью, которая действует в общепнародном языке.

Член-корр. АН СССР В. М. Жирмунский согласился с основными положениями доклада Р. И. Аванесова. Он сказал, что предложение Р. И. Аванесова четко разграничить предмет исторической грамматики и истории литературного языка давно осуществлено в вузовском преподавании русского языка. Пора его распространить и на преподавание иностранных языков, потому что до сих пор в преподавании этих языков отсутствовала история литературного языка. В. М. Жирмунский считает целесообразным в методическом отношении излагать историческую грамматику ретроспективно, например, историю немецкого языка начинать со средневерхненемецкого периода, а не с готского и древневерхненемецкого, однако он не согласился с мнением Р. И. Аванесова, что такое изложение диктуется логикой самой науки, методом исследования. По мнению В. М. Жирмунского, употребление понятия «литературный язык» является в докладе нечетким и противоречивым. С одной стороны, термин «литературный язык» применяется по отношению к одному отработанному и нормированному языку нации, поднимающемуся над местными диалектами, с другой стороны, этот же термин употребляется по отношению к языку средневековья, о котором нельзя говорить как об отработанном и отшлифованном. В. М. Жирмунский предлагает различать терминологически эти понятия и советует в первом случае употреблять термин «национальный литературный язык».

Выступивший по докладу Р. И. Аванесова доктор филол. наук В. П. Сухотин также остановился на определении понятия «литературный язык». Он сказал, что названные в докладе признаки литературного языка существенны, но каждый из них нуждается в разъяснении; кроме того, необходимо было выделить среди этих признаков ведущие, определить их соотношение в различные эпохи, уточнить понятие устной формы литературного языка.

Канд. филол. наук В. Д. Левин, отметил, что в докладе остается невыясненным содержание понятия «общепнародный язык», возражал против мнения Р. И. Аванесова о том, что диалекты и литературный язык есть форма общепнародного языка. В. Д. Левин сказал, что наличие устной формы не может считаться всеобъемлющим признаком литературного языка, так как для ранних эпох, например русского языка, нет устной формы литературного языка. По мнению В. Д. Левина, для русского языка лишь в XVIII в. можно говорить о наличии устной формы. В. Д. Левин не согласился с утверждением Р. И. Аванесова о том, что записи деловой речи находятся за пределами литературного языка, относятся к сфере письменной речи.

Канд. филол. наук А. А. Реформатский принял участие в споре между Р. И. Аванесовым и В. Н. Ярцевой по вопросу об особенностях развития литературного языка. Он продолжил мысль Р. И. Аванесова о том, что литературный язык не творит, а отбирает, проиллюстрировав ее рядом примеров из истории французского языка.

Доктор филол. наук Э. Г. Ризель согласилась с утверждением Р. И. Аванесова, что у литературного языка имеется устная форма. Она считает, что в нее входит и устная обиходная речь. Э. Г. Ризель возражала против мнения о том, что эта устная форма не имеет твердых норм: у устной формы литературного языка есть нормы, но они могут применяться иначе, чем в письменном языке (например, рамочные конструкции в немецком языке), и могут быть иными, чем в последнем. Сфера устного общения, по выражению Э. Г. Ризель, есть «лаборатория олигературизации»: некоторые факты диалектов входят в устный литературный язык и оттуда переходят в письменный, некоторые же так и остаются нормой устной литературной речи.

К мнению о том, что устная и письменная формы литературного языка имеют свои языковые особенности, присоединилась канд. филол. наук А. М. Барзидович, высказавшая также ряд замечаний по вопросу о понятиях «общепнародный язык» и «народно-разговорная речь».

Доктор филол. наук Е. И. Убрятова, отметив большую ценность доклада Р. И. Аванесова, остановилась в своем выступлении на вопросах образования и развития не имеющих давней традиции литературных языков социалистических наций.

С дополнениями к докладу Р. И. Аванесова выступили также кандидаты филол. наук И. Р. Крупас (Литовская ССР), М. И. Исаев и Н. И. Кулаев (Сев. Осетийский научно-исследовательский институт языка).

В прениях по докладу С. И. Ожегова приняли участие кандидаты филол. наук О. А. Мельник, М. Г. Булахов, Ю. Р. Геннер и С. С. Высотский.

С. С. Высотский сказал, что в докладе С. И. Ожегова впервые показана роль воздействия общества на нормирование языка, раскрыто, почему именно в советский период сознательное воздействие на языковую стихию стало таким актуальным. Однако С. С. Высотский считает, что вопрос о том, как именно определить действующие нормы, остался в докладе открытым, невыясненным.

Он отметил, что нередко люди, ратующие за нормализацию в теории, часто на деле утверждают те нормы, которые соответствуют их языку (например, проф. В. А. Богородицкий признавал фонетическими нормами литературного языка «оканье и аканье»; писатель Ф. Гладков требует признания северновеликорусских черт нормой литературного языка). В заключение С. С. Бысовский остановился на вопросах организации изучения живой устной речи. Он предложил развернуть массовое ее изучение, широко привлекая для этого учителей и учащихся вузов.

Ю. Р. Гепнер отметил как большое улучшение и односторонность доклада С. И. Ожегова то, что в нем ничего не говорится о нормировании морфологических форм, словоупотребления, а говорится только о нормах ударения и произношения. Он выступил против широко распространенного обычая всякое отклонение от нормы характеризовать как просторечие. Необходимо разграничивать, сказал он, просторечные слова и выражения (типа *ни белыеса*) и такие отклонения от нормы, как *пароход*, *агент* и т. п.

С дополнением к докладу С. И. Ожегова выступили О. А. Мельник и М. Г. Булахов. О. А. Мельник охарактеризовала роль синонимических словарей в нормализации языка, в борьбе за культуру речи. М. Г. Булахов, рассказав о работе над созданием грамматики белорусского языка, которая ведется в Институте языкознания АН БССР, остановился на вопросах нормализации белорусского литературного языка.

С замечаниями по докладу В. И. Борковского выступили Ю. Р. Гепнер и доктор филол. наук И. К. Белодед. Ю. Р. Гепнер, согласившись с оценкой разработки литературного языка, данной в докладе В. И. Борковского, и с перспективами, им намеченными, сказал, что среди этих перспектив отсутствуют некоторые очень важные. Таковы, по его мнению, проблемы, связанные с изучением фразеологии, трактовка некоторых грамматических категорий (например, категории наклонения), понятие предложения простого и сложного, вопросы типологии простого предложения, вопрос о границах грамматической аналогии и ее роли.

Ю. Р. Гепнер остановился также на поднятом в докладе В. И. Борковского вопросе о том, что в русистике сейчас описательные работы преобладают над теоретическими исследованиями. Ю. Р. Гепнер считает, что поворот к фактам, конкретному исследованию был важен как отход от марризма, однако, по его мнению, в настоящее время внимание к фактам стало чересчур большим, тормозит развитие науки: конкретное исследование материала должно сочетаться с обобщениями.

И. К. Белодед, согласившись с мнением В. И. Борковского о том, что развитие исследований по русскому языку способствует развитию исследований в других языках, остановился на вопросе о связи исследований по русскому языку с исследованиями других славянских языков. Он считает недостатком современных работ по русскому языку отсутствие использования данных славистики. В настоящее время работа по славистике ведется в Институте славяноведения АН СССР, Институте языкознания АН УССР и некоторых университетах. Эту работу необходимо координировать, создать единый печатный орган типа журнала «Slavia». В заключение И. К. Белодед рассказал об исследованиях различных славянских языков, ведущихся в Институте языкознания АН УССР.

В прениях по докладу Б. А. Серебренникова приняли участие доктор филол. наук Н. А. Баскаков и Е. И. Убрятова, а также канд. филол. наук А. Т. Борщ.

Н. А. Баскаков сказал, что упрек Б. А. Серебренникова тюркологам в том, что они не используют сравнительно-исторический метод, справедлив лишь отчасти, так как тюркологи используют сравнительно-исторический метод, но в специфическом его применении, рассматривая вопросы истории языка в связи с историей народа, не обращаясь к реконструкции гипотетических форм. Н. А. Баскаков считает, что перспективы изучения языков народов СССР, намеченные в докладе Б. А. Серебренникова, обширны, но абстрактны, в них не учтена очередность исследовательских работ.

Е. И. Убрятова, признав правильной ту оценку состояния изучения тюркских языков, которую дал в своем докладе Б. А. Серебренников, сказала, что он многое упустил, например работы, изданные в Азербайджане. Е. И. Убрятова одобрила предложение Б. А. Серебренникова об организации журнала, но думает, что должны быть созданы не отдельные журналы по различным группам языков, а общий журнал «Языки народов СССР». Е. И. Убрятова затронула также вопрос о необходимости равномерного распределения языковедческих кадров в национальных республиках.

С дополнением к докладу Б. А. Серебренникова выступил А. Т. Борщ, рассказавший о работе, которая ведется в Молдавском филиале АН СССР над курсом молдавского языка.

С замечаниями по докладу М. М. Гухман выступили В. М. Жирмунский и Э. Г. Ризель.

В. М. Жирмунский сказал, что доклад М. М. Гухман не вызывает у него возражений по существу, что ее выводы подтверждаются его собственными выводами, добытыми при работе над диалектами. В. М. Жирмунский считает очень интересным произведенный М. М. Гухман анализ употребления в XVI в. термина «*gemain teutsch*»

(общепониманий). Но, по мнению **В. М. Жирмунского**, утверждение **М. М. Гухман** о том, что немецкий литературный язык складывается в течение XVII—XIX вв., противоречит содержанию доклада **Н. Г. Ризель** о том, что говорилось в докладе о роли эпохи Реформации, Великой крестьянской войны 1525 г. и лично **М. Лютера**, представляющей восточным вариантом, что немецкий литературный язык складывался с XVI по XVIII в., а в XIX в. происходила лишь акрилизация его.

Д. Г. Ризель дополнила доклад **М. М. Гухман** Она сказала, что и сейчас существует областной вариант немецкого литературного языка — немецкий язык Австрии, имеющий лексико-фразеологическое, фонетическое и некоторые грамматические особенности. Отличия этого языка нельзя назвать диалектными, так как они зафиксированы в культуре австрийского народа, полностью литературны. **Д. Г. Ризель** обратила также на вопросе об использовании в современной немецкой художественной литературе диалектов в тексте авторского повествования (особенно часто в сатирических жанрах).

С замечаниями по докладу **В. В. Решетова** выступили **В. М. Жирмунский** и **Н. А. Баскаков**.

В. М. Жирмунский сказал, что в докладе **В. В. Решетова** показано большое значение диалектологических исследований для унификации узбекского языка. **В. М. Жирмунский** считает, что дело чести узбекских языковедов — создать атлас узбекских говоров, так как он будет иметь большое значение не только для тюркологов, но и для специалистов в области общего языкознания, ибо узбекские говоры представляют собой очень сложную и своеобразную картину.

Н. А. Баскаков возражал против утверждения **В. В. Решетова** о том, что диалектную основу узбекского литературного языка представляют городские говоры, выделившиеся из языковой общности караханидского периода. Кроме того, **Н. А. Баскаков** указал на необходимость уточнить понятие ташкентско-ферганских говоров, чтобы определить именно те говоры, которые лежат в основе современного узбекского литературного языка.

Закрывая заседание, проф. **В. И. Борковский** поблагодарил выступавших за участие в работе совещания и выразил уверенность в том, что разработка поставленных на совещании проблем послужит дальнейшему развитию советского языкознания.

Е. А. Земская

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ КООРДИНАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИАЛЕКТОВ ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ ЯЗЫКОВ

27 и 28 марта 1955 г. в г. Тарту по инициативе Общества родного языка при Академии наук Эстонской ССР состоялось совещание по вопросам координации исследования диалектов эстонского языка и других прибалтийско-финских языков. В работе совещания приняли участие: Общество родного языка при АН ЭССР, Институт языка и литературы АН ЭССР, Институт языка, литературы и истории Карело-Финского филиала АН СССР, Институт языка и литературы АН Латвийской ССР и 5 кафедр университетов: кафедра эстонского языка, кафедра финно-угорских языков и кафедра русского языка Тартуского университета, кафедра латышского языка Латвийского университета и кафедра финно-угорских языков Ленинградского университета. На совещании было прочитано 8 информационных докладов о работе и планах на будущее в области исследования диалектов прибалтийско-финских языков, латышского языка и русского языка на территории Прибалтики и Карело-Финской ССР.

Открыл совещание действительный член АН ЭССР проф. **П. А. Аристэ**. В своем вступительном слове он отметил чрезвычайную важность развертывания систематического изучения диалектов языков народов СССР. Описание диалекта должно преследовать цель всестороннего охвата языкового строя, его фонетики, грамматики и лексики с учетом неразрывных связей, существующих между различными сторонами языка.

Описав кратко картину состояния изучения прибалтийско-финских языков и их диалектов, **П. А. Аристэ** остановился на дальнейших задачах. После смерти члена-корр. АН СССР проф. **Д. В. Бубриха**, работавшего в Ленинграде, главными центрами исследования диалектов прибалтийско-финских языков стали Петрозаводск, Тарту и Таллин, поэтому на языковедов этих городов легла основная задача исследования диалектов прибалтийско-финских языков. В особенности нужно записывать тексты, грамматические и лексические данные, изучать экспериментально-фонетичес-

ни и консервировать на пластинках диалекты бесписьменных и вымирающих языков. Внимание диалектологов, по мнению П. А. Аристе, должно быть направлено на следующие важные задачи: 1) составление научных грамматик диалектов, 2) составление диалектных словарей, 3) составление сборников диалектных текстов, 4) сбор материалов для атласа диалектов и говоров, в котором были бы приведены главные особенности прибалтийско-финской речи. Такой атлас дал бы очень много для изучения диалектов прибалтийско-финского языка-основы, для изучения связей между прибалтийско-финскими языками и языками их соседей — латышским и русским. Систематическое изучение языковых взаимоотношений между прибалтийскими финнами и их соседями является также неотъемлемой задачей.

Зав. сектором языка Института языка, литературы и истории Карело-Финского филиала АН СССР канд. филол. наук Н. И. Богданов в своем информационном докладе указал, что, к сожалению, языковеды-финнологи Карело-Финского университета диалектами не занимаются, а кафедра русского языка занимается этим не систематически и слабо. Кроме того, докладчик говорил о незначительности кадров по диалектологии. Для проведения большой диалектологической работы необходимо прибегать к помощи студентов и развернуть сеть корреспондентов на местах. Докладчик также выразил мнение о необходимости обмена диалектологическими записями между научно-исследовательскими учреждениями. Совместная работа облегчит решение поставленных задач. По мнению Н. И. Богданова, диалекты и говоры нужно исследовать всесторонне и основательно, фиксируя все особенности говора того или иного населенного пункта.

От Общества родного языка при АН ЭССР сделала краткое сообщение о работе корреспондентов на местах канд. филол. наук П. Ю. Пальмеос, которая, как и Н. И. Богданов, высказала мнение о важности сети корреспондентов. При соответствующем руководстве, как показывают примеры работы Общества родного языка при АН ЭССР, корреспонденты на местах являются большой вспомогательной силой в деле исследования диалектов. Так, например, корреспонденты Общества не только собирают материал, но и дают обзоры местных диалектов и говоров вплоть до составления грамматик. П. Ю. Пальмеос указала также на возможность использования учащихся средних школ, особенно в сборе топонимических названий.

Представитель Института языка и литературы АН Латвийской ССР Э. Я. Шмитэ в своем докладе отметила тот факт, что особенно большой вред диалектологическому изучению в Латвийской ССР принесли сторонники Н. Я. Марра тем, что осенью 1948 г. объявили диалектологическую работу неактуальной.

Э. Я. Шмитэ подчеркнула важность собирания диалектологического материала прежде всего потому, что говоры в настоящее время утрачиваются, не говоря уже о необходимости собирания материала для диалектологического атласа, монографических и других исследований. Кроме того, докладчик выразил сожаление по поводу того, что слабо ведется работа по описанию говоров, а также по изучению латышско-эстонских языковых взаимоотношений.

Представитель Института языка и литературы АН ЭССР канд. филол. наук А. Я. Унйверре в своем докладе отметила чрезвычайную важность составления словаря говоров и выразила сожаление о недостатке кадров по диалектологии.

Доцент кафедры эстонского языка Тартуского университета А. Х. Каск в своем сообщении высказал мнение о необходимости вести научно-исследовательскую работу по общему плану Академии наук и языковедческих кафедр. Докладчик также указал на важность исследования взаимоотношений диалектов и их взаимодействий с соседними неродственными языками.

Представитель кафедры латышского языка Латвийского университета канд. филол. наук М. К. Рудзитэ в своем докладе об опыте работы своей кафедры выразила пожелание больше привлекать к работе в области диалектологии студентов языковедческих кафедр, проводить собирание диалектологического материала силами студентов во время легкой практики и планировать темы курсовых и дипломных работ с упором на вопросы диалектологии. Изучение говоров студентами окажет большую помощь ученым, так как этот важный источник для истории языка очень быстро исчезает. В этом деле, по мнению М. К. Рудзитэ, нужно максимально использовать и студентов-заочников.

Большой интерес вызвал также доклад представителя кафедры русского языка Тартуского университета Т. Ф. Мурникова, которая обратила внимание участников совещания на вопрос изучения смешанных говоров. По побережью Чудского озера происходит смешение двух разнотемных языков, на что нужно обратить особое внимание. Кроме того, Т. Ф. Мурникова выразила сожаление о том, что программа диалектологического атласа русского языка не соответствует местным особенностям Эстонской ССР.

В прениях по докладам участники поднимали много интересных вопросов. Н. И. Богданов отметил громадную работу по составлению словаря эстонских говоров и сказал, что это явится примером для других диалектологов и нужно только приветствовать подобную работу. Касаясь доклада Т. Ф. Мурниковой, П. А. Аристе обратил

внимание на этнографическую ценность изучения русских говоров на побережье Чудского озера. Канд. филол. наук Г. М. Керт обратил внимание лингвистов на срочную необходимость собирания материалов также по диалектам быстро ассимилирующегося ныне саамского языка, так как последний весьма ценен при изучении других прибалтийско-финских языков.

В конце совещания П. А. Аристэ отметил малую активность лингвистов в деле публикации научно-исследовательских работ по диалектологии. Он отметил необходимость публикации также и диалектных текстов. Эту мысль поддержал также Н. И. Богданов. Г. М. Керт выразил мнение о целесообразности издания трудов и материалов по диалектологии отдельными сериями, как это делалось в журнале «Советское финно-угроведение». Мысль Г. М. Керта получила общее одобрение.

По всем выступлениям совещание приняло общую развернутую резолюцию; в последней были указаны достижения и недостатки в работе в области диалектологии за послевоенный период и было указано, что необходимо продолжать более интенсивное исследование диалектов, причем обратить особое внимание на изучение диалектов водского, ливского, ижорского, карельского и вепсского языков. При этом в резолюции определены конкретные темы по отдельным прибалтийско-финским языкам с указанием исполнителей. Для координации научно-исследовательской работы в области диалектологии прибалтийско-финских языков совещание избрало комиссию.

Совещание сочло необходимым публиковать результаты научно-исследовательской работы в области диалектологии в виде монографий по отдельным диалектам, сборников текстов с переводом на русский язык, а также диалектных словарей, приступить к собиранию материалов по специальным вопросам для составления атласов отдельных прибалтийско-финских языков, уделить должное внимание подготовке кадров, рекомендовать научно-исследовательским учреждениям шире привлекать к диалектологической работе корреспондентов с мест, студентов и, по возможности, также учащихся средних школ.

И. С. Галкин

О ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» на 1956 год

Публикуемый перечень проблем советского языкознания, который опирается на разработанную Отделением литературы и языка Академии наук СССР проблематику языковедческих исследований на ближайшие годы, принят редакцией за основу тематического плана журнала на 1956 г., причем каждая из указанных ниже проблем может быть представлена в виде ряда конкретных тем статей для журнала. Понятно, что в редакционный план в течение года будут вноситься необходимые поправки, дополнения и уточнения. в связи с чем редколлегии журнала просит читателей сообщить в редакцию свои замечания по предлагаемому перечню.

1. Понятие системы языка в исследованиях описательного и исторического характера. Взаимоотношение и взаимодействие различных сторон языка.
2. Важнейшие проблемы сравнительно-исторического изучения языков.
3. Грамматический строй различных языков и закономерности его развития.
4. Принципы периодизации истории языка.
5. Различия в характере развития и общественных функциях языков в период формирования народности и нации.
6. Вопросы образования и развития литературных языков. Литературный язык и язык художественной литературы.
7. Вопросы изучения стиля писателя.
8. Основные понятия семасиологии и лексикологии. Проблемы омонимии и синонимии.
9. Вопросы теории лексикографии.
10. Взаимоотношение логических и грамматических категорий (слово и понятие, суждение и предложение и т. д.).
11. Фонетика и фонология.
12. Задачи и содержание лингвистических курсов в вузе.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

М. Н. Алексеев и Г. В. Колшанский (Москва). О соотношении логических и грамматических категорий	3
Р. И. Аванесов (Москва). Проблемы образования языка русской (великорусской) народности	20
Н. Т. Сауранбаев (Алма-Ата). Диалекты в современном казахском языке	43

ДИСКУССИИ И СБСУЖДЕНИЯ

Ю. В. Зыцарь (Ленинград). О родстве баскского языка с кавказскими	52
---	----

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Л. С. Ковтун (Ленинград). О значении слова	65
А. Н. Болдырев (Ленинград). Из истории развития персидского литературного языка	78
Э. Г. Туманян (Москва). Превращение артикля в флексию дательного падежа в новоармянском языке	93
В. В. Виноградов (Москва). Из истории слов	100
А. В. Суперанская (Москва). Сводные алфавиты	107

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

И. И. Цукерман (Вильнюс). Преподавание фонетики русского языка литовцам	110
М. Я. Немпровский (Ростов-на-Дону). О пособиях к курсу «История языкознания»	116
Ю. Р. Гейнер (Харьков), Н. Я. Лойфман и З. Ф. Барцева (Йошкар-Ола), С. М. Бурдияч (Ташкент). О курсе «Современный русский литературный язык»	120

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Л. Лигети (Будапешт). Г. Д. Санжеев. Сравнительная грамматика монгольских языков	133
В. Д. Левин (Москва) А. И. Ефимов. История русского литературного языка	140
Р. Г. Пиотровский (Ленинград). Русско-молдавский словарь	148
Н. З. Гаджиева (Москва). Сравнительная грамматика русского и азербайджанского языков	153
Е. М. Галкина-Федорук (Москва). «Известия Крымского пед. ин-та им. М. В. Фрунзе». Т. XIX.	156
И. И. Ревзин (Москва). По поводу рецензии К. А. Левковской на книгу М. Д. Степановой.	160

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

М. Д. Степанова (Москва). По поводу рецензии К. А. Левковской	166
В. И. Абаев (Москва). Еще раз о западных открытиях	168

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Э. А. Макаев (Москва). Дискуссии о проблемах субстрата	170
Е. А. Земская (Москва). В Институте языкознания АН СССР	176
И. С. Галкин (Тарту). Сообщение по вопросам координации исследования диалектов прибалтийско-финских языков	181
О тематическом плане журнала «Вопросы языкознания» на 1956 год	183

Редколлегия:

С. Г. Бархударов, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев (отв. секретарь редакции),
В. В. Виноградов (главный редактор), А. И. Ефимов, Н. А. Кондрашов,
Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев (зам. главного редактора),
Б. А. Серебренников, В. М. Филиппов, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42

Т-05949 Подписано к печати 19. IX 1955 г.	Тираж 13450 экз.	Заказ 1588
Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆ .	Бум. л. 5 ³ / ₄	Печ. л. 15,75 Уч.-изд л. 18,9

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Щубинский пер., 10